Геннадий Седов

ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК

МАТИЛЬДА КШЕСИНСКАЯ

ЛЮБОВНИЦА ЦАРЕЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Блистательная Малечка Кшесинская, прима-балерина и любимица театрального Петербурга стала любовницей Николая II, а затем двух великих князей. Родила сына от одного Великого князя, а жила на деньги второго. Соперницы ославили ее как взяточницу и карьеристку… Чего только не рассказывали о ней… И что ждет ее впереди? Эмиграция, нищета и забвение или успех или всемирная слава? Судьба этой удивительной женщины похожа на увлекательный роман, предугадать новый поворот которого практически невозможно!

- Геннадий Седов
  - Книга первая
    - Глава первая
      - 1
      - 2
      - 3
      - 4
    - Глава вторая
      - 1
      - 2
      - 3
      - 4
      - 5
      - 6
    - Глава третья
      - 1
      - 2
      - 3
      - 4
      - 5
      - 6
      - 7
    - Глава четвертая
      - 1
      - 2
      - 3
      - 4
      - 5
      - 6
      - 7
    - Глава пятая

        - 1
        - 2
        - 3
        - 4
        - 5
        - 6
    - Книга вторая
        - Глава первая
            - 1
            - 2
            - 3
            - 4
            - 5
        - Глава вторая
            - 1
            - 2
            - 3
            - 4
            - 5
            - 6
            - 7
        - Глава третья
            - 1
            - 2
            - 3
            - 4
            - 5
            - 6
        - Глава четвертая
            - 1
            - 2
            - 3
            - 4
            - 5
            - 6
        - Глава пятая
            - 1
            - 2
            - 3
            - 4
- notes
    - 1
    - 2
    - 3

Геннадий Седов
Матильда Кшесинская. Любовница царей

Книга первая

Глава первая

«Но летит, улыбаясь мнимо,
Над Мариинскою сценой rita…
Мне ответь хоть теперь: неужели
Ты когда-то жила в самом деле
И топтала торцы площадей
Ослепительной ножкой своей?»

(А. Ахматова «Поэма без героя»)

1

«И-и… раз!»

Вдохнув как можно глубже и задержав дыхание, девочка заглянула краешком глаза за перила: внизу не было ни души. Она подошла к краю деревянной лестницы, ступила, таясь, на первую ступеньку.

«У-ухр-ррр…» – послышалось негромко под подошвой.

Вторая по счету ступенька, знала она, была молчальница.

«И-ии – два…»

Умница-дощечка и на этот раз ее не подвела. Впереди была злючка-колючка-скрипучка – третья ступенька.

«И-ии…»

Прикусив для надежности язык, она опускала медленно ногу. Сначала на носок… хорошо… Те-е-пе-ерь… на пя-аточку… Нога в шнурованном ботиночке не успела обрести нужную устойчивость, как противная деревяшка возмущенно взвизгнула: «йиии-ххрр-ччь!», словно ее переломили надвое, и вся тайна задуманного расстроилась вмиг, потому что высунулась, во-первых, из кухонной двери Нюра, спросившая буднично:

– Чтой-то вы, барышня, в такую рань?

Вышла следом из гостиной на Нюрин голос матушка в чепце, глянула на нее, застывшую растерянно у перил с корзинкой в руке, произнесла улыбчиво, в растяжку:

– Ранняя красная шапочка… Опять по грибы? – И строже: –

Только до развилки, слышишь, Маля? Туда и обратно!

– Хорошо, мамулечка.

Она выскользнула легко в приотворенную дверь.

Утро было сырым и мглистым, едва угадывалась за деревьями сада теплая полоска зари. Разом вдруг представился ей нарождавшийся летний день в имении, который предстояло еще только прожить – счастливый, бесконечный. Задуманная накануне ранняя вылазка по грибы. Как все изумятся в доме, в особенности пьющие за столом утренний кофе сони-засони Юзя и Юля, когда она влетит, вернувшись из леса, в столовую с полной корзинкой; как вместе с мамочкой они отправятся после завтрака в купальню на Орлинку – будут плавать наперегонки от бортика к бортику, дурачиться, брызгать что есть сил друг на дружку; как вечером, в сумерках, затеют с соседскими ребятами игру в «палочку-воровку» – она наденет, чтобы удобнее было прятаться в кустах и на ветках деревьев, мальчишеский серый костюм, они, конечно же, заиграются допоздна, и за ними прибежит и уведет насильно за руки смешливая горничная Маша; как вечером, за ужином под уютной лампой, все будут прислушиваться к звукам снаружи, ждать возвращения папули из театра с чудным его кожаным саквояжем, в котором он привозит городскую вкуснятину в пергаментных пакетах – все кинутся гурьбой ему навстречу, станут извлекать гостинцы, помогать раскладывать по полкам в буфете, как им, в конце концов, напомнят, что давно уже пора лежать в постелях, а они всеми способами будут хитрить, искать повод, чтобы посидеть еще чуточку, и Юзя заснет с открытым ртом в кресле и будет мычать и брыкаться, когда его примутся будить…

Она сбежала вниз с широкого крыльца, услышала со стороны хозяйственного двора петушиный задавленный крик («опять этот Серик, дурак…»). Мысли ее были уже далеко – в лесу, среди пахучих сосен и елей, петляющих в таинственном полумраке тропинок, где попрятались хитро самые замечательные прятальщики на свете – грибы: боровики, маслята, рыжики, сыроежки, лисички…

Минуя дорожную колею, раскатанную телегами, она взобралась ближним путем на косогор. Быстро светлело вокруг, жарко становилось в наглухо застегнутой курточке-пелеринке. Высвобождая на ходу тесный крючок ворота, она ступила в заросль малинника, опасливо помахала перед собой зажатой в руке палкой, чтоб не наткнуться случайно на паутинную западню с гадкими пауками. До леса было рукой подать. Она перешла по дну неглубокого овражка, вышла, раздвигая руками папортниковые узорчатые опахала, на лесную опушку и тотчас же

увидала в десяти каких-нибудь шагах, под корневищем густой ели, семейку тесно рассевшихся друг против друга рыжиков.

Вспыхнув от азарта, бросилась вперед – вместе с выпрыгнувшим из-под ног кузнечиком. Сидя на корточках, подрезала грибные ножки, бросала торопливо грибы в корзинку, косила глазами по сторонам: кто следующий?..

Читаем далее в «Воспоминаниях» семидесятипятилетней Кшесинской:

«…Я очень боялась пауков и брала с собой палку, чтобы прочищать дорогу от паутины. Однажды, завидя под деревом большой чудный гриб, я бросилась к нему, забыв о мерах предосторожности, и попала лицом прямо в паутину, а паук сел мне на нос. С перепугу я бросила корзину с грибами и со страшным ревом и криком бросилась сломя голову бежать домой, не решившись даже смахнуть противного паука с носа».

Крошечный эпизод из детства помнился ей до конца дней.

2

«Счастливое детство» – вовсе не избитое выражение, как принято думать, оно на самом деле существует. И, подобно детству несчастливому, во многом определяет человеческую судьбу.

У Мали Кшесинской детство было счастливым. Благодаря в первую очередь родителям.

В 1851 году большой поклонник польских зажигательных танцев император Николай Первый выписал из Варшавы пятерых балерин и танцовщиков – в целях популяризации, как сказали бы теперь, нежно любимой самодержцем мазурки. В числе отобранных был двадцатилетний балетный артист Феликс (Адам-Валезиуш) Кржезинский-Нечуй, уже познавший успех на театральных подмостках Варшавы.

Распахнутая окном в Европу северная столица с петровских еще времен благосклонно принимала стремившихся сюда «на ловлю счастья и чинов» предприимчивых и даровитых иноземцев, становившихся ее архитекторами, воинами, служителями муз, чиновниками. Многие из них преуспели, а иные и прославились на избранном поприще, вписав свои имена в российскую историю. Кржезинский-Нечуй, изменивший для благозвучия сценическую фамилию на Кшесинский, оказался в числе удачливых – был принят сначала в Большой, следом в Александринский, а впоследствии в Мариинский театры, ставил

балеты («Крестьянская свадьба» и «Роберт и Бертрам, или Два вора»), был партнером лучших балерин и гастролерш, талантливо исполнял мимические оперные и балетные партии, но главное – сделался ведущим тандором и законодателем исполнения мазурки на театральных подмостках Петербурга, виртуозом, о котором известный балетный критик А. Плещеев написал впоследствии: «Более удалое, гордое, полное огня и энергии исполнение этого национального танца трудно себе представить. Кшесинский умел придать ему оттенок величественности и благородства. С легкой руки Кшесинского или, как выразился один из театральных летописцев, с легкой его ноги, положено было начало процветанию мазурки в нашем обществе. У Феликса Ивановича Кшесинского брали уроки мазурки, которая с этой даты сделалась одним из основных бальных танцев в нашем отечестве».

Импозантный поляк с живописными усами сумел извлечь ощутимую пользу из повального увлечения петербуржцев модным танцем: неплохо зарабатывал сценой и уроками и в начале шестидесятых годов, в зрелом уже возрасте, создав, что называется, надежный материальный задел, счел возможным жениться – на вдове, польке по национальности, Юлии Доминской, окончившей в свое время Императорское театральное училище и тоже танцевавшей в кордебалете, правда недолго, из-за необходимости воспитывать детей.

Супругов многое объединяло, не в последнюю очередь – чадолюбие: родившаяся 1 сентября 1872 года в местечке Лигово под Петербургом девочка, названная Матильдой, была у матери тринадцатой по счету, включая умерших в младенчестве братьев и сестер от обоих браков.

Семья была небогатой, но зажиточной: занимала просторные квартиры в лучших частях города, лето проводила в купленном у генерала Гаусмана имении Красницы в шестидесяти трех верстах от столицы, на возвышенном берегу речки Орлинка. Усадьба включала в себя двухэтажный деревянный дом с садом и огородом, молочную ферму, птичий двор – все это стараниями практичного и мастеровитого хозяина содержалось в образцовом порядке, поставляло на стол свежие продукты, так что дети возвращались в слякотный осенний город и с ворохом живых впечатлений, и с запасом подкожного жирка. Уже будучи ученицей Императорского театрального училища десятилетняя Маля получила однажды выговор за прибавку в весе от танцевального педагога Иванова, заметившего ей при всем классе на первой после каникул репетиции: «Прискорбно, мадемуазель, что вы так пополнели».

У Кшесинских не переводились гости – Феликс Иванович слыл в обществе отменным хлебосолом, умел и любил угощать. Особенно весело и обильно отмечали Пасху и Рождество. «К Пасхе, – вспоминает она, – отец сам готовил куличи. Он надевал белый передник и сам месил тесто, непременно в новом, деревянном корыте. Куличей по традиции пекли двенадцать – по числу апостолов. На пасхальный стол ставили сделанного из масла агнца с хоругвью. В Страстную субботу приглашали ксендза благословить пасхальный стол».

Интересная деталь: ксендз на православном празднике. Укоренившись в русской среде, обрусев по всем статьям, иноземцы из Польши остались верны римско-католической вере предков, детей крестили в костеле. Польский дух витал незримо в доме – в ностальгических воспоминаниях о покинутой родине, об оставленных за Вислой родственниках, о знаменитом дедушке Яне, первом теноре Варшавской оперы, прожившем сто шесть лет, которого польский король называл «мой словик» – «мой соловей», в матушкиных песнях, напеваемых чуть слышно за вышиванием по шелку, в неослабеваемом интересе к происходящему в некогда мятежной, перекраиваемой многократно могучими соседями Речи Посполитой, бывшей в описываемую пору частью Российской Империи.

Эмоциональная от природы девочка слышит от отца захватывающую дух семейную легенду, похожую на авантюрный роман. События происходят в Польше, в первой половине XVIII века, во владениях их польского прапрадеда Красинского, носившего графский титул. Едва успев получить богатое наследство, он овдовел и вскоре сам последовал за горячо любимой женой, не в силах вынести потери. Состояние и графский титул покойного достались его двенадцатилетнему сыну Войцеху. С этим, однако, не пожелал смириться его родной дядя, вознамерившийся завладеть богатством покойного брата, нанявший для устранения племянника наемных убийц. Мальчика спас от неминуемой гибели преданный француз-воспитатель, бежавший с воспитанником на родину, в городок Нейи под Парижем, где у него был дом. Опасаясь преследований, он записал Войцеха Кржезинским – под девичьей фамилией матери. Беглец благополучно натурализовался во Франции, вырос, женился на соотечественнице Анне Зиомковской, родил сына Яна и, когда счел, что опасность миновала, вернулся с семьей в Польшу. Надеждам его вернуть утраченное состояние, однако, не суждено было сбыться. Коварный дядя, пользуясь длительным его отсутствием, объявил племянника умершим и получил, формально по закону, все, чего собирался добиться злодейством.

Попытка Войцеха Кржезинского доказать по суду свои права не увенчались успехом: во время поспешного бегства француз-воспитатель не захватил нужных бумаг, все же, что могло быть обнаружено на месте – церковные архивы, гербовники, – сгорело в огне не затихавших в ту пору в Речи Посполитой войн и смут. Осталась, правда, малая толика документов, могущая быть отнесена к косвенным свидетельствам, хранимая бережно в некоей заветной шкатулке. Прадед завещал ее деду Яну (тому самому, солисту Варшавской оперы), а последний папочке, со словами: «Береги шкатулку как зеницу ока. После моей смерти она откроет тебе величайший секрет нашего рода». Папочка, опасаясь за судьбу ценнейших бумаг, передал шкатулку одному из родственников, чтобы сохранить в безопасном месте. Тот ее, однако, не вернул. Куда она исчезла и что с ней стало, неизвестно. Единственное, что сумел сохранить папа в доказательство своего происхождения – кольцо с гербом графов Красинских, так называемый геральдический «слеповронок» (описание его сохранилось в польском дворянском гербовнике). На лазуревом поле серебряная подкова, увенчанная золотым крестом, на нем черный ворон с золотым перстнем в клюве, на щите графская корона, шлем, дворянская корона, на которой сидит тот же ворон…

Итак, они прямые потомки графов Красинских, польские дворяне. Только трагическое стечение обстоятельств мешает им вернуть утраченное величие рода, земли и фамильные богатства, стать в один ряд с избранной прослойкой общества. Наверное, как-то по-иному, с поправкой на возраст, думает захваченная рассказом отца впечатлительная девочка-подросток, пусть лишь на краткий миг искорка эгоистического удовлетворения от услышанного вспыхивает в ней – дело сделано: зерно честолюбивых, неясных пока еще ей помыслов будет зреть отныне в практичной ее головке. Как покажет будущее, не зря…

В семье профессионального танцора и балерины дети, разумеется, умели танцевать. Маля танцевала с трех лет. Наряжалась в тряпки, уморительно крутилась у зеркала. Отец души не чаял в младшенькой, баловал сверх меры, возил на спектакли в Большой театр, где тогда работал. Исполняя однажды мимическую роль хана на дневном представлении балета «Конек-Горбунок», посадил дочку в служебную ложу и побежал в уборную гримироваться, а, выступив, разгоряченный успехом и позабыв обо всем на свете, отправился домой, встреченный на пороге квартиры возгласом пораженной супруги: «Где же Маля? Где ты ее оставил?» – «Боже! – вскричал он. – Я позабыл ее в театре!»

Балетом была заполнена жизнь. Толковались на все лады

бесконечные театральные новости, сплетни. Такой-то переведен из разряда вторых танцовщиков в первые, той-то преподнесли в бенефис дорогую диадему, другую жестоко разругали в газете, на такой-то премьере присутствовало такое-то число особ царской фамилии. Последнее обсуждалось особенно горячо: знаки внимания со стороны Двора, покровительство самого Государя. Недаром ведь танцевальную сцену Петербурга называют Императорской. Причастность к избранному искусству приближало к сильным мира сего, подчеркивало собственную значимость – вещи для обрусевших польских эмигрантов, натурализовавшихся в разлинованной табелями о рангах иерархической стране, вовсе не пустячные.

Интересы родителей, дух театра, пронизавший атмосферу дома, не могли не влиять на детей. Младшее поколение Кшесинских бредило сценой. В Государственном театральном музее имени А. Бахрушина в Москве хранятся балетные туфельки, напоминающие кукольные, купленные четырехлетней Мале для участия в детской массовке «Конька-Горбунка», – она извлекала в картине подводного царства волшебное кольцо из пасти страшного кита. Сцена происходила в самом конце спектакля, но маленькая артистка появлялась за кулисами за час до начала представления, чтобы получить свой парик и самолично упрятать кольцо в китовый зубастый рот.

А вот свидетельство старинного приятеля отца, упоминавшегося уже балетмейстера Л.И. Иванова:

«Как-то после репетиции Ф.И. Кшесинский попросил меня зайти к нему, объяснив, что хочет показать мне свою меньшую дочку и посоветоваться, что с ней делать. “Сошла с ума по балету, в театр не брать – плачет, а возьмешь, не спит целую ночь и все время старается изображать из себя балерину”. Придя к нему, я вскоре увидел одетого в балетный костюм семилетнего ребенка, который, никогда не учившись классическим танцам, с замечательной ловкостью и грацией выделывал всевозможные балетные па и принимал разнообразные, нередко весьма трудные позы. Удивившись и сам такому детскому увлечению, я всмотрелся в нее более пристально и тогда же решил, что это несомненное призвание. “Учить надо, – сказал я ее отцу, – и учить немедленно. Такая любовь к танцам явление редкое, это несомненный талант, который необходимо развить. Ты увидишь, что она будет балериной и знаменитостью”».

Первой, кто продолжил семейную профессию, была старшая дочь Юлия, по сцене Кшесинская 1-я, ставшая после окончания Императорского театрального училища достаточно успешной характерной танцовщицей, за ней средний брат Юзя, чрезвычайно

походивший на отца, такой же красивый и стройный, дослужившийся до почетного места первого танцовщика.

В 1880 году подошла очередь восьмилетней Матильды: осенью ее повезли, празднично одетую, в лакированных туфельках, в училище, держать вступительный экзамен.

Промозглый, ветреный этот день помнился ей в сплошном угаре. Накануне она перестаралась, упражняясь у зеркала в папочкиной репетиторской, где он давал домашние уроки танца приходящим ученикам, плохо спала, мучимая кошмарами. Ерзала на сиденье коляски, зажатая родителями, мысленно произносила слова молитвы: «Матерь Божья, помоги, пожалуйста! Я всегда, всегда буду хорошей»! Ничего другого не приходило в голову. Матушка в результате не выдержала, хлопнула досадливо по коленке: «Хватит вертеться, Маля! Успокойся, наконец! Ты прекрасно подготовлена!»

Кучер, миновав решетку Екатерининского сквера, свернул с заполненного толпой и экипажами Невского на Театральную. Она машинально привстала с места. Пронесся мимо фасад Александринского театра с квадригой вздыбленных коней на фронтоне, удерживаемых Аполлоном, потянулось вдоль улицы составлявшее единый ансамбль с театром здание Императорского училища. Коляска, замедляя ход, заворачивала к центральному подъезду. Гулко билось в груди сердце: скоро, скоро!..

Как во сне прошла она, сжимая руки родителей, через парадную дверь в гудящий голосами вестибюль, где толпились возле гардероба в окружении пап и мам ничего не соображавшие кандидаты в знаменитости, прислонилась к холодной стенке…

Появлялась наверху, вызывая переполох в гардеробной, дама-распорядительница со списком в руке, приглашала очередную группу экзаменующихся. Мучительно тянулось время. Выкрикнули наконец и ее имя.

– Иди, детка! – быстро перекрестила ее матушка, подтолкнув слегка в спину.

Нетвердым шагом поднималась она в толпе молчаливых сверстников по витой лестнице, оказалась на втором этаже, покорно пошла следом за строгой дамой в глубину коридора, остановилась, наткнувшись на чью-то спину, у порога репетиционного зала.

– Входите… по одному, пожалуйста! – скомандовала распорядительница.

Толпясь и мешая друг другу, они ввалились в зал…

Страхи младшей Кшесинской по поводу вступительного экзамена были, в общем, напрасными: выигрышный билет заранее лежал в кармашке ее выходного платья. Не из-за театральных

связей первого мазуриста Петербурга вовсе, в этом не было нужды. Первую свою профессиональную победу Маля одержала собственными силами, без поддержки со стороны – так будет, вопреки распространенному стереотипу, всегда на протяжении всей ее карьеры балетной артистки.

На что, прежде всего, обращала внимание комиссия? На внешность, разумеется. Девочки должны были быть пропорционально сложены, привлекательны с точки зрения балета. Иметь музыкальный слух, хорошо двигаться. Маля вполне отвечала этим требованиям: стройненькая, миленькая. Разве что, пожалуй, не вышла немного росточком. Здоровья отменного. Попросили пропеть у рояля гаммы – подряд и вразбивку, пройтись до окон, остановиться, замереть на мгновенье: никаких замечаний. Прыгает бесподобно. (Даром, что ли, муштровал ее несколько месяцев перед поступлением терпеливый ангел – папуля, даром копировала она дома в гостиной старшую сестру, носясь как угорелая и притоптывая ножкой в зажигательном краковяке?)

– Та-ак: поклонились, мадемуазель!.. Вскинули головку!.. Достаточно…

Когда, замерев в центре зала, темноволосая девочка в косичках глянула неожиданно с заносчивым видом на стоявших возле зеркальной стенки экзаменаторов, улыбнулся даже величавый председатель комиссии, живой бог столичного балета Мариус Иванович Петипа:

– Бьен… карашо.

Слово его было решающим.

3

Вообразим живую кокетливую девочку неполных одиннадцати лет, только что выехавшую в собственном экипаже из дома, на занятия в балетную школу. В Петербурге бледная и вялая весна, но уже продают на улицах фиалки – цветочницы бегут с тротуара к коляске, протягивают нежные букетики, кричат весело: «Купите, барышня!», она вдыхает с чувством едва уловимый цветочный аромат, косит азартным глазом по сторонам. Вокруг – пестрая нарядная толпа, люди двигаются во всех направлениях, наслаждаясь первым теплом; вот пролетел кто-то в двух шагах на лихаче, в парадной форме, глянул мимолетно в ее сторону – немедленно принять независимый вид, отвернуть гордо головку: так, кажется, поступают в аналогичных случаях светские дамы… или, может, напротив, улыбнуться небрежно?..

«Хорошенькая какая…» – слышится откуда-то. Она вертит по сторонам головой: кто сказал? по чьему адресу? День какой прелестный, господи! Как не хочется учиться!

Опять будет тоска в репетиционном зале: сонный Лев Иванович примется аккомпанировать на скрипке, произносить монотонно: «плие!..», «коленки надо вывернуть!»… «не отрывайте пятку от пола!» – по инерции, не глядя на учениц, выстроившихся вдоль балетной стенки. Можно во время его урока делать что угодно: передразнивать друг дружку, глядеть в окно – он и не заметит: скрипку Лев Иванович любит, кажется, больше, чем своих воспитанниц. Все, что он изо дня в день с ними повторяет: приседания с развернутыми врозь носками, перегибы с округлыми взмахами рук, батман вперед, батман назад, батман в сторону – все эти простейшие упражнения она давным-давно изучила дома. Скука смертная…

Она приходящая ученица, экстерница, в отличие от воспитанников, живущих в училище на казенном довольствии. Так постановили на семейном совете: Мале интернат ни к чему, средства, слава богу, позволяют не отрывать ребенка от семьи.

– Доброе утро, мадемуазель!

Знакомый швейцар помогает ей раздеться, вешает верхнее платье в шкаф. Она глядится, нахмурившись, в трюмо, приглаживает прислюненным пальцем бровки. Встряхнув туго заплетенной косой, устремляется вверх по лестнице: скоро звонок. Прыг-скок, – скачет с удовольствием по коридору, – прыг-скок…

– Кшесинская, – слышится за спиной, – остановите, прошу, ваш аллегро?

Господи, инспектрисса! Как всегда – внезапно…

– Простите, Варвара Ивановна! Бонжур!..

Чинным шагом продолжает она движение по коридору, кивает на ходу знакомым девочкам в казенных форменных платьицах. Заливается призывно колокольчик в руках дежурной воспитательницы:

– Мадемуазель, поторопитесь!.. Живее, живее!..

По положению приходящей ученицы ей надлежит повернуть на правую сторону, где расположены классы экстерников, но для нее сделали исключение, приравняли приказом дирекции к интернатовским воспитанницам, «пепиньеркам», у них более насыщенный курс по общим предметам: Закону Божьему, французскому, арифметике, географии, музыке. Учиться ей легко, учителя и классные дамы ставят ее в пример. Ее отличает красивый молодой географ мсье Павловский, нравящийся многим девочкам, и ей в том числе. По расписанию сегодня первый урок

география; она чуточку волнуется, ожидая его появления на пороге.

– Доброе утро!.. Садитесь, прошу вас… («Очаровательная улыбка… смотрит, кажется, в ее сторону».)

У Павловского обыкновение: вызывать учениц к доске по очереди. Если вы отвечали ему накануне, то нынче можно не беспокоиться и урока не учить. Этим часто пользуются лентяйки – только не она, разумеется: домашние задания она готовит всегда, чтобы не вырасти, по выражению мамули, дунюшкой-неразумушкой.

Дождавшись, пока утихнет шум в классе, глянув мельком в тетрадь, Павловский произносит:

– Мадемуазель Степанова…

Выйдя к доске, та стоит истуканом и только хлопает глазами: урока нисколечко не знает. Он отправляет ее на место, произнеся:

– Попросим исправить положение Кшесинскую, хотя сегодня и не ее очередь.

Получилось ужасно: она так спешила сегодня, что не успела переобуться на вешалке: осталась в теплых гамашах и ботинках.

Встав из-за стола, она просит разрешения отвечать, не выходя к карте. Павловский, на мгновенье смешавшись, разрешает, а после звонка спрашивает, подойдя, с иронической улыбкой:

– Что это с вами, милая мадемуазель? Что вас так смутило?

И она говорит, показывая взглядом на клетчатые гамаши:

– Выйти в таком виде мне было неловко.

Павловский весело смеется:

– Понимаю, понимаю. И пожалуйста, не надо краснеть!

События прошедшего дня заново переживаются по дороге домой. Ей удалось посплетничать немного с Олечкой Преображенской у стенки в репетиционной зале, когда Лев Иванович вышел зачем-то ненадолго – она, разумеется, поведала подружке о курьезе на уроке географии, смеялись обе до упаду. Какой-то аноним с третьего этажа, где занимаются мальчики, прислал на ее имя во время перемены записочку, состоящую из одних начальных букв, понять содержание было решительно невозможно. Она перебирает в памяти знакомых воспитанников: кто бы это мог быть? Есть кое-какие подозрения, надо проверить.

Училище балета – что твой монастырь: всюду недремлющее око блюстителей порядка и нравственности – воспитатели, педагоги, классные дамы, инспектора. Категорически запрещено какое-либо общение между мальчиками и девочками. Женская и мужская половины строго отделены: в бельэтаже репетиционные залы, классы и дортуары для воспитанниц, выше этажом, по-петербургски симметрично, аналогичные помещения

воспитанников.

Нет, однако, на свете непреодолимых преград, к каждому замку найдется своя отмычка: если сильно захотеть, можно общаться и сквозь тюремные решетки. Обучение балетной технике включает работу с партнером, периодически в верхнем зале идут совместные репетиции. В красивой и нарядной училищной церкви на третьем этаже проходят по субботам общие моленья, а по воскресеньям и праздникам всенощные и обедни. Прибавьте к этому коллективные выезды в Мариинский театр для участия в массовках – в старомодных поместительных каретах-«рыдванах» времен матушки Екатерины Великой, в таинственном полумраке скрипучего короба, на противоположных скамейках напротив друг друга. А сами вечерние представления на знаменитой сцене, где все пропитано амурными страстями – и музыка и танец, и пантомимы, и дети волею постановщика-хореографа вовлечены в общую игру? Так что возможностей для нежелательных контактов предостаточно, и понаторевшие в конспиративных приемах подростки вовсю ими пользуются: там, глядишь, словечком пара влюбленных перемолвилась, там незаметно кто-то сорвал за кулисой у дамы сердца мимолетный поцелуй в пылающую щечку, там на глазах у зазевавшейся дежурной переходит ловко из рук в руки интимная записочка, покуда не очутится в рукаве у адресата. Жизнь берет свое…

Влюблена ли она? Смешной вопрос: влюблена, разумеется! В папочку любименького – раз, в крестного дядю Мишу, немного в Павловского. Несколько дней была влюблена в воспитанника Сережу Рахманова, но чувство испарилось бесследно после того, как избранник явился на совместную репетицию с выпавшим передним зубом – умора!.. Сейчас ей нравится элегантный и стройный Николай Легат, недавний выпускник, танцующий с ведущими балеринами Мариинского театра, но это не окончательно, следует еще поразмыслить…

Покачивается уютно на рессорах экипаж, стекают наперегонки по мутному окошку дождевые ручейки. Она нисколечко за сегодняшний день не устала, улыбается собственным думам. Господи, как замечательно жить на белом свете!

4

Вчерашняя девочка без пяти минут барышня. Менее всего барышня кисейная. Она ходит на театральные премьеры, катается зимой на коньках по льду Невы, читает Тургенева и Жоржа Санда.

Старшая сестра Юлия поверяет ей сердечные тайны, о которых не следует знать родителям, спрашивает совета. Да и собственные ее увлечения не столь уже наивны, как прежние.

«Четырнадцатилетней девочкой, – читаем в «Воспоминаниях», – я кокетничала с молодым англичанином Макферсоном. Я им не увлекалась, но мне нравилось кокетничать с молодым и элегантным юношей. В день моего рождения он приехал со своей невестой, это меня задело, и я решила отомстить. Пропустить даром этот афронт я не могла. Выбрав время, когда мы все были вместе и его невеста сидела рядом с ним, я ненароком сказала, что люблю по утрам до кофе ходить за грибами (дело происходит во время летних каникул в имении. – *Г.С.*). Он любезно спросил меня, не может ли пойти со мной. Этого мне только и нужно было – значит, клюнуло. Я ответила в присутствии невесты, что если она даст ему разрешение, то я ничего не имею против. Так как это было сказано в присутствии всех гостей, то ей ничего не оставалось, как дать требуемое согласие. На следующее утро мы отправились с Макферсоном в лес за грибами. Он мне тут подарил прелестное портмоне из слоновой кости с незабудками – подарок, вполне подходящий для барышни моего возраста. Грибы мы собирали плохо, и к концу прогулки мне казалось, что он совсем позабыл про свою невесту. После этой лесной прогулки он стал писать мне любовные письма, присылал цветы, но мне это скоро надоело, так как я им не увлекалась. Кончилось это тем, что свадьба его не состоялась…»

Забавно, не правда ли? Соблазнить в четырнадцать лет, а потом оставить на бобах молодого мужчину, который, оказывается, и даром тебе не нужен, расстроить из-за пустяшного укола самолюбия чужое счастье – такое не всякой опытной кокетке под силу. А чего стоит фраза: «Пропустить даром этот афронт я не могла»? Так и слышишь рядом щелчок взводимого пистолетного курка в руках записного дуэлянта: «К барьеру, сударь!»

С детства Маля не любит проигрывать. Ни в спорах, ни в играх. Ни в чем. Ввязывается азартно в борьбу, выпускает коготки. «Порох! – всплескивает руками матушка. – Господи, в кого ты у нас такая уродилась, воительница?» (На одной из сохранившихся фотографий Кшесинской той поры – барышня в пышном платье с оборками, надменно глядящая в объектив. Вскинутый подбородок, полуулыбка плотно сжатых губ. Гордая польская панночка, хочется сказать.)

Она все больше разочаровывается в занятиях балетом. Томится на репетициях, не видит смысла в однообразной,

тоскливой муштре у стенки. Обдумывает, как убедить родителей забрать ее из училища. Хочет стать пианисткой. Трудно сказать, чем бы все это закончилось, не вмешайся случай: она увидела впервые на сцене прославленную Вирджинию Цукки.

Петербургский балет в описываемую пору переживает упадок. Тускнеет на глазах уровень исполнительства ведущих балерин – Соколовой, Вазем, Горшенковой, заканчивающих в силу возраста свою карьеру, достойной смены ветеранам пока не видно. Публика, по инерции заполняющая кресла Мариинки, глухо ропщет на потерянное даром время, освистывает артистов. Балетные критики «Петербургской газеты» и «Биржевых ведомостей» мечут в театральных колонках громы и молнии по поводу мертвящего застоя в храме Мельпомены.

Положение в какой-то мере спасают гастролеры, главным образом итальянские. В Петербург наезжают периодически ведущие балерины миланской «Ла Скалы»: Дель Эра, Брианца, Гримальди, Леньяни. Иные из них заключают с дирекцией императорских театров контракты на несколько сезонов, танцуют заглавные партии текущего репертуара.

Сестра как-то, возвратившись рано с репетиции, попросила Малю об одолжении. Гвардеец барон Зедделер, Юлин поклонник, взял на нынешний вечер билеты в кафе-шантан «Кинь-грусть» на Островах, где выступает в антрепризе М. Лентовского приехавшая на гастроли итальянская виртуозка Вирджиния Цукки. Сам барон, к сожалению, пойти на спектакль не может, поскольку неожиданно назначен в караул. Не согласится ли Малечка ее сопровождать? Поскольку одной ей идти в публичное место не совсем прилично…

– У меня нет настроения выходить из дома… – прозвучало в ответ. – Взгляни, пожалуйста…

Мрачная, она сидела в общей их комнате возле туалетного столика, смотрелась в трюмо. По глупости расковыряла на лбу небольшой прыщик, который теперь воспалился и противно ныл.

– Чудовищно, правда?

– Да не видно почти ничего, дурочка! – Сестра засуетилась, стала перебирать на столике гору флакончиков и баночек. – Посиди спокойно минутку… – Отвернув крышку, принялась втирать подушечками пальцев кольд-крем в кожу, дула горячо на лоб. – Потерпи, потерпи! – Извлекла бархотку из пудреницы, мягко провела по больному месту. – Ну, – спросила иронично, – где же наш прыщик?.. Давай, собирайся быстрее, времени в обрез!

На небольшой сцене кафе-шантана, мало подходившей для классического танца, Цукки в тот вечер должна была танцевать в дивертисменте партию баядерки Падманы из балета «Брама».

Сидевшие в зале за столиками посетители пили вино, курили, шептали на ушко комплименты раскрасневшимся дамам. Обстановка была самая что ни на есть кабацкая.

Маля ерзала в кресле, ожидая выхода итальянки, томилась. Жалела, что поддалась на уговор сестры. Снова стало зудеть на лбу расцарапанное место. Она постукивала нервно пальчиками по скатерти: появится когда-нибудь наконец эта Цукки?

Сорвав жидкие хлопки, раскланялась с публикой очередная исполнительница: камерная певица с вызывающим декольте. Ведущий объявил выход гастролерши, заиграла, покрывая шум зала, увертюра. Все, что за этим последовало, начиная со стремительного вылета на помост немолодой темноволосой балерины в пестрых шелках, не поддавалось определению. Ничего похожего она никогда не видела. Вот каким, оказывается, может быть балет!

«Появление на нашей сцене Цукки, – напишет она впоследствии, – открыло мне смысл и значение нашего искусства. Она произвела на меня впечатление потрясающее, незабываемое. Мне казалось, что я впервые начала понимать, как надо танцевать, чтобы иметь право называться артисткой, балериной. Цукки обладала изумительной мимикой. Всем движениям классического танца она придавала необычайное очарование, удивительную прелесть выражения. Для меня исполнение Цукки было и осталось подлинным искусством, и я поняла, что суть не только в виртуозной технике, которая должна служить средством, но не целью. У Цукки были необыкновенно выразительные движения рук и изгиб спины, которые я хотела запомнить, жадно следя еще детскими глазами за ее исполнением. Говорили потом, что у меня были движения рук и спины, как у Цукки. Я сразу ожила и поняла, к чему надо стремиться, какой артисткой надо быть».

Первое, о чем она подумала, пробудившись наутро: в жизни случилось что-то очень важное. Перед глазами стояла Цукки, осыпаемая цветами. Отныне у нее есть идеал! Она будет танцевать, как Цукки, станет такой же знаменитой. До выпускного экзамена – целых два года, многое можно успеть…

Вчера еще готовая бежать из танцевальной казармы строптивая барышня снова образец трудолюбия в классе педагога Екатерины Оттовны Вазем. Строгий взгляд экс-балерины невольно отыскивает в репетиционном зале среди стайки охорашивающихся у стенки воспитанниц знакомую фигурку: Кшесинская напоминает ей самое себя в пору ученичества.

– Заняли места, мадемуазель! – Требовательный хлопок в ладоши. – Приготовились… слушаем музыку!.. Вторая позиция!..

Пятая… Так… Хорошо… Рыхлякова, выворотней бедро!.. Еще, еще!.. Начали движение!.. Адажио… четвертый арабеск! Хорошо… хорошо… Четвертый фор-де-бра!.. продолжайте… хорошо… Стоп! – Очередной хлопок, эхом отдающийся в зале. – Начинаем аллегро!.. Та-ак, движение… не задерживайтесь – быстрее, быстрее! Ноги, мадемуазель, думают самостоятельно… Аттитюд выше! Кшесинская, не морщите лоб, скоро состаритесь… Продолжаем… выворотность не забывать!.. Стоп! Повторили… с левой ноги!.. Хорошо! Теперь с правой!.. Стоп! Все – обратно!.. Начали… И-и раз!.. И-и два!..

Живые оловянные солдатики в стандартных юбочках с воланами, прикрывающих колени, повторяют раз за разом элементы классического танца. Каждое положение корпуса, каждая позиция рук и ног, каждый поворот или наклон головы предопределены каноном. Любое отклонение от образца недопустимо, пресекается немедленно.

– Не фантазировать! Делайте, как я показываю! И-и раз!..

Вертится гончарный круг, неделя за неделей, месяц за месяцем. Глина в руках мастеров не всегда подходящего качества – отбрасываются в угол мастерской чужеродные куски, негодный полуфабрикат. Но и сами мастера часто не на высоте, случается сплошь и рядом: глина высших кондиций, а корежится, пузырится, утекает сквозь пальцы, потому что пальцы нечутки, неталантливы, и выходят в итоге из печи после обжига изделия-уродцы, которые, как потом ни глазурь и ни раскрашивай в яркие цвета, лучше выглядеть не станут: цена им в базарный день копейка. Штучный, коллекционный товар на выходе – редкость…

В десятом, выпускном, классе педагога Христиана Петровича Иогансона несколько кандидаток на высший балл. Кшесинская – в ведущей тройке. После суховатой педантичной Вазем с ее замечаниями на репетициях, похожими на диктант, уроки «Христеньки», как зовут его между собой воспитанницы, всегда – игра, образные представления.

Величавый патриарх со скульптурной лепкой лица Иогансон не просто самый титулованный среди педагогов-репетиторов. Начавший балетную карьеру, как Кшесинский-отец, еще в царствование государя Николая Первого, танцевавший некогда в паре с самой Марией Тальони обрусевший швед-эмигрант – один из творцов русской школы классического танца, ревностный ее служитель и охранитель. Большинство училищных педагогов были когда-то его питомцами и в собственной практике следуют благоговейно заветам учителя.

В классе «Христеньки» всегда приподнятая атмосфера: безупречно одетый, говорящий с французским акцентом

улыбчивый ветеран заражает учениц артистизмом, благородной, неаффектированной простотой. Его показы выразительны и ясны, он учит воспитанниц не скакать эффектно на пальцах, а мыслить и переживать. Работая с ним, не замечаешь абсолютно часов: звонит за стенкой колокольчик к окончанию занятий, а чувство такое, будто и половины урока не минуло.

У старого джентльмена правило: ждать, пока не покинет зал последняя ученица.

– Христиан Иванович, до свидания!

Элегантный наклон головы в сторону присевшей в книксене «пепиньерки».

– Оревуар, Христиан Иванович!

Очередной полупоклон, улыбка.

– До свидания…

– Малечка, дорогая! – наклонившись, он целует ее в макушку. – Пожалуйста, кланяйтесь от меня почтенным вашим батюшке и матушке!

– Спасибо, Христиан Иванович! Непременно!

– Храни вас Бог, детка!

Глава вторая

1

– Значит, воспитанником своим ты вполне доволен? – Тучный, в пышных усах Александр Третий глянул вопросительно на неудобно сидевшего напротив обер-прокурора Синода Победоносцева. – Служит исправно, от дел государственных не отлынивает… Так, что ли?

– Точно так, ваше величество.

От опытного царедворца не ускользнула озабоченная нотка в словах государя. Что интересно за сим последует?

– Скажи, Константин Петрович… – Александр по-медвежьи тяжело поднялся из-за стола (вскочил одновременно и высокий, вровень с императором, Победоносцев). – Ты молодым себя помнишь? – Взял собеседника под локоть, повел не спеша через кабинет, – Когда в жар и холод бросало от каждой проходящей мимо юбки. А?

Они приблизились к высокому, вровень с полом, окну, встали в простенке между портьерами. За литыми высокими стеклами, расцвеченными морозцем, падал на деревья гатчинского парка бесшумный снег. Весна по обыкновению не торопилась на русский север.

Победоносцев чувствовал, что запарился в вицмундире, хотелось почесаться под тесным воротником. «Ну же, ваше величество, – мысленно торопил он монарха, – объясните наконец ваши иносказания!»

Царь, слава богу, недолго дипломатничал, рубанул по обыкновению сплеча: наследник мается плотью. Угнетенное состояние духа: вял, апатичен, сам не свой… Императрица обеспокоена, вопрос обсуждался на семейном совете.

– Вырос жеребчик…

Ироничный взгляд на воспитателя сына.

– Что скажешь?

Фыркнул в усы, тут же посерьезнел, провел задумчиво пальцем по орденскому созвездию на груди у верного сподвижника:

– Константин Петрович, ты не хуже меня знаешь наследника. Сам он недостаточно решителен. Не нарвался бы на дрянь какую… Займись оным делом немедля. Найди достойную особу. Не мне тебя учить… Доложишь, что и как… Ступай, спасибо за службу. Докладом твоим я доволен вполне…

Поклонившись, Победоносцев скорым шагом пошел из кабинета.

Щекотливое поручение монарха не выглядело по меркам морали описываемого времени чем-то исключительным. Добрачные связи среди молодых (и не очень) представителей царствующей фамилии были в порядке вещей. Афишировать их считалось дурным вкусом, иметь содержанку, любовницу на стороне – едва ли не уставным правилом. Столичная публика и обыватели сплетничали о романах великих князей с кафешантанными танцорками, артистками императорских театров, балеринами, газеты помещали по этому поводу карикатуры, писали фельетоны. Дело дальше не шло, выказывать решительное осуждение великосветским романам мало кому приходило в голову. Что позволено, как говорится, Юпитеру, не позволено быку…

Предпринятые в спешном порядке действия по исполнению императорской просьбы дали на первом этапе неожиданный сбой. Отвечавшая, казалось бы, всем требованиям особа, молодая певица оперного отделения Мариинского театра Е. Мравина, призванная удовлетворить отроческие потребности цесаревича, внезапно заартачилась. Объявила, что обручена, расплакалась в кабинете министра двора барона Фредерикса, обещавшего в случае положительного ответа личное покровительство, подписала, волнуясь, бумагу о неразглашении деликатного разговора и через какое-то время приказом дирекции императорских театров была переведена под благовидным предлогом в Москву.

Пока раздосадованный неудачей Победоносцев решал головоломку с поиском очередной кандидатки, наследник развлекался как мог.

Записи из юношеского дневника Николая:

«Такой массы цыган никогда не видел. Четыре хора участвовали. Ужинали, как тот раз, с дамами. Я пребывал в винных парах до шести утра. Проснулся – во рту будто эскадрон ночевал».

«Мы танцевали до упаду… потом ужинали… легли спать в 3 часа 30 минут утра».

«Вчера выпили 125 бутылок шампанского».

«Не выдержал и начал курить, уверив себя, что это позволительно».

«Мы напились… перепробовали 6 сортов портвейна и напились… мы валялись на траве и пили… осоловели… офицеры принесли меня».

«Очень весело засматривался на ту же цыганочку».

Дальше – больше. Армейский товарищ цесаревича гусар Евгений Волков, провожая как-то вечером Николая в Гатчину, попросил остановиться на минуту возле лавки бижутерии на Кронверкском: вспомнил, что собирался купить в подарок на день рождения сестры какую-нибудь безделушку.

В помещение, тотчас же окруженное конвоем наследника, приятели вошли вместе, стали разглядывать выставленный на полках товар. Полуживой от потрясения тщедушный хозяин, то ли поляк, то ли немец, доставал дрожащими руками вещь за вещью, бормотал не переставая: «Извольте, извольте глянуть…» За спиной у него в это время скрипнула дверь, в помещение проскользнула рыжеволосая девушка в накинутой на плечи узорчатой шали.

– Ах! – только и смогла выдохнуть она, бросив изумленный взгляд на гостей.

Последовавшая за этим сцена чрезвычайно напоминала гоголевскую в финале «Ревизора»: застывшие в вопросительных позах гусары лишились, похоже, дара речи. Опомнившийся первым Волков начал было какую-то приличествующую моменту фразу, но опоздал: девушка, тенью мелькнув вдоль прилавка, исчезла за дверью.

– Сон наяву… – разглагольствовал в санном возке, мчавшем приятелей сквозь вьюжный ночной Петербург, легкомысленный Волков, держа на коленях купленный впопыхах вместе с перламутровой пудреницей не нужный ему ни с какого боку дорожный погребец. – Какой, однако, товар можно встретить нежданно в захудалой лавке! Ты не находишь, Ники?..

Спутник словно бы не расслышал вопроса, всю дорогу до дома был молчалив и задумчив.

Неделю спустя славившийся амурными приключениями Волков вновь подкатил, теперь уже в одиночку, к знакомой лавке. Выбрался, озираясь, из саней, поправил портупею. Что-то необычное привлекло его внимание, шум какой-то, непонятное движение в соседнем переулке. Пройдя осторожно под окнами лавки, он высунулся из-за угла. Представившаяся глазам картина была настолько неожиданной, что он машинально протер глаза: не искрящийся ли под солнцем снег родил фата-моргану? Вдоль деревянного забора с резными воротами гарцевало неподалеку десяток верхоконных в меховых высоких шапках… конвой цесаревича, никаких сомнений!

– Опередил, шельма! – восхитился товарищем Волков, ретируясь по-воровски к ожидавшим его саням. – Ай да Ники, ай да тихоня…

С отроческих лет, до самой кончины Николай Второй вел дневник, сохранившийся до наших дней, многократно издававшийся, часто цитируемый. Не отягощенный глубокими раздумьями, не блещущий стилем, он изобилует подробностями приватной жизни последнего русского монарха на протяжении нескольких десятилетий: чем занимался в такой-то год, день и час, что съел за обедом, как себя чувствовал перед отходом ко сну или, напротив, проснувшись поутру после обильной гусарской пирушки, с кем беседовал и по какому поводу, в кого влюблялся, как протекал любовный роман, чем завершился. Правдивый по-своему, имея в виду характер общественного положения автора, конспект текущих событий дня: не каждый на его месте доверил бы бумаге и такую открытость.

Так вот, в правдивом этом (насколько подобное вообще возможно) дотошном жизнеописании нет, как ни странно, и намека на короткий по времени, но чрезвычайно болезненный роман Николая с дочерью петербургского крещенного лавочника-еврея. Первый в его жизни роман с женщиной, не считая двух романтических увлечений: кузиной-ровесницей Викторией Уэльской и княжной Ольгой Александровной Долгорукой. Есть предположение, что сведения о связи с «жидовкой», как тогда выражались, в дневнике наличествовали, но позже в силу неведомых обстоятельств были вымараны рукою автора. Не сохранилось имени рыжеволосой возлюбленной, не известна дальнейшая ее судьба. Зато известны благодаря сохранившемуся в архивах полицейскому рапорту обстоятельства их последнего свидания. Снятую анонимно квартиру в районе Крюкова канала, где они встречались, шпики засекли довольно быстро. В один из вечеров любовное гнездышко окружила команда переодетых полицейских во главе со столичным градоначальником фон Валем.

Прижимая к боку папку с высочайшим предписанием, в «двадцать четыре минуты» (так именно начертано было рукой Александра Третьего) выслать девицу и всех ее родственников вон из столицы, фон Валь взбежал по лестнице, позвонил в дверь.

Разыгралась драматичная сцена.

– Только переступив через мой труп, вы сможете прикоснуться к ней. Это моя невеста! – заслонял близкую к обмороку возлюбленную Николай. – Извольте немедленно покинуть помещение!

– Ваше высочество, у меня приказ, – возражал, стоя на почтительном расстоянии от царственной особы, тщедушный фон Валь.

Требованию грозного батюшки все же пришлось покориться. Единственная уступка, которую выторговал у отца прощенный Николай, – выехавшая с семейством в неизвестном направлении девица получила некую долю отступного для устройства на новом месте. Велено было также не преследовать опальную семью.

Можно только гадать, как далеко завели бы наследника терзания юношеской плоти, не раздайся однажды в кабинете Победоносцева телефонный звонок от задействованного в секретную акцию директора императорских театров Ивана Александровича Всеволожского:

«Ваше высокопревосходительство! Кажется, нашел…»

В упоминавшемся уже дневнике Николая есть запись от 23 марта 1890 года: «Поехал в коляске на Елагин остров в конюшню молодых лошадей. Вернулся на новой тройке. Закусывал в восемь часов. Поехали на спектакль в театральное училище. Были небольшие пьесы и балет. Очень хорошо. Ужинал с воспитанницами».

Туманная, согласитесь, связь между пьесой с балетом, трапезой с воспитанницами (после недавней закуски) и фразой «очень хорошо». Впечатление, что наследник престола страдал в ту пору неумеренным каким-то аппетитом.

Секрет на самом деле прост: выздоравливающий после неудачно завершившегося романа молодой мужчина познакомился на выпускном спектакле – случайно, как думал, – с необыкновенной девушкой, которой немедленно увлекся. «Очень хорошо», конечно же, не о трапезе – о душевном состоянии, в каком он пребывал, воротясь в Аничков дворец, записывая перед сном в дневник события прошедшего дня.

Исполненная по воле царствующего монарха сверхдоверительная акция обернулась одной из знаменитейших любовных историй нашего времени.

2

Итак, 23 марта 1890 года, пятница. У Мали Кшесинской – выпускной экзамен по хореографии. С утра она в лихорадочном возбуждении: примеряет в спальне под присмотром матушки и сестры костюм, в котором будет танцевать, пробует у зеркала позиции.

– Удобно, Малечка? Как подмышками? Дышится свободно?

Она вскидывает кисти рук.

– Хорошо, как будто.

– Сделай пробежку… Нет, все в порядке. Можешь снимать…

Господи, как медленно тянется время! С ума сойти! Через несколько часов ей предстоит выступить… страшно подумать! – перед государем и членами царской семьи. Его Величество, по сообщению министерства двора, выразили желание лично напутствовать на пороге самостоятельной жизни молодое пополнение русской сцены. Есть предположение, что высокие гости останутся на ужин с выпускниками. От одной мысли об этом холодеет душа…

Она бродит бесцельно по комнатам, садится к роялю. «Ми-фа-соль-ля-си… – раздается в тишине гостиной, – ля-соль-фа-си…»

Мелодия, не покидающая ее ни на час, которую она слышит даже во сне. С того незабываемого вечера в Мариинке, на котором Цукки исполнила в дивертисменте вместе с Павлом Андреевичем Гердтом па-де-де из «Тщетной предосторожности».

Какой это был танец! Публика неистовствовала, кричала от восторга, Цукки вызывали семнадцать раз. На глазах у отбивавших ладони балетоманов она расцеловала партнера, о чем поведали наутро аршинными заголовками все без исключения газеты: ничего подобного на российской сцене доселе не видели.

За кулисами она была представлена вместе с другими выпускницами, танцевавшими в кордебалете, великолепной итальянке. («Цукки видела мое обожание, – вспоминала она, – и у меня долго хранился в банке со спиртом подаренный ею цветок, который потом пришлось оставить в России…») Возвращаясь счастливая домой, она напевала мотив итальянской канцонетты «Стелла конфидента», под которую танцевала Цукки: «Ми-фа-соль-ля-си! Ля-соль-фа-си!..»

– Хороша песня! – обернулся к ней с козел закутанный в тулуп кучер Николай, похожий на снежную бабу. – Лошади до чего бегут споро…

– А? – не до конца расслышала она в свисте ветра, и тотчас внезапная мысль подобно вспышке молнии пронеслась у нее в голове: «Вот же он, мой выпускной танец! Как я раньше не подумала?»

То было воистину счастливое озарение! Парный танец на музыку прелестной канцонетты чрезвычайно ей подходил – с этим согласилось и домашнее жюри во главе с папочкой и готовивший ее к выпускному акту Кристиан Иванович и намечаемый партнер, тоже выпускник, Сережа Рахманов. Поскольку первые ученицы, или, говоря по-современному, отличницы, имели право сами выбирать себе выпускной танец, номер без проволочек утвердило и училищное руководство. Ей придумали очаровательный костюм нежно-голубого цвета с букетиком фиалок на груди, дивно на ней смотревшийся,

особенно в движении, когда стройную ее фигурку словно бы обвевало со всех сторон васильковое облако легких тюник…

Несколько недель они до изнеможения репетировали вдвоем – и в школе и у нее дома. Сережа вел себя по-рыцарски: откликался на любую просьбу – продлевал поддержки, помогал при вращениях добавочным «посылом», не реагировал на обидные замечания. Однажды, правда, сорвался: вырвал запальчиво руку, обозвал строптивой дурой, пулей вылетел за дверь – в одной сорочке.

Она присела разгоряченная в кресло, фыркнула презрительно: «Пофордыбачься, пофордыбачься! Все равно никуда не денешься!»

За окнами висел желтый, клочьями, туман. Сын письмоводителя Сережа Рахманов не имел ни собственного экипажа, ни денег на извозчика, чтобы добраться домой на Васильевский: отвозил его после репетиций Николай. Через несколько минут с синим как у утопленника лицом, лязгая зубами, он появился на пороге.

– Продолжим? – невинным голосом произнесла она.

… – Ты здесь, Малюша?

Вздрогнув, она захлопывает крышку рояля. Батюшка в рабочей своей блузе…

– Пойди приляг у себя, – он целует ее в лоб. – Расслабься, ясно? Тебе это сейчас необходимо. Иди, детка…

Он уходит торопливым шагом – выпить в перерыве между занятиями в репетиторской чашку крепко заваренного чая с пирожком.

Лежа на кушетке и глядя неподвижно в потолок, она улавливает идущий из глубины дома ароматный запах сдобы, сглатывает судорожно слюну. Вот что ей сейчас хочется больше всего на свете: съесть целиком без остатка большой кусок пирога с капустой.

Увы! Искусство, как любит повторять Кристиан Иванович, требует жертв.

В здании на Театральной – дым коромыслом, суета, мельтешение лиц. Торопятся куда-то декораторы, швеи, осветители, стучат молотки рабочих на сцене учебного театра. На этажах все сияет и блестит: свежепомытые окна, масляные стены, натертый паркет с алой дорожкой посредине. Хлопают поминутно двери кабинетов, носятся по лестницам педагоги. Вот появился на пороге своей приемной осунувшийся Иван Александрович Всеволожский, сопровождаемый чиновниками канцелярии,

остановился, выслушивая чей-то доклад.

Она стоит с картонной коробкой в руках в проходе, не решается пройти…

– Иван Александрович, готово! – подлетает к директору бессменная училищная инспектрисса Варвара Ивановна.

– Да, да, иду… Господа, – оборачивается он к окружающим, – полтора часа меня нет… После, после! Я глух и нем!..

Они неожиданно сталкиваются взглядами.

– Мадмуазель Кшесинская!

Всеволожский манит ее жестом руки. Толпа вокруг него мигом расступается. Он сам идет ей навстречу… что-то малопонятное – она с ним не знакома, видела только несколько раз мельком на расстоянии. Ей крайне не по себе…

– Здравствуйте, здравствуйте! – Он с удовольствием ее разглядывает. – Не трусите? Ваш выход, если не ошибаюсь… – Варвара Ивановна ловко сует ему в руки афишку, он рыскает взглядом по тексту. – Э-е… третий в балетном отделении. Буду держать за вас скрещенные пальцы… – Он очаровательно ей улыбается: – Ни пуха ни пера, как говорится!..

Запоздалое «мерси» она произносит ему в спину. Странный до чего разговор… И этот его взгляд… трудно выразить. Так смотрят на дам, которым хотят понравиться…

– Участники спектакля, на сцену! – слышится в коридоре голос распорядителя.

Стиснутая толпой взбудораженных сверстников, она ускоряет шаг.

О судьбоносном для нее знакомстве с наследником престола на ужине после выпускного спектакля Кшесинская подробно рассказывает и в дневнике, и в вышедших полвека спустя на французском языке «Воспоминаниях». Между двумя этими источниками немало расхождений, но нигде нет и намека на ее посвященность в подстроенную интригу. Думается, она, как и Николай, на самом деле ни о чем не догадывалась, приписав случившееся воле провидения.

Оглушенная событиями дня она наблюдала сквозь щелку занавеса, как в маленьком учебном театре с несколькими рядами кресел рассаживается венценосная семья: массивный Александр Третий, императрица, великие князья с женами.

То, как они с Сережей выступили в дивертисменте, как исполнили свой назубок затверженный танец, она помнила отрывочно – все пронеслось в считанные мгновения угарной круговертью: звуки музыки, повизгивание наканифоленного пола под ногами, разноцветные огни, горячее дыханье партнера на

лице…

Им старательно аплодировали из зала – не больше и не меньше, чем остальным участникам: царственные зрители соблюдали необходимый в подобных обстоятельствах нейтралитет.

Читаем далее у Кшесинской:

«Все побежали в залу, я и теперь шла позади всех, я знала, что приду в залу последняя и, следовательно, буду первая у дверей. В конце коридора показалась Царская фамилия, волнение мое достигло крайних границ, и мне казалось, что у меня не хватило бы сил ждать еще. Я не в силах описать тот восторг, в котором я находилась, когда Государь обратился ко мне первой и меня похвалил… Когда все по очереди были представлены Государю и Государыне и были обласканы ими, все перешли в столовую воспитанниц, где был сервирован ужин на трех столах – двух длинных и одном поперечном.

Войдя в столовую, Государь спросил меня: «А где ваше место за столом?»

«Ваше Величество, у меня нет своего места за столом, я приходящая ученица», – ответила я.

Государь сел во главе одного из длинных столов, напротив от него сидела воспитанница, которая должна была читать молитву перед ужином, а слева должна была сидеть другая, но он ее отодвинул и обратился ко мне:

«А вы садитесь рядом со мною».

Наследнику он указал место рядом и, улыбаясь, сказал нам:

«Смотрите только, не флиртуйте слишком».

Перед каждым прибором стояла простая белая кружка. Наследник посмотрел на нее и, повернувшись ко мне, спросил:

– Вы, наверное, из таких кружек дома не пьете?

Этот простой вопрос, такой пустячный, остался у меня в памяти. Так завязался мой разговор с Наследником. Я не помню, о чем мы говорили, но я сразу влюбилась в Наследника…»

3

Каким он предстал перед ней в описываемый вечер? Вот беглый его портрет той поры: невысокого роста, славянского типа лицо с фамильным «романовским» подбородком, светлые, чуть навыкате, глаза, юношеские усики. Очень мило картавил, прекрасно выглядел в сшитом по фигуре мундире Преображенского полка с офицерскими погонами. Да что там форма, господи! От одного его имени трепетали на просторах России бесчисленные женские сердца: наследник короны, гусар,

прекрасный наездник, душка необыкновенный! И этот полубог во плоти сидел сейчас рядом, улыбался, спрашивал о чем-то. Милый, застенчивый… заинтересован, кажется. Какая девушка, скажите, в подобных обстоятельствах не потеряла бы голову?

«Когда я прощалась с Наследником, который просидел весь ужин рядом со мною, мы смотрели друг на друга уже не так, как при встрече, в его душу, как и в мою, уже вкралось чувство влечения, хоть мы и не отдавали себе в этом отчета…»

Дивная наступила пора жизни: просыпаешься утром наполненная до краев счастьем. Форточку распахнуть и – птицей ввысь! К нему…

Несколько дней спустя после памятного вечера она неожиданно встречает его на улице – разве не чудо?

«Я шла с сестрой по Большой Морской, и мы подходили к Дворцовой площади под арку, как вдруг проехал Наследник. Он узнал меня, обернулся и долго смотрел мне вслед. Какая это была неожиданная и счастливая встреча! В другой раз я шла по Невскому проспекту мимо Аничкова дворца, где в то время жил Император Александр Третий, и увидела Наследника, стоявшего со своей сестрой, Ксенией Александровной, в саду, на горке, откуда они через высокий каменный забор, окружавший дворцовый сад, любовались улицей и смотрели на проезжавших мимо. Опять неожиданная встреча. Шестого мая, в день рождения Наследника, я убрала всю свою комнату маленькими флажками. Это было по-ребячески, но в этот день весь город был разубран флагами. Случайные встречи с Наследником на улицах были еще несколько раз…»

(«Наследник», обратите внимание, она пишет с заглавной буквы. И не цветами украшает комнату в день его рождения, а символами государства. В любовном ее чувстве сквозит по-девичьи восторженно верноподданническая нота – черта характера, без которой Кшесинскую не понять.)

Незабываемая весна девяностого года! Сколько она вместила в себя! Любовь, знакомство с Цукки, окончание училища – с первой наградой. Она получает место в балетной труппе Мариинского театра. Нет конца радостным событиям: словно бы звездный дождь пролился разом над головой.

Папуля влетает в прихожую – румяный, шуба нараспашку, снежная крупа на воротнике, кричит с порога:

– Читали? Плещеев о Малечке пишет!

Все рвут у него из рук свежий номер «Петербургской газеты». Где, на какой странице? Да вот же, господи! Смотрите театральную подборку!

Упоминавшийся уже критик (сын известного поэта Алексея

Плещеева) сообщает: «Гвоздем бенефиса г. Папкова были дебюты трех юных дочерей многочисленного семейства Терпсихоры – госпожи Кшесинской 2-й, Скорсюк и Рыхляковой. Г-жа Кшесинская в па-де-де из «Тщетной предосторожности» произвела самое благоприятное впечатление. Грациозная, хорошенькая, с веселою детскою улыбкою, она обнаружила серьезные хореографические способности в довольно обработанной форме: у госпожи Кшесинской твердый носок, на котором она со смелостью, достойной опытной балерины, делала модные двойные круги. Наконец, что опять поразило меня в молодой дебютантке, это безупречная верность движения и красота стиля. Очень удачным партнером г-жи Кшесинской 2-й оказался г. Легат. Па-де-де имело огромный успех, несмотря на то, что недавно еще его исполнили г-жа Цукки и г. Гердт…»

В порыве чувств все целуются, папочка требует тут же откупорить бутылку шампанского.

– За новую балетную звезду России! Виват Кшесинской-второй!

Вырезку из газеты она помещает в рамочку, вешает над трюмо в их общей с сестрой комнате. (Позже для подобных откликов ей не хватало целого шкапа.)

Сошел лед на Неве. Нехотя, зябко поеживаясь, приближается короткое северное лето. У петербургских застав – столпотворение: тянутся во все стороны, утопая в жирной грязи, нагруженные домашним скарбом фуры, напоминающие гигантские катафалки. Город устремился на природу – в загородные особняки, имения, на дачи. К солнышку, траве, исходящим нежным паром пригоркам с блеклыми цветами.

Отдыхая с родителями в Красницах, она считает в нетерпении дни, оставшиеся до открытия красносельского театрального сезона, в котором участвует впервые. На спектакли ждут царскую семью, будет и он, разумеется. Поскорей бы, господи!

Летний фестиваль в Красном Селе задумал в бытность свою главнокомандующим Санкт-Петербургским военным округом великий князь Николай Николаевич старший, родной дядя нынешнего государя. Горячий поклонник балета, а паче чаяния – танцовщиц, приживший от балетной артистки Числовой четверых детей обоего пола, носивших фамилию Николаевых, он построил в свое время в 24 верстах от столицы на территории армейского лагеря деревянный театр – для увеселения офицеров гвардии, принимавших участие в летних маневрах. В течение июня – июля и первой половины августа тут давали в часы, предшествовавшие полевому ужину, два спектакля в неделю: небольшую комедию и

балетный дивертисмент. Сезоны год от года делались приметнее – к участию в них привлекалось все наиболее яркое на столичной сцене; армейские мундиры в зрительном зале стали чередоваться мало-помалу с летними нарядами великосветских дам и кавалеров; окончательным же признанием затеи стало присутствие среди публики императора с семьей, что разом возвело сезоны в разряд государственных.

До начала представлений она приезжала несколько раз в Красное на репетиции. Лагерь усиленно готовился к празднеству: чистился, красился, белился. Театральную программу по традиции предварял объезд территории главнокомандующим войсками, в том году – любимым из братьев императора великим князем Владимиром Александровичем. Лихорадка, естественно, была сверх всякой меры, к смотру готовились одновременно и артисты и военные: первые – на летней сцене, вторые – неподалеку, на плацу. Бросишь мимолетно взгляд – мимо маршируют, перестраиваются на ходу, скачут рысью. Чем не театр?

Окончив занятия, отстрелявшись на соседнем полигоне, офицеры приходили к театральному павильону, рассаживались в первом ряду, закуривали, принимались шутить с артистками. Мешали, как могли, репетировать. Ужас до чего весело! В особенности когда в самый разгар работы в царской ложе показывался, кряхтя и охая, главный виновник сезонов – давно уже живущий на покое Николай Николаевич старший, который с ходу начинал поправлять режиссера балетной части Льва Ивановича Иванова.

– Стоп! – кричал он, вскакивая с места, являясь через минуту из-за кулис. – Ты как ставишь галоп?

– Так и ставлю, – ответствовал тот. Они с незапамятных времен приятельствовали, были на «ты», Иванов хладнокровно воспринимал чудачества князя. – Согласно правил хореографического искусства.

– «Искусства…» – Старый ловелас решительно отстегивал шашку (на офицерских скамьях шумно реагировали), передавал ее стоявшему рядом адъютанту:

– А ну, молодежь, разойдись!

Окруженный остолбенело застывшими балеринами, он принимался показывать, что кому следует делать, в каком направлении двигаться. Сам при этом вытанцовывал нечто, напоминавшее скорее лезгинку, чем галоп. Дон Кихот на пуантах!

Она любила вспоминать, как, кинувшись со смеху за кулисы, налетела с ходу на корчащегося в судорогах молоденького княжеского адъютанта: стоя у колонны, тот прижимал к животу,

точно грелку, шашку патрона. Глянув друг на дружку, они захохотали как ненормальные…

Строки из дневника Николая:

«10 июня, вторник: был в театре, ходил на сцену»… «17 июня, вторник: происходили отрядные маневры. Кшесинская 2-я мне положительно очень нравится»… «30 июня, понедельник: был в театре, разговаривал с Маленькой К. перед окном».

Пока, как видим, ничего похожего на бурный роман между ними не происходит. В антракте перед началом балетного отделения царская семья по сложившейся традиции поднимается на сцену поговорить с артистами – они успевают, пользуясь моментом, перемолвиться словечком-другим при посторонних. В первом своем театральном сезоне она только участница кордебалета, отдельной гримуборной ей не положено, к выходам она готовится в общем помещении на втором этаже. Один только раз на протяжении полутора месяцев ей дают станцевать сольный танец и отводят ненадолго собственную гримерную, окна которой по счастливой случайности выходят на царский подъезд. Именно в тот день, отмеченный в дневнике, они разговаривают непродолжительное время тет-а-тет. Все благопристойно, галантно, в рамках приличий. (Современная молодая читательница, дойдя до этого места, скорее всего перевернет, не читая, страницу: ску-у-шно-о…)

Пролетели счастливые красносельские денечки. Она вернулась к родителям в имение, Николай уехал в Петергоф, где проводила остаток лета царская семья. Наследника ожидало вскоре многомесячное путешествие по странам света, задуманное как завершающий этап образования, призванное расширить его кругозор, дать представление о разнообразии и сложности окружающего мира, приобщить к ведению международных дел. «Выбить молодую дурь из головы», как кратко сформулировал задачу венценосный батюшка.

Она тяжело переживает предстоящую разлуку. Замкнулась в себе, молчит часами. Все валится у нее из рук. Ни купанья на Орлинке не радуют, ни шумные вылазки на малинник – ничто. Взяла за правило гулять вечерами по пустынному проселку с дворовой собакой по кличке Клеопатра. Встанет лицом к лесу, смотрит подолгу, как редеет за верхушками деревьев бледно-розовый закат. Родители обеспокоены, шепчутся о чем-то за спиной, сестра дает бесполезные советы. Нервы ее на пределе. В один из дней, не выдержав, она просит, чтобы запрягли шарабан, говорит, что хочет навестить близкую подругу Марусю Паурэ, живущую в Петергофе.

– На один день, Маля, – соглашается нехотя отец. – Завтра будь непременно к ужину.

Господи, да ей бы и мгновенья, кажется, хватило. Увидеть только!..

Увы! Они без конца прогуливаются с Марусей по аллее в виду Верхнего дворца и никого, кроме праздно шатающихся вокруг дачников, не встречают. Расстроенная донельзя возвращается она домой и – вот он, подарок судьбы! – сигнал с того берега! В Красницы пожаловала, удивив ее безмерно, нежданная гостья – балетная артистка Таня Николаева-Числова, новая пассия петербургского донжуана Евгения Волкова, неразлучного приятеля наследника. Визитерша торопится, они разговаривают возле стоящей у ворот коляски. То, что она слышит – невероятно, ошеломительно! – наследник попросил Волкова устроить им свидание наедине. В случае согласия пусть назовет подходящий день. О месте встречи ее известят заблаговременно…

Все последующие дни она в смятении: что предпринять? Голова распухла от дум, все совсем-совсем непросто. На дворе, не будем забывать, – на закате уже, правда, – девятнадцатый век с его моралью, нормами поведения, понятиями о благопристойности. Вольница нравов грядущего времени: бунт стриженных феминисток, теория «стакана воды», свободная любовь – все еще впереди; девушке из приличной семьи решиться на тайное свидание с мужчиной – карту поставить на собственную репутацию: прослыть гулящей, распутной – какой хотите. И «маленькая Кшесинская», прекрасно понимая, на что идет, готова рискнуть…

План, к сожалению, не срабатывает. В решающие дни тайных переговоров за ней идет непрерывная домашняя слежка: что-то наверняка в ее поведении насторожило родителей – в гости ей разрешают ездить только к близким знакомым, с сопровождающим. Словно бы по чьему-то наущению именно теперь ей предлагают в театре несколько новых ролей, в числе которых сразу три – в «Спящей красавице»: феи Кандид в первом акте, Маркизы во втором и Красной Шапочки в третьем. Спектакли сменяются репетициями, домой она приезжает поздно вечером, без сил.

23 октября по старому стилю газеты сообщили об отплытии наследника вместе с братом, великим князем Георгием, из Кронштадта на крейсере «Память Азова». Среди сопровождающих Николая в кругосветном плавании лиц – неутомимый гусар Евгений Волков. В считанные часы перед подъемом трапа он передает ей через Таню просьбу наследника: прислать фотографию. Кинувшись к комоду, она переворошила свои

дагерротипы. Все не годилось, на всех она выглядела невообразимой уродиной.

Так он и уехал – без ее фотокарточки.

Они не виделись девять месяцев. Он совершал прогулки в окрестностях египетских пирамид, плыл в Бомбей, Калькутту, на Цейлон, она много танцевала (участвовала в сезоне 1890/1891 года, согласно «Ежегоднику императорских театров», в двадцати двух балетах и двадцати одной опере с танцевальными номерами), брала уроки итальянской виртуозной техники у маэстро Энрико Чекетти, не оставляла занятий с Иогансоном, бывала с сестрой и неразлучной подругой Олечкой Преображенской в гостях, посещала театральные и музыкальные премьеры, читала запоем по ночам. И вот, словно бы вызов ему, оставившему на столь долгий срок любимую ради увеселительного вояжа – крестный ее отец Стракач, владевший модным бельевым магазином «Артюр», преподносит ей подарок за прилежание и успехи: берет с собой по завершению театрального сезона в деловую поездку по Европе.

Они начали с Биаррица, посетили Лурд – святое место для католиков. В гипюровом платочке, обливаясь слезами, молилась она перед чудотворной Лурдской Мадонной, накупила полчемодана образков и сувениров для раздачи дома. Дальше – Италия: Рим, Милан, лелеемый в мечтах «Ла Скала» с неподражаемым кордебалетом, дивными голосами; Неаполь, Флоренция. Наконец – Париж. Здесь у крестного масса дел, и, воспользовавшись нечаянной свободой, она отправляется в одиночку на юг, в Монте-Карло: удовлетворить любопытство, побывать в загадочно-пугающем казино, о котором столько наслышана. В сумочке у нее двести пятьдесят франков, выданных крестным на мелкие расходы; устроившись уютно в купе мчащегося поезда, глядя с любопытством в окно, она твердо решает ни в коем случае не играть.

Натура и темперамент, однако, берут свое. Едва только прибыв на место, галопом пронесясь по залам мимо поглощенных игрой карточных игроков, она устремилась к столу с рулеткой. Постояла недолго за чьими-то спинами. Все последующее происходило словно бы не с ней, помимо воли: кто-то кого-то легонько подтолкнул в спину, чьи-то чужие ноги проковыляли нетвердо к окошечку кассы, чьи-то руки отсчитали на ходу в сумочке половину наличествовавшей суммы – сто двадцать пять франков, кто-то посторонний, не она, подошел к рулетке, выложил горку фишек на расчерченную столешницу рядом с любимым ее числом «семнадцать». Когда запустили колесо и шарик заскакал как бешенный внутри, она сжала до боли

кулачки. Чувство, владевшее ею в тот миг, сравнимо было разве лишь с любовным: страх, ожидание и восторг – одновременно…

Первая ставка принесла ей двести франков выигрыша. Не колеблясь она поставила их на кон. И – проиграла. Следом проиграла сто пятьдесят. Надо было немедленно уходить, денег оставалось только на обратную дорогу. Она и не подумала. Кинулась к кассе, выгребла из ридикюля остаток, получила несколько разноцветных фишек. У нее пересохло во рту, все плыло перед глазами: позолоченные капители колонн, люстра под расписным потолком, чья-то лезущая в рот надушенная чернобурка…

«Делайте ваши ставки, дамы и господа!» – прозвучал в очередной раз голос крупье. К разлинованному цифрами столу тянулись с разных сторон руки в манжетах и кружевных рюшах. Она медлила в растерянности… «Дважды семнадцать… – решила в последний миг, – будь что будет!»

Когда протелефонировав в Париж и успокоив крестного, она спускалась по ступеням казино к подъезжавшему извозчику, в сумочке у нее было около трехсот франков. Отвоеванных в бою! Она чувствовала себя удачливой авантюристкой, прожигательницей жизни – мороз по коже, до чего волнительно! Плюхнувшись с размаху на кожаное сиденье фиакра, поблагодарила мысленно Лурдскую Мадонну за счастливый выигрыш. Тут же спохватилась, прикусив губу: «Свят, свят… чего это я? Грех же ужасный!»

Стянув с руки перчатку, быстро перекрестилась.

– На вокзал… побыстрее! – крикнула кучеру.

4

Рассчитанное на год кругосветное путешествие цесаревича прервалось экстраординарным образом. По невыясненной до конца, тщательно скрываемой от публики причине во время прогулки по узким, заполненным народом улочкам небольшого японского городка Отсу какой-то полицейский на глазах у многочисленной свиты, приблизившись внезапно к коляске рикши, в которой он ехал, ударил его саблей по голове – к счастью, неточно, по касательной. Ошеломленный Николай, спрыгнув с сиденья, побежал что было сил по мостовой, зажимая рукой кровоточащую рану, но нападавший его догнал и, вероятней всего, довершил бы начатое, не помешай этому находчивость и самообладание сопровождавшего наследника в путешествии кузена, королевича Георгия Греческого, уложившего злодея на землю ударом бамбуковой трости, купленной час назад

на местном базаре. Подбежавшая следом с саблями наперевес охрана добила фанатика-террориста…

О случившемся она узнала из газет: обмерла, читая. Рана оказалась сравнительно неопасной. В сообщениях говорилось о досрочном окончании вояжа – крейсер «Память Азова» держал курс на Владивосток. Страна вздохнула с облегчением: второй раз после крушения в 1888 году царского поезда под Харьковом, в котором путешествовала вместе с Александром Третьим императорская семья, наследник короны остался жив. В церквах шли благодарственные молебны. Поэт Николай Майков откликнулся на радостное событие стихами:

Царственный юноша, дважды спасенный!
Явлен двукраты Руси умиленной
Божия Промысла щит над тобой!
Вихрем промчалася весть громовая,
Скрытое пламя в сердцах подымая
В общем порыве к молитве святой.
С этой молитвой всей русской землей,
Всеми сердцами Ты глубже усвоен,
Чист перед Богом и светел душой.

4 августа 1991 года, совершив путь через Сибирь на лошадях, наследник возвратился в столицу. Для пресечения нежелательных слухов он был продемонстрирован тем же вечером публике на спектакле в царской ложе Мариинки рядом с государем, императрицей и кузеном-спасителем, удостоенным медали «За спасение погибающих», – тогда она и увидела его впервые после девятимесячной разлуки.

Все пошло по-прежнему: мимолетные встречи на людях, разговоры на ходу. Столкнулись неожиданно во время антракта в театре, на представлении оперы «Эсклармонда», поздоровались и разошлись: задержаться было невозможно, кругом толпилась публика. В послеобеденные часы она любила кататься в одноколке по набережной – стал появляться периодически тут же и он. Промчится мимо на тройке с бешеными рысаками, привстанет, сделает под козырек. Был и – нету…

Прогулки на сыром ветру не прошли бесследно: на глазу и ноге вскочило по фурункулу. Она упрямо продолжала выезжать – с нацепленной повязкой, до тех пор пока глаз окончательно не разнесло. Вызывали доктора, несколько дней она провела дома. В один из вечеров сидела, скучая, на общей с сестрой половине, раскладывала за столиком простенький пасьянс. Родители были в гостях, Юля, пользуясь моментом, унеслась на свиданье с

бароном. Настроение было – хуже некуда.

В передней прозвенел звонок, донесся стук отворяемой двери.

– Военный какой-то, барышня, – доложила с порога горничная. – Назвались гусаром Волковым… Прикажете принять?

– Да, зови… – поправляя на ходу сползавшую повязку, она кинулась к трюмо. Мысли в голову лезли самые невероятные… В ту же минуту в комнату вошел наследник…

«Я не верила своим глазам, – вспоминает она, – вернее, одному своему глазу… Эта нежданная встреча была такая чудесная, такая счастливая. Оставался он в тот первый раз недолго, но мы были одни и могли свободно поговорить. Я так мечтала с ним встретиться, и это случилось так внезапно…»

Наутро от него принесли записку: «Надеюсь, что глазок и ножка поправляются… до сих пор хожу как в чаду. Постараюсь возможно скорее приехать. Ники». Менее чем через час – новое послание, почти дословно повторяющее первое: «С тех пор как я вас встретил, я прямо как в тумане. Я надеюсь, скоро смогу прийти еще. Ники»…

Он стал писать ей чуть не ежедневно. В одном письме была фраза Германа из «Пиковой дамы»: «Прости, небесное созданье, что я нарушил твой покой». (Он очень любил балетный ее номер ожившей фарфоровой статуэтки-пастушки в этой опере, в сцене бала первого акта.) В другом послании прибег к помощи Гоголя: «Думай о том, что сделал Андрий, обожая молодую панночку».

Визиты его участились. Приезжал он, как правило, в обществе молодых двоюродных дядей, великих князей Георгия, Александра и Сергея, с которыми дружил с детства. Привозил нередко приятелей-однополчан – «Пику» и «Пепу», как их в шутку звали: князя Петра Павловича Голицына и гусарского офицера Котляревского. К компании присоединялась сестра Юлия. Рассаживались где попало, шутили, дурачились, играли на фортепиано в четыре руки. Братья прекрасно пели грузинские песни, которым выучились, живя на Кавказе, где отец их великий князь Михаил Николаевич два почти десятка лет прослужил наместником. Николай не отставал от остальных: веселился от души, принимал участие в розыгрышах, мило ухаживал за дамами. Нацепил как-то на голову косынку и принялся подражать танцу Красной Шапочки из «Спящей красавицы», изображая одновременно и прыгающего вокруг нее Волка. Смеху было до упаду.

Дома, перед сном он записывал в дневнике: «Вернулся в Аничков при снеге, валившемся хлопьями. И это называется весна? Обедал с Сергеем у себя, а потом поехал навестить Кшесинских, где провел полтора приятных часа».

Они пока таятся открыто выражать свои чувства. Статус ее романтической пассии цесаревича все еще под вопросом, утверждать его сверху не торопятся. Запротестовал неожиданно против публичной связи сына с танцоркой заваривший кашу державный батюшка. Делишки подобного рода, считал он, следует обделывать без лишнего афиширования, за ширмой. Снял напряжение, и – ладно. Решительной противницей увлечения Николая с самого начала была императрица Мария Федоровна. По свидетельству сводного брата Кшесинской Филиппа Леде, она направила даже через флигель-адъютанта конфиденциальное письмо их отцу с просьбой – под любым благовидным предлогом отказать Николаю от дома. Позже, правда, уступила настойчивости сына и, скрепя сердце, запрет сняла. Решению жены нехотя последовал и не любивший перечить ей в житейских делах Александр Третий.

Препоны на путях любви наконец устранены. Они появляются вместе на публике, раскатывают лунными ночами на великолепной его тройке с бубенцами, веселятся компанией в холостяцком бараке барона Зедделера в Преображенском полку. В индивидуальную ее грим-уборную танцовщицы второго разряда в Мариинском театре заглядывают в антрактах вслед за наследником пошутить и посплетничать старшие и молодые великие князья, племянник императрицы, будущий король, а ныне принц – Христиан Датский, герцог Евгений Лейхтенбергский, великосветские балетоманы из персональных лож. Шум, разговоры, шампанское, смех. Публика к ней неравнодушна, критика благосклонна, Николай осыпает ее подарками. («Презенты были хорошие, но не крупные», – отмечает она.) Их роман – главная тема дня, на все лады обсуждаемая в обществе, у подруг – большие глаза, ей тайно завидуют. Никому и в голову не придет усомниться в характере их отношений. А между тем они до сих пор не любовники в прямом смысле этого слова. Именно так: два почти года спустя после знакомства на выпускном вечере физической близости между ними нет. Руками развести! Что-то не поддающееся осмыслению. В чем дело? Почему?

Попробуем разобраться. Полистаем снова его дневник.

Запись, относящаяся к 1892 году:

«1 апреля… Весьма странное явление, которое я в себе замечаю: я никогда не думал, что два одинаковых чувства, две любви одновременно совместились в душе. Теперь уже пошел четвертый год, что я люблю Аликс Г. и постоянно лелею мысль, если Бог даст на ней когда-нибудь жениться… А с лагеря 1890

года по сие время я страстно полюбил (платонически) Маленькую К. Удивительная вещь наше сердце. Вместе с тем, я не перестаю думать об Аликс, право, можно было заключить после этого, что я очень влюбчив. До известной степени да! Но я должен прибавить, что внутри я строгий судья и до крайности разборчив…»

Вот и ответ. У «Маленькой К.» есть, оказывается, соперница, завладевшая чувствами наследника задолго до нее. Кто она, вставшая на ее пути незнакомка, скрываемая под именем «Аликс Г.», в которой он видит будущую супругу? Ясно, что не шляпная модистка – на ком женятся члены царской фамилии, известно достаточно хорошо.

Вернемся на несколько лет назад в вечерний Петербург, вообразим ярко иллюминированный Зимний Дворец с подъезжающими один за другим богатыми экипажами, почетным караулом у главного входа, толпами народа на Дворцовой площади и набережной Невы, разрывами фейерверка в небе. Столица празднует свадьбу брата царя великого князя Сергея Александровича и принцессы Элеоноры, дочери великого герцога Гессен-Дармштадтского Людвига Четвертого. Гостей высшего ранга – великое множество, и среди них двенадцатилетняя сестра невесты Алиса, приходящаяся Николаю троюродной сестрой по общей бабушке, английской королеве Виктории (в генеалогии Романовых той поры сам черт ногу сломит – бесконечные смешанные браки с представителями монархических дворов Европы всех в результате сделали родственниками; русских по крови царей в России давно уже не было). Знакомство рослой не по летам белокурой девочки с шестнадцатилетним юношей было непродолжительным, единственное, что запомнилось тогда Николаю, – безупречный английский, на котором она изъяснялась: детство Алиса провела в Англии, у бабушки, и язык туманного Альбиона предпочитала родному, немецкому.

Вторично она приехала в Петербург пять лет спустя вполне расцветшей барышней, в меру меланхоличной, с грустинкой в красивых, с легким прищуром голубых глазах. Николай, гусарский к тому времени офицер, отпустивший бородку, вызвался быть ее кавалером по части развлечений: сопровождал на пикниках и прогулках, учил стрелять тетеревов из «монтекристо, катал на яхте по заливу, опекал по-братски на эрмитажных костюмированных балах. Как можно было в подобной обстановке не влюбиться?

Накануне разлуки они вырезали свои имена на подоконнике петергофской дачи «Александрия» (вернувшись к себе, он написал в дневнике: «Мы друг друга любим»). Она обещала не забывать

его, они тайно переписывались; переписка попадала, куда надо, тщательно анализировалась, – в Гатчине без особой радости принимали новое увлечение Ники: в жены наследнику престола намечалась по соображениям большой политики представительница французской династии – принцесса Орлеанского дома Елена. С решением вопроса, однако, не торопились: время терпело, тем более что в Дармштадте и Париже не было пока на сей счет определенности.

Такова на текущий момент обстановка: наследник мечется между двух огней. Не выдерживает однажды, признается ей во всем. Мало того, приносит на свидания злополучный дневник, читает сидящей напротив «Маленькой К.» написанные накануне строки, повествующие о его чувствах к «Аликс Г.», просит совета, ждет понимания и участия. Оригинально, не правда ли! Уезжая в очередной раз в Дармштадт с целью вырвать согласие на брак с колеблющейся принцессой, ставит ее в известность: доверие прежде всего!

«Известие о его сватовстве, – пишет она, – было для меня первым настоящим горем. После его ухода я долго сидела убитая и не могла потом сомкнуть глаз до утра. Следующие дни были ужасны. Я не знала, что дальше будет, а неведение ужасно. Я мучилась безумно».

Она шлет ему письмо с роковыми словами: «Быть может, Ники, когда ты вернешься сюда, меня уже не будет… Не раз вспомнишь ты тогда свою пани, но будет поздно».

Слава богу, возвратился он ни с чем, помолвка с гессен-дармштадтской принцессой сорвалась: Алиса отказалась переменить католическую веру на православную, что являлось основным условием согласия на брак с русской стороны.

Посещения квартиры на Офицерской возобновились.

Записи в дневнике наследника:

«В 12 час. отправился к М.К., у которой оставался до 4 час. Хорошо поболтали, посмеялись и повозились»… «Отправился к М.К., где ужинал по обыкновению и провел прекрасно время»… «Отправился к М.К., провел чудесных три часа с ней»… «Посетил мою М.К., где оставался до 6 часов»… «Вечером полетел к моей М.К. и провел самый лучший с ней вечер до сих пор. Нахожусь под впечатлением ее – перо трясется в руке».

Общество, высший свет с живым интересом следят за развитием их романа. Содержательница модного петербургского салона генеральша Александра Богданович записывает в дневнике:

«Она не красивая, не грациозная, но миловидная, очень живая, вертлявая… Цесаревич говорил этой «Мале», что упросил царя два года не жениться. Она всем и каждому хвалится своими отношениями с ним».

Более откровенно выражается на сей счет театральный критик и издатель «Нового времени» А. Суворин: «Наследник посещает Кшесинскую и е*** ее. Она живет у родителей, которые устраняются и притворяются, что ничего не видят».

Она действительно все еще остается в родительском доме, делит с сестрой спальню рядом с кабинетом отца. Мучимая желаниями, потеряв остатки терпения, решается однажды на рискованный шаг.

5

– Отдаешь ли ты, по крайней мере, отчет в том, что никогда не выйдешь за него замуж? Что неизбежно в скором времени вынуждена будешь с ним расстаться? Понимаешь, на что идешь? Что ожидает тебя в будущем?

Стоявший за креслом отец прошелся в волнении по кабинету, вернулся к столу – осунувшийся, постаревший: седые космы на затылке, страдальческие глаза. Жаль было его отчаянно.

– Я все обдумала, папенька…

Шагнув, она опустилась перед ним на колени.

– Что ты?.. встань! – схватил он ее за плечи, поднял легко.

– Папуля, милый… – ей мешали спазмы в горле. – Пожалуйста… пойми!.. Я люблю его всем сердцем! Мне выпало счастье… пусть кратковременное… Я не хочу его упустить. Не хочу!

– Успокойся… я не враг тебе, Малюша… – Он гладил ее как маленькую по волосам, голос его дрожал. – В мечтах всегда видел тебя в замужестве. За достойным человеком… Не судьба, видно…

– Судьба моя – Ники, батюшка… Так угодно Господу Богу. Будущее меня не страшит.

Он молчал какое-то время, глядя в пространство.

– Что – мать? – спросил глухо. – Говорила ты с ней?

– Говорила намедни. Мамочка мне не препятствует.

– Что ж… – Он мягко отстранил ее от себя. – Будь по-твоему, ты взрослый уже человек. Деньги на обустройство я тебе дам… приданое твое останется в неприкосновенности. Получишь, когда пожелаешь. Единственное мое условие – жить вы будете с Юлией… на первых хотя бы порах. Дальше решай сама…

– Хорошо, батюшка…

– Вот так… – Он собирался, по-видимому, еще что-то

добавить, не нашелся – кивнул коротко головой: иди.

Она осторожно притворила за собой дверь.

В обществе тем временем не затихали пересуды, будто семья способствовала ее связи с Николаем, что отец вел тайные переговоры с Двором, выторговывал отступное, а добившись, чего хотел, разом угомонился и тихо себе помалкивал в тряпочку. Опровергает подобную трактовку событий сама Кшесинская, взволнованно повествующая о драматической обстановке объяснений с родителями, противившимися всеми способами ее решению уйти из дома. Не вяжется, главное, с сомнительной сделкой и личность Феликса Ивановича – не такой это был человек, не той закваски: голову бы скорее на плаху положил гордый поляк, чем согласился торговать – вообразить невозможно! – честью дочери! Хоть с Богом, хоть с дьяволом…

Принятое решение – жить с любовником открыто, тяжесть ухода из родительского гнезда, все, что этому сопутствовало, легло целиком на ее плечи, возлюбленному заниматься подобными вещами было недосуг, вращался он в иных сферах: участвовал в бесчисленных церемониях, парадах, смотрах, командовал полуротой сводного гвардейского батальона, ездил с государственными визитами за рубеж.

Отношения их по-прежнему оставались платоническими: любящие брат и сестра – ну, не абсурд разве? После двухлетней привязанности: писем, встреч, абсолютного друг к другу доверия. Осторожность его в интиме переходила всякие границы, разобраться в мотивах столь странного поведения было невозможно – лепет какой-то ребяческий из уст гусара.

«Ники меня поразил, – вспоминает она об одном из свиданий, когда чаша ее терпения (точнее – нетерпения) наполнилась до краев. – Передо мной сидел не влюбленный в меня, а какой-то нерешительный, не понимающий блаженства любви. Летом он сам неоднократно в письмах и разговоре напоминал насчет более близкого знакомства, а теперь вдруг заговорил совершенно обратное, что не может быть у меня первым, что это будет мучить его всю жизнь… Он не может быть первым! Смешно! Разве человек, который действительно любит страстно, станет так говорить? Конечно нет, он боится просто быть тогда связанным со мной на всю жизнь, раз он будет у меня… В конце концов мне удалось почти убедить Ники. Он обещал, что это совершится… как только он вернется из Берлина…»

Обстановка побуждала к безотлагательным действиям – счастье приходилось ковать собственными руками. Пока нерешительный дружок охотился на оленей в обществе германского кайзера Вильгельма в заповедных лесах под

Эберсвельде, она, лежа на кушетке обложенная газетами, прочитывала объявления о сдаче жилья внаем, звонила, ездила смотреть: все было не то. И вот, увидела в «Петербургской газете»: сдается «при наличии необходимых гарантий» особняк на Английском проспекте, связаться в дневные часы по такому-то адресу, кроме воскресенья. Загорелась разом: чувство подсказывало, что на этот раз повезет…

Двухэтажный дом современной архитектуры на Петроградской стороне ее очаровал: маленький дворец! Прелестные помещения со стильной дорогой мебелью, небольшой сад, обнесенный высоким забором, хозяйственные постройки, конюшня, сарай; за постройками – еще сад. Рассеянно, переходя от окна к окну, слушала она пояснения сопровождавшего ее словоохотливого маклера в клетчатой паре, с цепочкой на животе, представлявшего интересы домовладельца.

– Пикантная подробность, мадмуазель, обратите внимание, – увлеченно разглагольствовал тот. – Особняк построен их высочеством великим князем Константином Николаевичем для возлюбленной, балерины Кузнецовой…

Оставив разглядывание изразцов на голландской печи, она вопросительно на него посмотрела…

«…к коей чрезвычайно был расположен, – продолжал маклер, – а впоследствии перекуплен у князя господином Римским-Корсаковым после того, как балерина от их высочества сбежала, сойдясь…»

– …Хорошо, хорошо! – перебила она его. – Подробности эти меня не интересуют… Дом снять я согласна. С будущей недели. Приготовьте, пожалуйста, необходимые бумаги!

– На чье имя прикажете?

Услышав с вызовом произнесенное «Кшесинская», он изумленно выкатил на нее глаза: решил, вероятно, что ослышался. Лепетал что-то невпопад, провожая к выходу, кланялся неловко.

Она отнеслась к случившемуся с достаточной долей иронии. Усмехалась по дороге домой: нашла, называется, местечко. Пристанище возлюбленных-балерин. Вот Ники посмеется, когда узнает…

Въехав в особняк, она переделала только спальню на первом этаже, при которой была прелестная уборная, все остальное оставила без изменений.

Когда Николай, завершив государственный визит, приплыл на яхте «Полярная Звезда» из Германии домой, любовная гавань на Английском проспекте была полностью подготовлена – фарватер для прохода очищен, газовые фонари на причале

зажжены, пушки береговых батарей оглушительно палили во славу любви.

Что оставалось делать гусару? Честь мужская повелевала: сдержать наконец данное слово.

6

Случалось не раз: среди ночи, в разгар любовных ласк, раздавался снаружи стук в парадную дверь, сонная горничная сообщала о прибытии дежурного адъютанта с пакетом. Ники в накинутом на плечи бухарском халате прочитывал торопясь послание на гербовом листе, поднимал с удрученным видом глаза: его спешно опять вызывали во дворец. Она старалась проявлять терпение, не устраивала сцен. Что делать: любимый – не мастеровой Путиловского завода, у него столько важных дел! Повисала на шее, вдыхая запах его мундира, целовала жарко, крестила вслед, стоя полураздетая на пороге спальни.

Окружающие диву давались: с каким самообладанием играет она новую свою роль фаворитки. Ни тени сомнения или неловкости, напротив – ведет себя так, словно всю жизнь только и делала, что приятельствовала с членами царствующего дома, содержала изысканный салон, купалась в роскоши. Петербург живо обсуждает ее наряды, покупки, выезды в лакированной коляске с мальчиком-пажом на запятках, праздничное новоселье, устроенное ею в особняке на Английском: шесть великих князей за столом, умопомрачительные подарки, гостей услаждает пением, дирижируя себе бокалом с шампанским, прославленный тенор Мариинской оперы Николай Николаевич Фигнер. Страницы ее дневника той поры изобилуют описаниями приемов, обедов, вечеринок, выездов на природу, перечислением отведанных за столом яств и вин. Ей двадцать лет, и она, как писали в старинных романах, не то чтобы красива, но прелесть до чего мила: покатые плечи, дивные ножки (чуть полноватые для балета), нежный, словно бы в пуху, румянец на щеках. И эти ее дерзкие, многократно описанные глаза-маслины, сверкающие огнем. Она до краев наполнена любовью – свиданиями, расставаниями, размолвками по пустякам, оканчивающимися по обыкновению пылкими поцелуями на софе. Жизнь ее со стороны выглядит нескончаемым празднеством. Нет, кажется, в этом состоянии эйфории места для труда: ежедневных многочасовых упражнений у балетной стойки, репетиций, приватных уроков по технике танца, занятий множеством других неотложных рутинных дел, составляющих профессию артистки балета. А между тем именно теперь совершает она головокружительный

рывок в карьере: танцует впервые в роли главной героини целый балет, будучи только первой танцовщицей. И при каких обстоятельствах! Ее вводят неожиданно в трехактный балет «Калькабрино» вместо занемогшей – страшно произнесть! – бесподобной, неподражаемой Карлотты Брианца! Балерины, имевшей в техническом арсенале двойные и тройные пируэты и даже туры в воздухе, доступные до нее только нескольким виртуозам-мужчинам.

Недоброжелатели и завистники потирали руки: как пить дать – провалится! С Брианца тягаться! Кишка тонка! Завистливая толпа жаждала скандала. До колик хотелось узреть высокомерную выскочку, растянувшуюся на помосте, демонстрирующую залу грязные подошвы. То-то смеху будет…

Она и сама понимала: оконфузиться – раз плюнуть. Ведь как бы ты ни танцевала, непременно будут сравнивать с ведущей исполнительницей. Что можно ей противопоставить? Голова шла кругом…

Результатом напряженных обсуждений с постановщиком балета Мариусом Ивановичем Петипа было решение танцевать именно в манере итальянки с ее динамичными чеканно-резкими движениями – пусть сравнивают! Недаром ведь отдала она десятки часов работы над техникой в мастерской самого виртуозного на тот период исполнителя и педагога Энрико Чекетти, представлявшего итальянскую школу хореографии. Учитывая сложность ситуации, маэстро дал согласие быть ее партнером по танцу.

– Все бьен, – напутствовал их накануне спектакля Петипа. – Главное – не пригайт в оркестр… Ви понял?

Риск обернулся шумным успехом: представление прошло на «ура».

«Давно ожидавшийся всеми лицами, заинтересованными в судьбах русской хореографии, дебют госпожи Кшесинской 2-й, – писала наутро после спектакля «Театральная газета», – состоялся в воскресенье в балете «Калькабрино» и был полным триумфом нашей молодой и талантливой танцовщицы. Несмотря на то, что танцы, поставленные в этом балете для Карлотты Брианца, изобилуют такими трудностями, которые следует признать последним словом современной техники, юная исполнительница справилась блестящим образом со своей задачей и произвела на зрителей самое лучшее впечатление. Многочисленная публика, совершенно наполнившая залу Мариинского театра, горячо приветствовала госпожу Кшесинскую 2-ю, которая завоевала всеобщие симпатии с момента своего первого выхода. Большая сцена первого акта, трудное адажио во втором акте, наконец, все

многочисленные танцы, которыми наполнен этот балет, были исполнены ею с редким апломбом, настоящим артистическим брио и тою законченностью, которой трудно было даже ожидать от артистки, так недавно покинувшей театральную школу. Этими блестящими результатами госпожа Кшесинская обязана как пройденной ею у нас образцовой школе, так и своему теперешнему учителю Чекетти. Повторим еще раз, что дебют ее можно рассматривать как событие в истории нашего балета».

Хвалебный отзыв о ее выступлении появился и за границей, в парижском журнале «Le Monde Artiste»:

«Новая звезда мадемуазель Кшесинская, дебютировавшая в качестве прима-балерины, выступила блистательно. Этот успех чрезвычайно обрадовал русских, поскольку он был одержан воспитанницей русской национальной школы, взявшей от итальянской лишь необходимые элементы для модернизации классического танца. Молодая прима-балерина имеет все: физическое обаяние, безупречную технику, законченность исполнения и идеальную легкость. Если к этому ей удастся прибавить усовершенствованную мимику, это будет готовая актриса».

Гора свалилась с плеч. После лестных откликов прессы, похвал специалистов, энтузиазма публики, устроившей им с Чекетти шумную овацию (по примеру Цукки она публично расцеловала партнера), можно было пренебречь мнением горстки злопыхателей, утверждавших, будто стремительный ее ввод в балет вместо Брианца – результат протежирования сверху, и что зрители в памятный вечер бисировали вовсе не Кшесинской-исполнительнице, а пассии наследника престола. Ах, пусть говорят, что хотят! На каждый роток не накинешь платок…

Успех в «Калькабрино» приблизил ее вплотную к недосягаемой для большинства танцовщиц и солисток, не говоря уже об артистках кордебалета, касте балерин. (Последних, по словам авторитетнейшего историка балета Арнольда Хаскелла, в России не было никогда одновременно более пяти, тогда как генералов – сколько угодно.) Впору было замахнуться на что-то более значительное, чем подмена заболевшей итальянки.

В конце осени по случаю пятидесятого представления балета «Спящая красавица» в театре должно было состояться чествование Чайковского и поднесение ему венка. Ей поручили сопровождать композитора на сцену. Встретив юбиляра у входа в костюме феи Кандид, в роли которой ей предстояло танцевать, и проводив его до места, она тотчас же упорхнула за кулисы и всю торжественную церемонию проболтала с явившимися в театр наследником и великими князьями. Чайковский для нее в ту пору

был не больше, чем популярный сочинитель балетных партитур. Такой же, как Дриго. Музыка его: симфонии, оперы, концерты – оставляла ее (как многих тогда в России) равнодушной. Известно было, что он любимец государя, установившего ему пожизненную пенсию, что продолжительное время его содержала материально некая графиня-почитательница, с которой он никогда не виделся, а лишь состоял в переписке; не затихали сплетни о его нездоровых пристрастиях, связи с неким молодым человеком, сыном видного сановника, странной женитьбе на консерваторской ученице, с которой он не жил как с женщиной и через год расстался. То, что ей довелось общаться с гением, подобным Шопену или Бетховену, она поняла, увы, много позже, когда Петра Ильича уже не было в живых – осенью 1893 года композитор скончался, заразившись свирепствовавшей в России холерой. За полгода до смерти он пришел в ее артистическую уборную, чтобы поздравить с успешно исполненной ролью Авроры в той же «Спящей красавице», одной из лучших в ее карьере, и после лестных слов выразил желание написать для нее балет. (В эмиграции, в Париже, накануне войны, она присутствовала на юбилейном вечере в зале Гаво, посвященном столетию со дня его рождения. Ее попросили выступить, поделиться воспоминаниями – она отказалась: о чем, собственно, было рассказывать? О двух этих коротких встречах?)

«Куй железо, пока горячо». После «Калькабрино» она словно бы почувствовала второе дыхание: выступала при малейшей возможности, с удовольствием репетировала, поедая в перерывах любимый свой шоколад «Версаль» с орешками (умудряясь при этом ни на грамм не полнеть). Честолюбивое ее упорство приносит плоды. В сезон 1893 года у нее уже три балета, где она исполняет заглавные роли, в начале следующего года к ним добавляется «Пахита» Минкуса и Дельдевеза. Она заметно продвинулась в технике. Исчезла присущая ей недавно скованность движений; она уже не прилежная дебютантка, тщательно, с высунутым языком, выполняющая на помосте сложные па; немалое число театральных сластолюбцев ловит в бинокли длящиеся словно бы специально для них пикантные мгновения ее арабесков; балетоманы отмечают ее пируэты и заноски, покоренный ею каскад из 32-х фуэте, доступный до этого только Леньяни, дерзкую манеру победоносных стремительных вылетов на сцену, пульсирующую энергию ее молодого тела. До собственного сценического почерка ей пока далеко, она откровенно подражает итальянкам, но проницательное око профессионалов прозревает в ней качества подлинной «этуали», способной посягнуть в ближайшее время на лидерство в

отечественном балете.

Все, казалось бы, прекрасно: живи и радуйся. А на душе – тревога, дурные предчувствия. Тикают невидимые часы, отсчитывающие время зыбкого ее счастья; невыносима мысль, что она только временно исполняющая обязанности возлюбленная. Что случится завтра? Послезавтра? Она не знает. Ники переменился за последнее время: странно озабочен, избегает откровенности. На субботней вечеринке в кругу друзей, когда откупорили уже не одну бутылку шампанского, предложил неожиданно игру: гусар умыкает из родительского дома невесту (как в пушкинской «Метели»). Настоял, чтобы роль невесты исполняла она, а в роли похитителя непременно выступил Сергей. Все почувствовали неловкость. Ни для кого не было секретом, и, прежде всего, для него самого, что старший из «Михайловичей», как звали в компании неразлучную тройку великих князей-братьев, страстно в нее влюблен. Смеясь она предложила взамен себя сестру Юлию, но он заупрямился: только она и «любезный дядюшка». Игра вышла натянутой, веселье вскоре завяло, гости один за другим потянулись в гардеробную. В тот вечер он не остался у нее ночевать. Холодно поцеловал в губы и уехал.

Ее, похоже, сбывали с рук – как дорогую вещь, новому хозяину. Сергей чуть не ежедневно являлся с визитами, всякий раз в отсутствии Ники, чего до этого никогда не делал. Присылал охапками цветы, дожидался после спектаклей, отвозил домой в собственной карете с гербами. У него была репутация удачливого волокиты, император, говорят, делал ему не раз на сей счет строгие внушенья, но образа жизни гвардейский полковник (бывший одновременно президентом Русского театрального общества) не менял: устремлялся к новым соблазнам, одерживал победы.

– Мужчина, что и говорить! – восторгалась сестра.

Она не переставала нахваливать Сергея: и богат и умен, а уж как ухаживает бесподобно. Убеждала ни в коем случае поклонника не отвергать. Держать на поводке, про запас.

– Великие князья, миленькая, на улице не валяются. Мало ли чего? Николаша твой, пиши, отрезанный ломоть. А тут счастливый выход из положения. Не будь дурочкой…

Она не хуже сестры все понимала. Но зачем-то продолжала штопать, не считаясь с логикой, расползавшийся на глазах тришкин кафтан. В преддверии нового красносельского сезона присмотрела на берегу Дудергофского озера премиленькую дачку, чтобы Ники было удобно приезжать к ней из лагеря, но ей дали понять, что подобный шаг может вызвать нежелательные

толки, и дачу пришлось снять намного дальше, в безлюдном Каерове, посреди глухого леса, где они с сестрой дрожали по ночам от каждого шороха за окном. Летом 1893-го он уехал в Англию на свадьбу двоюродного брата, будущего короля Георга Пятого. Именно в это время, было ей известно, в Лондоне гостила у венценосной бабушки Алиса Гессенская. Думай, что хочешь. Она не наивная девочка, шаткий фундамент ее отношений с любовником ясен ей как божий день: разлука рано или поздно неизбежна. И все-таки… Может ведь произойти что-то, о чем и не предполагаешь, – она не знает, что именно, но вдруг? – бывали же, допустим, случаи, когда члены царской фамилии отрекались во имя любви от права на престол, женились на девушках из простых сословий. Господи, да вот же пример вовсе разительный! – дед Ники император Александр Второй после смерти жены заключил морганатический союз с возлюбленной, княжной Екатериной Долгорукой, которую собирался короновать, и осуществил бы задуманное, не погибни вскоре от бомбы заговорщика-террориста. Конечно, она не фрейлина и не княгиня, как Долгорукая, но, кто знает, завершись благополучно многолетние батюшкины розыски исчезнувших бумаг рода Красинских, и все чудесным образом переменится: будут и у нее титул и земли, богатство и дворцы. И тогда, быть может…

Ах, какая все это чепуха – ее мечтания! Как разъедают они душу! Надо жить реальными вещами, а не в облаках витать, если не хочешь остаться у разбитого корыта. Лето в разгаре, Ники вернулся из Лондона ласковым и влюбленным, о женитьбе молчит, бриллиантовое колье подарил; через неделю – начало сезона в Красном: спектакли, шумные вечеринки в офицерских палатках, ночные коллективные поездки к цыганам, шампанское рекой. Жить, жить!

За целое лето он лишь дважды заехал в Каерово; один раз появился без предупреждения и не застал ее дома (она была в это время в городе, на репетиции). В августе прислал коротенькую записку: уезжает вместе с отцом в Либаву, потом в Данию, целует дорогую панночку с головы до чудных ножек. Разлука затянулась, осенью она вернулась одна в особняк на Английском, порога которого он более никогда не переступал: в начале апреля 1894 года было объявлено о его помолвке с гессен-дармштадтской принцессой.

Доведенная до отчаяния, она написала сгоряча несколько анонимных писем Алисе в Кобург, в которых чернила как могла неверного любовника. Письма попали в руки адресата. Вскрыв наугад одно из них, едва прочитав первые строки, принцесса передала всю пачку сидевшему рядом жениху, прибывшему на

церемонию помолвки. Последовало тяжелое объяснение – с обвинениями, упреками, бурными слезами. Николаю стоило немалых усилий успокоить нареченную, заставить поверить, что мимолетное его увлечение Кшесинской – раз и навсегда закрытая страница, о которой следует как можно быстрее забыть.

По возвращению из Кобурга он попросил бывшую возлюбленную о свидании – вне дома, подальше от посторонних глаз. Встреча состоялась на пустынном Волконском шоссе, возле какого-то сарая. Дул ледяной ветер, летели по небу брюхатые сизые тучи; вот-вот опять должен был начаться дождь. Она приехала в карете, он верхом из лагеря. Стояли под навесом, держась за руки, по щиколотку в грязи. Говорили не о том, не так, как хотелось – невпопад. Он сказал, что приобрел и записал на ее имя особняк на Английском («Мой прощальный подарок… прости!»)… Просил в случае необходимости обращаться к нему лично. Добавил поспешно: «Помни, мы по-прежнему с тобой на «ты». Что бы со мною в жизни ни случилось, встреча с тобой останется навсегда самым светлым воспоминанием моей молодости»… «Да, да, да», – повторяла она монотонно. У нее закоченели ноги в высоких ботиках, хлюпало в носу. Смысл того, что он говорил, доходил до нее с трудом.

– Мне пора, Маля… – он сжал ей до боли ладонь. – Не плачь, не плачь, прошу!

Повел за плечи к карете, помог взобраться.

Выглянув напоследок из тронувшегося экипажа, она быстро-быстро его перекрестила…

Глава третья

1

Осталось в памяти с детских лет: за стеклянными резными дверцами серванта в гостиной родительского дома, среди фарфоровых статуэток и хрусталя – хранимый с незапамятных времен золотой портсигар с искусно выложенной бриллиантовыми камешками монограммой: «Николай Первый». Царский подарок папеньке после памятного бала в Зимнем, когда конфиденциально обучавшийся у Кшесинского государь лихо исполнил на глазах у присутствовавших зажигательную мазурку.

Причуды властителей не обязательно суетны и бесплодны. В ряде случаев они приносят пользу обществу. Любовь Николая Первого к бальным танцам и балету – тому пример.

По возвращении домой после поездки в 1836 году в Россию легендарная Мария Тальони рассказывала со смесью восхищения и ужаса об эпизоде в стенах петербургского Большого театра, свидетельницей которого случайно стала. В гастрольном балете «Восстание в серале» ей предстояло танцевать партию предводительницы восставших против султана наложниц. Появившись за несколько дней до премьеры в театре, чтобы провести репетицию с кордебалетом, она к немалому своему изумлению обнаружила на сцене рядом с постановщиком и дирижером нескольких гвардейских унтер-офицеров в парадной форме и с ружьями на плечах. На недоуменный ее вопрос о причине нахождения бравых вояк на репетиции ей объяснили, что гвардейцы присланы по личному указанию императора Николая Первого – обучить «армию» восставших прелестниц уставным военным приемам.

Офицеры, по словам Тальони, старались вовсю, кордебалет, перешептываясь и хихикая, старательно копировал их действия. Танцовщицам, однако, затянувшийся процесс обучения артикулам и шагистике скоро надоел, они стали дурачиться, передразнивать за спиной военных, как неожиданно из-за кулис явился сопровождаемый свитой государь. Остановив репетицию и выйдя на середину помоста, Николай Первый объявил полушутя-полусерьезно, что если милые дамы не будут заниматься как следует, он прикажет поставить их на два часа на мороз с ружьями.

«В тюниках и танцевальных башмачках», – добавил без тени улыбки.

Надо было видеть, смеясь вспоминала Тальони, с каким жаром принялся насмерть перепуганный сераль вышагивать строем и вскидывать над головой ружья. На следующей неделе царь присутствовал на премьере, горячо аплодировал вместе с публикой, лично поздравил ее за кулисами с успехом и не пропускал впоследствии ни одного представления «Восстания в серале», ставшего одним из любимых его балетов.

С фактами не поспоришь. Как ни странно это звучит, но заимствованное у итальянцев и французов молодое искусство балета во многом обязано удачной акклиматизацией в России самодержцу, вошедшему в историю под прозвищем «Николай Палкин». С началом его царствования балетная труппа Санкт-Петербурга оказалась под особым попечительством царя-балетомана: взята на содержание казны, получила специальным указом статус императорской, вошла в подчинение министерства Двора. Денег на любимое искусство Николай не жалел: шилось для участников требуемое количество костюмов и обуви, изготовлялись, в отличие от бедных в постановочном плане европейских театров, первоклассные декорации и реквизит, использовались дорогостоящие эффекты – пожары, землетрясения, грозы, закаты, восходы.

В балетных постановках с их стройной симметрией и незыблемыми канонами движений и поз император видел сходство со столь милыми его сердцу военными парадами. Побывавшего в Петербурге в те же годы, что и Тальони, французского литератора маркиза де Кюстина Николай пригласил однажды на вечер танцевальных миниатюр. Едва только опустился под гром оваций занавес, он с сияющим от восторга лицом обернулся к сидевшему рядом гостю:

– Вы заметили, маркиз? Кордебалет ни разу не сбился с шагу! Ей-ей, хоть сейчас всех поголовно в гвардию!

Сцена с гвардейскими унтер-офицерами в роли хореографов, поразившая когда-то Тальони, была по сути развернутой метафорой: шагающих не в ногу в Империи, считал Николай, быть не должно. Ни на плацу, ни в чиновной конторе, ни на театральных подмостках. Нигде!

Впрочем, чем бы ни питалась на самом деле неукротимая монаршья балетомания, результат ее был плодотворен. В царствование Николая Первого совершилась балетная революция – балерина встала на пуанты, научилась на них стоять, прыгать, бегать, вертеться. Через полтора столетия после первого хореографического спектакля на Руси (показанный 13 февраля 1675 года в «комедийной хоромине» царя Алексея Михайловича в подмосковном селе Преображенском «Балет об Орфее») в России

твердо встал на ноги балетный театр. По-современному оснащенный, с неплохим для своего времени репертуаром. Востребованный, любимый обществом.

Русский балет как зрелище обязан своим рождением императрице Елизавете Петровне, подписавшей в 1756 году Указ об учреждении первого публичного театра в столице. Располагался он на территории дворца, предназначен был для ограниченного круга лиц, путь сюда для широкой публики на протяжении многих лет был закрыт.

Подлинный переворот в искусстве сценического танца в России совершил приглашенный в 1801 году руководить труппой французский хореограф Шарль Луи Дидло, поставивший за тридцать лет службы четыре десятка постановок. Журналист Фаддей Булгарин, не пропускавший на протяжении полувека ни одного балетного спектакля, писал о нем в одной из статей: «Дидло – первый хореограф, не имевший в своем ремесле ни предшественников, ни последователей. Никто, кроме него, не умел так искусно пользоваться кордебалетом. Из этой толпы милых и воздушных девиц он составлял гирлянды, букеты, венки. Он впервые ввел в балеты так называемые полеты. И петербургскому балету стала подражать вся Европа».

Смелый новатор, задумавший придать балетному театру недостающие ему увлекательность и блеск, Дидло отменил на сцене парики, тяжеловесные кафтаны, башмаки с пряжками, фижмы, шиньоны, «мушки», ввел для танцоров и балерин телесного цвета трико. В работе своей он неуклонно следовал правилу: техника танца тогда хороша, когда ее не замечает зритель. Нужных результатов добивался суровыми мерами: колотил, по свидетельству современников, на уроках русских артистов кулаками и тяжелой тростью.

Время Дидло, выпавшее на царствование Александра Первого – период повального увлечения балетом в русском обществе. «Балет и опера, – отмечает в статье «Петербургская сцена в 1835–36 гг.» Николай Васильевич Гоголь, – совершенно завладели нашей сценой. Публика слушает только оперы, смотрит только балеты. Говорят только об опере и балете. Билетов чрезвычайно трудно достать на оперу и балет».

Имена балетных звезд у всех на устах, молодежь неистово рукоплещет кумирам, люди побогаче бросают на сцену набитые кошельки, дорогие подарки, цветы. На балеринах проматываются миллионные состояния. Александр Грибоедов дерется из-за Авдотьи Истоминой на дуэли, Пушкин посвящает ей пламенные строки на страницах «Евгения Онегина», художник Кипренский пишет с танцовщицы Екатерины Телешовой знаменитую картину

«Итальянка у колодца».

Классическая хореография пришлась в России ко двору – во всех смыслах этого понятия. Как никакой другой род театрального искусства она оказалась созвучной имперскому духу государства с его культом Формы. Балет сам по сути стал империей в миниатюре: та же пышность драпировок и фасада, иерархия сверху донизу, солисты и статисты, незатихающая закулисная драчка – за покровительство, роли, звания.

Роль некоронованного императора в бутафорской этой империи суждено было сыграть принятому в 1847 году в Большой театр (Мариинки тогда еще не существовало) на должность танцора и артиста миманса французскому подданному Мариусу Петипа.

Танцевавшему на сцене с семилетнего возраста уроженцу Марселя, исколесившему вместе с родителями до приезда в Россию чуть не полмира, с новой родиной несомненно повезло. Хореографу его таланта и масштаба в тогдашней балетной Европе делать было нечего. Нигде при всем старании не нашел бы он для осуществления грандиозных, полифонических своих замыслов такой богатейший, по выражению Джорджа Баланчина, человеческий материал, каким располагала в ту пору российская сцена: отменной выучки слаженный кордебалет, первоклассных солисток. Никакая другая страна не предоставила бы ему Чайковского и Глазунова в качестве присяжных поставщиков балетных партитур, императоров в роли финансистов. Никакой другой город не смог бы обогатить в такой мере художническую его фантазию, как напоминавший гигантскую театральную декорацию Петербург – с великолепием своей архитектуры, живописной толпой на улицах, парадами, публичными казнями, праздниками, походившими на языческие мистерии: Рождеством, Крещением, Масленицей. Со своими туманами, фосфорическими белыми ночами, невскими наводнениями, – всей мистикой своей вычурно-искусственной, лихорадочной жизни.

Новый кормчий принял бразды правления от маститого А. Сен-Леона, обогатившего в значительной мере лексику классического и характерного танца, подготовившего своими развернутыми танцевальными ансамблями будущие новации Петипа, его эстетику «большого» академического балета. Монументального зрелища, построенного по канонам сценарной и музыкальной драматургии с его раз и навсегда узаконенными формами – танцевальными сюитами, адажио, па-де-де, гран-па, финальной кодой, контрастным сопоставлением массового и сольного танца.

Многим ему обязанная Кшесинская застала Петипа

добравшимся после продолжительного карабкания по служебной лестнице до звания главного балетмейстера Мариинского театра на пике творчества и славы. Вопреки комплиментарному тону страниц ее воспоминаний, посвященных прославленному хореографу, отношения их складывались не просто. Экстравагантный, насмешливый маэстро, так и не научившийся до конца жизни говорить по-русски, объяснявшийся на репетициях выражениями: «Ты на я, я на ты»… «ты на мой, я на твой», обозначавшими схемы переходов танцовщиц с одной стороны помоста на другую, был натурой сложной; никто из близко общавшихся с ним соратников по сцене не рискнул бы назвать его добрым дядюшкой. Случай, имевший место в самом начале театральной карьеры Кшесинской, – красноречивое тому подтверждение.

Она страстно мечтала получить роль Эсмеральды в одноименном балете. Улучила подходящий момент, заговорила об этом с Мариусом Ивановичем. И получила отказ – в изысканно-дипломатичной форме. Внимательно ее выслушав, всевластный балетмейстер осведомился неожиданно, любила ли она. Услышав утвердительный ответ, спросил на ломаном своем русском:

– А ты страдал?

– Нет, разумеется! – вырвалось у нее.

Петипа, поправляя на плечах знаменитый свой клетчатый плед, засвистел по обыкновению, поправил на кончике носа золотое пенсне и пустился (по-французски) в рассуждение о том, что в случае с героиней балета Цезаря Пуни жизненный опыт для исполнительницы не менее, а, быть может, более важен, чем техника, что только испытав по-настоящему страдания любви, можно понять, а следовательно, и убедительно станцевать Эсмеральду.

– Ты еще молод, – заключил он, снова переходя на русский. – Потерпи…

То был чувствительный щелчок по носу. Доводы маэстро показались ей обыкновенной отговоркой. Ну, какое все это имеет значение? Страдала ты в жизни или нет? Кого подобные вещи интересуют в балете? На пуантах надо уверенно стоять, остальное – мелодекламация!.. Она старалась выкинуть неприятный разговор из головы. Ни словом не обмолвилась о случившемся с Ники, зная наверняка, что одного только ее намека на несправедливое к ней отношение было бы достаточно, чтобы Петипа уступил. Нет, нет, у нее есть самолюбие артистки, в подачках она не нуждается. Не хотят, не надо!..

Вкус от проглоченной горькой пилюли еще чувствовался во

рту, когда от того же Петипа последовало уже известное читателю предложение: станцевать в «Калькабрино» вместо заболевшей Брианца. Думай, что хочешь.

Постигнуть логику решений всемогущего хореографа было не просто. «Сочинитель балетов», как называли Петипа, постановочные свои секреты держал при себе. На репетиции приходил с готовыми идеями, скрупулезно продуманной композицией мизансцен – будущий спектакль был полностью выстроен в его голове. Не дай было бог заикнуться в его присутствии о собственном видении рисунка роли – он тут же принимался темпераментно размахивать руками:

«Сильвупле! Делайт, как я!»

«Петипа был молчалив, мало с кем говорил, – вспоминала Любовь Егорова. – Обращался к нам всегда в одних и тех же выражениях: «Ma belle! Ma belle!» Все его очень любили. Тем не менее дисциплина была железная. Когда он входил в репетиционный зал, все вставали, не исключая балерин».

Артисту надлежало быть послушным инструментом его неистощимой фантазии – и только.

Впрочем, проявлял он в ряде случаев и великодушие. Уступал, видя, что у балерины не «вытанцовывается» какой-либо элемент, придумывал на ходу (не в ущерб общей стилистике) более удобный для исполнительницы вариант движения или позы.

– Карашо, ма белле! – говорил, улыбаясь в мушкетерские свои усы. – Не нравис, я переменил.

Переиначить балетную фразу для него не составляло труда. Да что фразу? В дни коронационных торжеств в Москве, когда на престол вступал четвертый за время его театральной службы в России монарх – Николай Второй, он в несколько дней перелицевал вместе с композитором Дриго готовый к постановке, полностью отрепетированный балет.

Событие снова было связано с Кшесинской.

2

В Неве к тому времени немало утекло воды, многое чего случилось в мире.

Умер в ливадийском имении в Крыму от прогрессирующего нефрита император Александр Третий. Через неделю после похорон состоялась свадьба нового государя Николая Второго с принявшей православную веру Алисой Гессенской, называвшейся теперь Александрой Федоровной. Ввиду чрезвычайности обстоятельств полагавшийся в подобных случаях при Дворе

годовой траур был отменен.

«Что я испытывала в день свадьбы Государя, – пишет Кшесинская, – могут понять лишь те, кто способен действительно любить всей душою и всем своим сердцем и кто искренне верит, что настоящая, чистая любовь существует. Я пережила невероятные душевные муки, следя час за часом мысленно, как протекает этот день… Я заперлась дома. Единственным моим развлечением было кататься по городу в моих санях и встречать знакомых, которые катались, как и я».

Привлекательная сторона жизни, однако, не была категорически отменена – об уходе в монастырь речи не заходило. Новый любовник, тридцатипятилетний великий князь Сергей Михайлович, баловал ее как мог, предупреждал малейшие желания. Купил дачу в Стрельне с садом, простирающимся до самого моря; она с удовольствием ее отделывала, обставляла мебелью: спальню – «мельцеровским» гарнитуром, маленький круглый будуар – вещами из светлого дерева от Бюхнера.

Целиком сосредоточиться на печальном не удавалось. На благотворительном вечере в пользу сиротских домов познакомилась с очаровательным Стасем Поклевским, дипломатом, который, оказывается, не пропускал ни одной ее премьеры, а нынче специально приехал из Лондона, где служил первым секретарем русского посольства, чтобы увидеть ее в новом балете – «Пробуждение Флоры».

Он сделался своим в доме. Был невероятно милым – учил английскому, заваливал корзинами цветов, по три раза на дню признавался в любви; веселил несказанно. Вернулась как-то из театра, горничная отворяет дверь, а в углу передней – чучело преогромного белого медведя: прислали от Поклевского. Сюрприз, однако, этим не ограничился. Нюра, помогши раздеться, попросила с загадочным видом не двигаться, умчалась в комнаты, оттуда через минуту раздались отчетливо фортепианные аккорды: вальс Шопена. Вихрем влетев в гостиную, она не поверила увиденному: горничная, едва умевшая читать по слогам, сидя к ней спиной, вдохновенно музицировала за невесть откуда взявшимся изящным белым фортепиано – механическим, как выяснилось миг спустя, приводимым в действие с помощью упрятанной внутри машинки. Снова – Поклевский…

В один из дней он привел гостя – французского импресарио Рауля Гинцбурга, шумного, носатого, знавшего несметное число театральных анекдотов. Ужин удался на славу. Болтали без умолку, перебивали один другого, перескакивали с предмета на предмет. Гинцбург осведомился, между прочим, доводилось ли ей бывать в Монте-Карло?

Она всплеснула руками:

– Ну, разумеется!

С жаром принялась рассказывать об авантюрной своей вылазке в казино во время путешествия с крестным по Европе, о том, как отыгралась после нескольких неудачных ставок в рулетку (морща лоб, силилась вспомнить, на какую сумму ограбила в тот раз заведение)…

– У вас, мадемуазель Кшесинская, есть прекрасная возможность повторить свой успех за игорным столом, – произнес, выслушав ее, Гинцбург. – И блеснуть заодно перед французами в балете!..

Оказалось: именно за этим он и пожаловал – пригласить ее на выступление в театр Монте-Карло. Контракт у него с собой… он извлек, как фокусник, из внутреннего кармана сюртука сложенную бумагу, стилограф…

– Подпишите, и дело с концом…

– Право, не знаю… – слабо сопротивлялась она. – Как-то у вас все неожиданно…

– Маля, решайтесь! – кричал подвыпивший Стас. – Где Гинцбург, там победа!

«Отрезвеют наутро и забудут», – решила она наконец, подмахнув торопливо какую-то закорючку на бумаге.

Она плохо знала Гинцбурга. Исчезнув бесследно, он однажды энергично зазвонил в дверь: примчался на лихаче прямо с поезда, привез свежеотпечатанные афиши.

«Впервые в Европе!!! – пробегала она глазами пахнувший свежей краской лист. – Петербургская звезда балета Матильда Кшесинская… четыре представления в театре Казино… все билеты раскуплены»…

Стас оказался прав: в предпринимаемых делах Гинцбург не проигрывал. Турне, в которое она отправилась с четырьмя партнерами (Олечка Преображенская и три танцовщика: родной брат Юзя, Кякшт и Бекефи), организовано было отменно; антрепренер не упустил из вида решительно ничего, включая сидевших в первых рядах оплаченных клакеров на случай провала.

До клакеров, впрочем, дело не дошло: успех русских был впечатляющим. Каждый из исполнителей получил свою долю аплодисментов, цветов и оговоренного в контракте гонорара. Выступление Кшесинской избалованная знаменитостями курортная публика признала блистательным.

«Европа, – подводил итоги гастролей «Ежегодник театральной жизни», – в первый раз познакомилась с г-жой Кшесинской-2-й весной 1895 года, когда импресарио Рауль

Гинцбург пригласил ее в Монте-Карло на четыре спектакля в театр Казино. Восторгам публики не было конца: особенный энтузиазм вызвало исполнение Кшесинской характерных танцев. Заграничные газеты и журналы были полны самых сочувственных отзывов о нашей симпатичной артистке. Очарованный ее талантом, знаменитый французский критик Франсис Сарсэ посвятил ей статью в «Тан».

За Монте-Карло последовала Варшава. Появление ее в «Пане Твардовском» вместе с нестареющим отцом зал встретил бурей рукоплесканий и цветочным дождем. Давно вышедшие на покой согбенные старушки, лорнировавшие сцену, не могли поверить, что бравый партнер петербургской звезды – тот самый Феликс Кшесинский, с которым они танцевали в далекой юности.

«На сцене Большого театра выступила в «Пане Твардовском» прима-балерина петербургского театра г-жа Кшесинская, – писала в те дни «Газета Польска». – Она вполне оправдала свою славу знаменитой танцовщицы. Ее танец разнообразен, как блеск бриллианта: то он отличается легкостью и мягкостью, то дышит огнем и страстью; в то же время он всегда грациозен и восхищает зрителя замечательною гармонией всех движений. Мы еще не видели чардаша в таком чудном исполнении, какое дает нам г-жа Кшесинская. Публика была в восторге от г-жи Кшесинской, что выразилось самыми шумными овациями в честь балерины».

Десятидневные гастроли вылились в триумф; сборы, несмотря на летнее межсезонье, были полными, рецензенты не скупились на эпитеты, варшавяне носили прославленных соотечественников на руках.

Холодным душем после Варшавы было ее возвращение домой. Страна готовилась к назначенной на май 1896 года в Москве коронации нового монарха. Частью многодневного пышного празднества должно было стать исполнение в Большом театре специально написанного для этой цели балета Риккардо Дриго «Жемчужина», в котором предполагалось участие обеих балетных трупп – московской и петербургской.

Появившись после недолгого отсутствия в театре она обнаружила, что репетиции «Жемчужины» идут полным ходом, все роли распределены; ее имени среди участниц нет. На торжества в Москву она, правда, едет, но только в качестве исполнительницы рядового балета – «Пробуждение Флоры».

Ярости ее не было предела.

«Я сочла это оскорблением для себя перед всей труппой, которого я перенесть, само собою, разумеется, не могла», – пишет она в «Воспоминаниях».

В бой пошла тяжелая артиллерия. Под нажимом Кшесинской

к вступавшему на престол Николаю обратились с жалобой на ущемление прав «нашей дорогой Малечки» сразу два великих князя – родной дядя Владимир Александрович, симпатизировавший ей еще с дебюта на Красненском фестивале, и двоюродный, Сергей Михайлович, новый возлюбленный. Судя по скорости реакции обращение возымело действие: через неделю в списке персонажей парадного балета к уже имевшимся трем «жемчужинам», Белой, Черной и Розовой, прибавилась четвертая – Желтая. Для новой роли, исполнение которой поручено было госпоже Кшесинской 2-й, Дриго написал за несколько дней музыкальную вставку, а Петипа на вставку сочинил еще одно па-де-де. («Не нравис – я переменил».)

Интриганам преподали урок: честь артистки была восстановлена. Удовлетворенная, она приступила к репетициям.

3

– Сереженька, ну что ты! Милый… не надо… Ну, потерпи, прошу! Явится кто-нибудь ненароком.

В ночном салон-вагоне идущего вне расписания поезда Москва – Санкт-Петербург – душная смесь духов, цветочных ароматов, папиросного дыма. На столе – остатки ужина, недопитое вино.

– Который час, скажи?..

Она пытается его отвлечь.

– Три… без семи минут.

– О-оо, – она сладко зевает. – Пять часов еще трястись. Я лягу, наверное… – Она отворачивает край шелкового одеяла, проскальзывает в блаженную прохладу простынь. – Может, поспим немного? А, Сереж?..

Господи, как она утомилась за эти сумасшедшие дни! Ноженьки бедные ноют. Массажик бы сейчас, ванночку парную…

– Сережа, пожалуйста… Господи, ты просто сумасшедший!.. Ну, иди, иди!..

Темень за вагонным окном, мерный стук колес. Вспыхивают, уносятся вспять расплывчатые огни полустанков. Серж уткнулся лицом в плечо, посапывает уютно. Большой младенец…

Она гладит курчавые волосы у него на груди, целует благодарно в висок. Хорошо, что он рядом – спокойный, сильный. Чувствуешь себя с ним как за каменной стеной. Ники был другим.

Милый, милый Ники! Невозможно представить его монархом, хоть убей…

В памяти всплывают картины завершившихся коронационных торжеств. Пышный, величественный въезд царского кортежа в

Кремль, который она наблюдала с балкона своего номера в гостинице «Дрезден». Гром военных оркестров, праздничная толпа, запрудившая тротуары, нескончаемый поток движущихся по Тверской гвардейских частей, казаков, представителей подвластных России народов в национальных костюмах, царской охоты со стремянными и ловчими в богатых ливреях, чинов Двора, бесчисленные кареты с гербами…

– Государь, государь! – заволновалась толпа внизу.

На излучине мостовой показалась знакомая фигура на белом коне, сопровождаемая золотой каретой императрицы.

С театральным биноклем у глаз она перегнулась через парапет…

Он ехал прямо на нее – точно спешил на свидание в их гнездышко на Английском. На какое-то мгновенье ей показалось: их взгляды встретились. У нее защемило сердце: таким он был на рослом красавце-коне маленьким, сжавшимся под взглядами тысяч людей – случайно угодивший на взрослую трапезу мальчишка, не знающий, куда девать руки за столом. (Образ этот преследовал ее всю жизнь. Женским чутьем она быстро разглядела в нем слабого, безвольного человека – задолго до того, как эта его тщательно маскируемая черта стала гибельной для России.)

Из-за затянувшегося шествия она опоздала на репетицию, извинилась, влетев в зал, перед стоявшим в наполеоновской позе Петипа.

– Для меня ничего. Но для них… – молвил с сардонической улыбкой маэстро, поведя руками в сторону толпившихся вокруг артистов. Мимом он был изумительным!

Ей стало ужасно не по себе.

Московские ее выступления прошли заурядно – все дни она чувствовала себя не в своей тарелке, настроиться на нужный лад не удавалось. Следила рассеянно, полулежа на кушетке в гостиничном номере, за собиравшей чемоданы горничной, когда влетевший в прихожую Сергей сообщил с порога о трагедии на Ходынском поле…

В проведенном с византийской роскошью коронационном спектакле в Москве недоставало Гинцбурга: украсив старательно авансцену, организаторы представления упустили в деятельном пылу театральные задворки. Вдали от Кремля, на юго-западной окраине города, устроено было для простого люда массовое гулянье с аттракционами и раздачей подарков в бумажном кульке: полфунта колбасы, сайка, пряник, леденцы и орехи. Никому и в голову не пришло осмотреть и привести в надлежащий порядок изрытый канавами и рвами пустырь, куда

устремились за дармовым подношением сотни тысяч горожан. Давка в какой-то момент сделалась ужасающей – люди пробовали вырваться наружу, угождали в земляные ловушки, по их головам несся обезумевший человеческий вал…

Отдыхавшему после утомительной церемонии в имении московского генерал-губернатора Николаю долго не решались доложить о случившемся. В часы, когда новоиспеченный монарх по-кавалерийски увалисто бегал по корту, играя в лаун-теннис с молодой женой, вереница телег начала вывозить со злополучного поля заляпанные черной грязью, обезображенные до неузнаваемости тела. Жертв насчитали 1389, несколько тысяч было покалечено…

… – Пресвятая Матерь Божья! Милосердная! Прости мне грехи мои, не суди строго!.. – молилась под стук колес в спящем салон-вагоне курьерского поезда коленопреклоненная молодая женщина в смятом кружевном пеньюаре. – Помилуй и сохрани моих близких… Всех, кто мне дорог, кого я люблю… Прости их, грешных, во имя распятого Сына Твоего!..

«Не-ее про-оо-щу-ууу!» – откликался из простора ночи невидимый паровоз.

4

Где она живет, что заключено в понятии – многоязыкая необъятная Россия, протянувшаяся от невских берегов до Тихого океана, мировая азиатско-европейская держава? Какой период тысячелетней своей истории она переживает? Отчего так неспокойно нынче в обществе, откуда берутся эти страшные люди – революционеры, террористы, бомбисты, чего они добиваются? В чем смысл нескончаемых споров вокруг: о земстве, либералах, реформах, конституции? Почему не устроила съехавшихся в Петербург представителей общественных сословий первая публичная речь молодого монарха, произнесенная им с трибуны Таврического дворца? Говорят, Ники читал написанный текст по бумажке, запинался. Может, поэтому?..

Постичь всю эту премудрость она не в состоянии – немедленно затыкает уши, когда обложенный газетами Сергей принимается пересказывать ей очередную скандальную публикацию. Не ее это ума дело, пусть подобными вещами занимаются мужчины. У молодой женщины, артистки собственные заботы. Карьера, любовь. Тоже – немало…

В театре свои заговоры, свои террористы и бомбисты. Интригуют все поголовно – дирекция против балетмейстеров, балетмейстеры против дирекции и друг друга, артисты против

всех разом. Что твой зверинец. Затерли, можно сказать, милейшего, покладистого Льва Ивановича Иванова. Папенька уверяет, что старинный его приятель ничуть не менее талантлив, чем Петипа. Взять хотя бы поставленный им второй акт «Лебединого озера» – чудо ведь из чудес! А «Половецкие танцы» к «Князю Игорю»? А танец снежных хлопьев в «Щелкунчике»? Гений, гений, а ходит у Петипа в подмастерьях, исключительно по слабости характера.

Про слабость Льва Ивановича она хорошо осведомлена еще с времен ученичества: напророчивший ей когда-то блестящее будущее педагог издавна дружит с бутылкой. Оттого и молодая жена, танцовщица Вера Лядова, сбежала: перевелась в Александринский театр, стала петь и танцевать в опереттах. А он, знай себе, водочку пьет и на скрипочке пиликает…

У всех проблемы. У пепиньерки, чье место «у воды» (в последнем ряду кордебалета, возле дальних декораций) – свои, у балерины свои. Чем выше поднимаешься, тем больше охотников подставить тебе ножку, спихнуть вниз. Доходят порой до форменной низости.

В сезон 1896/1897 она впервые танцевала с Кякштом заглавную партию в «Тщетной предосторожности» на музыку П. Гертеля. Роль плутоватой, смышленой Лизы Колен, по единодушному мнению, была исполнена ею отменно, критики наперебой ее хвалили за полухарактерные танцы и классическое па-де-де, публика то и дело бисировала, успех был налицо, но царская ложа на премьерном спектакле вопреки традиции оказалась пуста, императорская чета в театре отсутствовала. Государь с супругой посещали балет, как правило, по воскресеньям – к своему удивлению, она обнаружила, что собственное ее расписание в последнее время составляется таким образом, что танцует она исключительно по средам. Происходящее, разумеется, не было случайным, чья-то злая воля устраивала дело так, чтобы бывший возлюбленный не имел возможности видеть ее на сцене.

«Мне это показалось несправедливым и крайне обидным, – пишет она. – Так прошло несколько воскресений. Наконец дирекция дала мне воскресный спектакль; я должна была танцевать «Спящую красавицу».

Накануне спектакля по театру пронесся слух: государя и на этот раз в балете не будет, дирекция уговорила его поехать в Михайловский театр посмотреть какую-то французскую комедию. За кулисами царила нервическая обстановка, артисты роптали: воскресные представления из-за Кшесинской 2-й потеряли былую привлекательность. Пустая царская ложа как бельмо на глазу, нет

прежней приподнятости, танцуешь как на похоронах…

Это было похоже на заговор. Она немедленно снарядила во дворец Сергея с личным посланием монарху, пожаловалась на сложившуюся обстановку. При подобных обстоятельствах, писала, служить на императорской сцене ей становится совершенно невозможно.

Риск был велик: останься ее призыв неуслышанным, отставка делалась неизбежной. Сочиняя под горячую руку письмо, она не предполагала, на какой тонкой нити висела в те дни балетная ее карьера. Никакой театральный директор, тем паче – покровительствовавший ей еще с училищных времен Иван Александрович Всеволожский, не решился бы по собственной воле подобным образом ее третировать. Десятилетия спустя, в Париже, будучи таким же эмигрантом, как она, он признался ей, из каких источников исходили касавшиеся ее директивы. Речь шла о молодой царице.

Верный своим принципам Николай откровенно поведал накануне свадьбы невесте о Кшесинской (как информировал в свое время последнюю о чувствах, испытываемых к гессенской принцессе). Алиса, казалось бы, оценила его искренность, великодушно простила, не упустив возможности прочесть жениху небольшое наставление о борьбе с соблазнами и раскаянии в грехах перед Всевышним. В душе, однако, вытравить до конца болезненную занозу ей не удалось, существование вблизи благополучной, окруженной публичным вниманием бывшей любовницы мужа унижало, мучило ее. Избегая открытой конфронтации, она не упускала возможности уязвить где только могла вульгарную театралку, доставить ей неприятность.

…Готовая к выходу взволнованная Матильда вглядывалась сквозь щелку занавеса в полумрак зрительного зала – увы! – наполовину прикрытая портьерами крайняя левая ложа по-прежнему была пуста. Взошел молодцевато на помост, поправляя на ходу бутоньерку в петлице фрака, капельмейстер Дриго, оглядел замерших оркестрантов, приподнял изящным движеньем руки дирижерскую палочку. Раздались первые такты увертюры. Все было ясно без слов. Опустив голову, она пошла за кулисы. В эту самую минуту, покрывая оркестр, донесся из зала странный какой-то шум, послышались голоса, следом за тем аплодисменты. Едва не сбив ее с ног, пронесся мимо дежурный распорядитель, выкрикнул хрипло: «Государь приехал!»

О том, что происходило во дворце накануне спектакля между царственными молодоженами, можно лишь догадываться. Ясно одно: подпавший с самого начала под влияние юной супруги Николай сумел убедить каким-то образом обожаемую Аликс в

целесообразности посетить на этот раз именно балет вместо намеченной французской пьесы в Михайловском театре. Переменчивый и ненадежный, он остался верен слову, данному при расставании любимой женщине: откликаться на ее просьбы, поддерживать в трудных обстоятельствах.

Царившую во время представления в царской ложе обстановку живописует в письме брату Георгию на Кавказ великая княжна Ксения Александровна:

«В воскресенье мы были в «Спящей красавице» (Ники и Аликс тоже) и в первый раз видели Малечку. Ники мне потом признался, что у него была ужасная эмоция и ему было весьма неприятно в первую минуту ее появления. Аликс выглядела грустной, что вполне понятно».

Торжествующая Кшесинская не упустила случая объявить во всеуслышание, что молчала до последней минуты нарочно, зная заранее о намерении государя и императрицы посмотреть ее в «Спящей красавице». Понимала: объяснение звучит не очень убедительно, но ее это ничуть не смущало. В театре, усвоила она себе правило, ни при каких обстоятельствах нельзя терять лица.

Положение ее в труппе укрепляется. В начале сезона 1898/1899 гг. она дебютирует в сделавшейся впоследствии ее коронной партии Аспиччии в «Дочери фараона» Цезаря Пуни, под занавес осуществляет сокровенную свою мечту, приостановленную на семь с лишним лет упрямым несогласием Петипа: танцует Эсмеральду. Репетируя с Мариусом Ивановичем роль героини самого, пожалуй, мелодраматичного балета классического репертуара, вызывая в себе чувства, роднящие ее с молодой француженкой, испытавшей драму любви, идущую в финале спектакля на казнь, она, кажется, впервые по-настоящему осознает правоту услышанных когда-то слов знаменитого балетмейстера: Эсмеральду мало грамотно исполнить, ее надо выстрадать, опираясь на опыт собственной жизни. Грустно признаться, но теперь у нее этот опыт есть. И она любила и страдала, и ее, как Эсмеральду, оставили.

– Ты стал взрослый, – сказал, расцеловав ее после премьеры за кулисами, Петипа.

Что правда, то правда. Безмятежная юность, наивные мечты – все минуло безвозвратно, жизнь преподала ей наглядные уроки, научила, когда надо, действовать локтями, пользоваться покровительствами, носить маску на лице. Амбиции ее растут, меняется характер. Она может вспылить, выговорить гневно из-за пустяка партнеру во время репетиций, топнуть ножкой, накричать на недостаточно расторопного официанта в ресторане. Срывает нередко дурное настроение на Сергее. Другой на его месте не

выдержал бы, дал от ворот поворот, а он терпит. Любит безоглядно – по всему видать. Даже к легким ее увлечениям относится снисходительно, хотя в душе, конечно, переживает. И напрасно: какая, скажите, артистка без флирта? Просто смешно!

Мужчины вьются вокруг нее как мухи. Умоляет пойти с ним под венец молодой польский аристократ Божевский, преследующий ее по пятам во время кратких гастролей в Варшаве. Едва уловив искорку ее внимания, немедленно дает отставку давней своей пассии графине Хитрово жизнерадостный гусар Николай Скалон. Потеряв надежду на успех, остаются рядом на правах друзей князь Дмитрий Джамбакуриани-Орбелиани, статский советник Михаил Стахович, драгун Никита Трубецкой, лейб-гвардеец Борис Гартман.

Среди пылких ее поклонников – сиамский принц Чакрапонг, приехавший в Россию для получения военного образования. Курсант Пажеского корпуса – постоянный посетитель ложи в Мариинском театре во время выступлений божественной примадонны. Пишет ей восторженные письма, шлет цветы. «Кшесинская, – удрученно записывает в дневнике, – не ответила на мои письма, хотя я и послал ей подарок к Новому году».

Лишь однажды она позволила себе одарить его знаком внимания. Пригласила на благотворительный вечер, в котором принимала участие. Выйдя по завершению спектакля в парадный зал, показала глазами: «Вы, сударь, замечены» – и только. Неподалеку, по словам принца, прохаживался в толпе великий князь Сергей Михайлович, косил недобро взглядом в их сторону. «Просто поразительно, – сетует на страницах дневника Чакрапонг, – стоит отнестись к женщине с симпатией, как все тут же решают, что у тебя с ней роман».

Привычка нравиться толкает ее к опасным приключениям. Вся Мариинка, в особенности дамская ее половина, под впечатлением от только что вступившего в должность чиновника особых поручений при Дирекции Сергея Павловича Дягилева, обворожительного, загадочного, не расстающегося с моноклем, прозванного из-за пышных волос с эффектной седой прядью на лбу «шиншиллой». Шепотом сообщается пикантная подробность: у «шиншиллы» – нездоровый интерес к мальчикам, женщинами он не интересуется.

– Ах, оставьте, пожалуйста! Что значит – не интересуется? – вскидывает она гордо головку. – Хотите пари? Через месяц минимум он будет у моих ног!

У ног или не у ног, а «шиншиллу» видят вскоре в ее обществе – с ума сойти! Впрочем, несмотря на молву (подогреваемую самой Кшесинской) по поводу их якобы сердечных отношений

Дягилев благополучно избежал ее чар. Склонный к педерастии энергичный помощник нового директора императорских театров обхаживал очаровательную этуаль с сугубо практической целью – искал с ее помощью пути к сильным мира сего для продвижения задуманных им театральных нововведений.

Она его в конце концов раскусила, он ее раскусил еще быстрее. На удивление, это лишь добавило в обоих симпатию друг к другу. Ровесники, трезво глядящие на жизнь, они обнаружили много общего в характерах – самолюбивых, властных, не терпящих соперничества, что надолго определило в дальнейшем запутанность их отношений, перемежаемых то дружбой, то враждой.

«В ту пору, – читаем в воспоминаниях Тамары Карсавиной, – она находилась на вершине своего таланта. По виртуозности она не уступала Леньяни, а по актерским качествам даже превосходила ее. Матильда сама выбирала время для своих спектаклей и выступала только в разгар сезона, позволяя себе длительные перерывы, на время которых прекращала регулярные занятия, и безудержно предавалась развлечениям. Всегда веселая и смеющаяся, она обожала приемы и карты; бессонные ночи не отражались на ее внешности, не портили ее настроения. Она обладала удивительной жизнеспособностью и исключительной силой воли. В течение месяца, предшествующего ее появлению на сцене, Кшесинская все свое время отдавала работе – усиленно тренировалась часами, никуда не выезжала и никого не принимала, ложилась спать в десять вечера, каждое утро взвешивалась, всегда готовая ограничить себя в еде, хотя ее диета и без того была достаточно строгой. Перед спектаклем она оставалась в постели двадцать четыре часа, лишь в полдень съедала легкий завтрак. В шесть часов она была уже в театре, чтобы иметь в своем распоряжении два часа для экзерсиса и грима. Как-то вечером я разминалась на сцене одновременно с Кшесинской и обратила внимание на то, как лихорадочно блестят ее глаза.

– О! Я просто целый день умираю от жажды, но не буду пить до выступления, – ответила она на мой вопрос.

Ее выдержка произвела на меня огромное впечатление. Я время от времени возвращалась с репетиций домой пешком, чтобы на сэкономленные деньги купить в антракте бутерброд. Отныне я решила отказаться от этой привычки».

5

Последний год уходящего столетия для Кшесинской этапный:

десятилетие службы в театре. Любая артистка на ее месте постаралась бы отметить такое событие: праздник бы домашний устроила, друзей назвала. У нее иные запросы. Уж на что видавший виды министр Двора барон Фредерикс и тот явно в смущении, выслушивая просьбу явившейся на прием очаровательной Матильды Феликсовны: устроить ей по упомянутому поводу бенефис. Ни мало ни много…

– Да, да, разумеется, – мямлит он, натянуто улыбаясь, – заслуги ваши, мадмуазель Кшесинская, в балете не подлежат сомнению. Касаемо же бенефиса… Существуют, увы, на сей счет правила, вы о них наверняка осведомлены. Получение бенефисного спектакля возможно по прошествии двадцати лет службы на сцене или же перед выходом артиста на пенсию. – Он постукивает сухим пальцем по суконной обшивке стола, на лице у него крайняя степень озабоченности. – Нарушить указанную инструкцию не в моей власти. Если позволите, я при первой же возможности передам вашу просьбу государю. Решение подобного рода вопросов – исключительно в сфере компетенции их величества. Со своей стороны… – он преувеличенно бодро поднимается с кресла, обходит стол, припадает к руке, – как давний поклонник вашего таланта обещаю вам полную поддержку.

Дерзкое ее притязание и на этот раз удовлетворено: Ники снова ей помог. Состоявшийся в феврале бенефис затмил, по свидетельству современников, самые памятные торжества такого рода. В переполненном зале театра присутствовал «весь Петербург», овациям не было конца, бенефициантку завалили цветами и подарками. Воодушевленная царившей обстановкой, она исполнила с подъемом наиболее выигрышные свои вариации из «Арлекинады» Дриго и «Времен года» Глазунова, а под занавес станцевала на «бис» в дивертисменте – темпераментно, легко, словно бы ни капельки не устала.

Счастливая, с сияющим лицом одиннадцать раз выходила она к рампе на поклоны в окружении танцевавших с ней талантливых партнеров: Ольги Преображенской, Юлии Седовой, юной Аннушки Павловой, Георгия Кякшта, Николая Легата, Михаила Фокина.

Громадная толпа ждала ее после окончания вечера на улице. Едва она появилась в дверях артистического подъезда, восторженные балетоманы усадили ее в приготовленное кресло и с криками восторга донесли до экипажа. За тронувшейся каретой двинулось несколько подвод, груженных цветами.

Первое, что она сделала на другой день, отоспавшись всласть, – села с бумагой и карандашом за подсчет бенефисного

приварка. Вписывала в разлинованный лист по отдельности: кассовую выручку, подарки, цветочные подношения, сувениры. Долго любовалась, пристраивая на груди, среди кружев пеньюара, прелестную брошь в виде свернувшейся бриллиантовой змеи с крупным сапфиром посредине – «царский подарок», вручаемый бенефициантам от имени Двора. Сладко потянувшись, зевнула: все идет как надо! Не забыть только поблагодарить письменно всех, кто прислал цветы с визитками. И свечу поставить в костеле Пресвятой Деве.

Бенефис принес ей еще один трофей, намного ценнее, как показало будущее, чем бриллиантовая брошь. Через несколько дней она устроила дома праздничный обед. Приглашенных перевалило за сотню, столы пришлось накрывать в приемной зале. За шумной трапезой с веселыми тостами и шутками случилось небольшое происшествие: сидевший от нее по левую руку свежий гость, только что произведенный в офицеры племянник Сергея великий князь Андрей Владимирович опрокинул на скатерть, неловко задев рукавом, бокал с красным вином. Вино обрызгало ей платье. Под чей-то пьяный крик: «Где пьют, там и льют!» она убежала наверх переодеться, а когда вернулась, застала растерянного виновника инцидента, пунцового как девица, ожидавшего ее у подножья лестницы.

– Я настоящий слон, – в отчаянии воскликнул он, – испортил вам туалет!..

– Идемте лучше танцевать! – смеясь перебила она его.

Застенчивый, неискушенный юноша влюбился в нее с пылом и страстью первого чувства. Она милостиво позволила ему себя обожать и сама незаметно увлеклась.

Все невероятно запуталось в жизни. Новый поклонник, младше ее на шесть лет, материально зависел от родителей, был несвободен в поступках. Встречаться им приходилось с крайней осторожностью, тайком. Тяжелое объяснение произошло с Сергеем: дяде предстояло уступить любимую женщину племяннику. Он на подобный шаг не был готов, умолял одуматься, она сама в глубине души не хотела окончательного разрыва – ничего в результате не решили. Осенью Андрей получил двухмесячный отпуск для поездки во Францию. Они договорились встретиться в Биаррице, куда он поплыл морем из Севастополя, а она отправилась поездом вместе с подругой Маней Рутковской, переведенной незадолго до этого по ее просьбе из Варшавы в балетную труппу Мариинского театра.

И заграницей было непросто: вокруг десятки любопытных глаз – друзья, знакомые. Андрея постоянно куда-то приглашали, видеться приходилось эпизодически, урывками. Они с Маней

выбрали время, прокатились в Монте-Карло, поиграли в рулетку, оттуда отправились в Париж, где ждал ее Андрей. Незадавшееся медовое турне заканчивалось. Он в силу обстоятельств оставался еще какое-то время во Франции, ей пора было возвращаться домой, чтобы успеть к началу выступлений.

Поезд их приближался к Петербургу, уже миновали Гатчину, она стояла в меланхолии у окна, глядя на знакомые места, когда дверь стремительно отворилась и в купе ввалился запыхавшийся Сергей с пышным букетом белых лилий. Какое-то мгновенье они смотрели взволнованно друг на друга. Она первая, не выдержав, шагнула ему навстречу, обняла за шею…

Клубок окончательно запутался. Вернувшийся из Франции Андрюша явился к ней с визитом, когда они мирно, по-семейному обедали с Сергеем. Гостя пригласили за стол. Протекавшая при гробовом молчании воскресная трапеза напоминала сцену из дурного водевиля; она с трудом удерживалась, чтобы истерически не расхохотаться.

Выхода из положения не было, казалось, никакого. Кончилось тем, что они не сговариваясь стали жить втроем.

6

Приклеившийся ярлык, пусть даже во многом и справедливый, способен представить в искаженном свете любой человеческий поступок и в конечном счете саму человеческую личность.

В 1901 году сцену Мариинского театра покинула последняя из итальянских виртуозок, Пьерина Леньяни. Молва немедленно приписала случившееся козням Кшесинской: вчерашняя кумирша стала серьезным препятствием в ее притязаниях на место прима-балерины, и Малечка прибегла к излюбленному своему оружию – интриганству: настучала, кому следует, добилась, чтобы дирекция не продлила с итальянкой контракта на очередной сезон.

Недоброжелатели словно бы не замечали очевидных вещей, понятных любому непредвзятому специалисту: честолюбивая русская звезда технически ни в чем не уступала к тому времени ни Леньяни, ни тем паче продолжавшей еще некоторое время танцевать в Мариинке другой гастролерше из Италии, Энрикетте Гримальди, превзойдя и ту и другую в искусстве миманса – совсем недавно ахиллесовой своей пяте. Не было в данном случае никаких недостойных приемов борьбы. Легитимное в условиях театра соперничество мастеров завершилось в пользу сильнейшего; побежденному оставалось либо покинуть поле

битвы, либо согласиться на второстепенную роль. Леньяни предпочла вернуться в «Ла Скала».

Ее уход патриотически настроенная театральная критика расценила едва ли ни как историческую победу национальной русской хореографии, вырастившей мастера, способного идти собственным путем, без оглядки на вчерашних учителей. В юбилейном сборнике, выпущенном в дни бенефиса Кшесинской, примерно так и сказано:

«Наш балет должен гордиться, что к началу XX века он может процветать благодаря отечественным талантам, для которых иностранные танцовщицы не являются уже идеалом».

Матильда Кшесинская становится знаменем русского балетного искусства. А у знамени, как известно, и место особое в общем строю. Выросшая в обстановке тотального людского неравенства дочь придворных актеров воспринимает собственное возвышение как индульгенцию на право требовать то, что не положено другим. Морально это или нет? – подобный вопрос ей и в голову не приходит: таков принцип взаимоотношений в обществе, где она живет, так поступают решительно все!

В какой-то момент она решает, что в ее положении вовсе необязательно трудиться сезон напролет как рабочая лошадь, затыкать в пожарном порядке бреши в репертуаре, света божьего не видеть. Во имя чего, помилуйте? Материально она обеспечена, славы рутинное мельтешение на помосте не прибавляет – скорее наоборот. А годы идут, столько хочется успеть, столькими насладиться радостями. Пока молода, знаменита, пока есть возможности. Не балетом единым жив человек.

Она требует и добивается в конце концов у дирекции перевода себя на трехмесячную службу: начинает танцевать в ноябре, а в разгар масленой недели уже прощается с публикой. Уезжает на дачу в Стрельню, занимается очередной переделкой интерьера, ездит по модисткам, шьет немыслимое количество обновы, веселится с друзьями в ресторанах, кабаре, посещает выставки, премьеры, благотворительные базары, маскарады, путешествует с молодым любовником по Италии. Срывает, как говорили в ту пору, цветы удовольствия.

Мариинка еще не остыла от скандального ее бенефиса, как следует ставшая легендарной история с фижмами.

Обсуждая с костюмером детали своего наряда в балете «Камарго», перешедшем к ней от Леньяни, она заявляет, что в русском танце обойдется без фижм.

– Виноват, но это совершенно невозможно, мадмуазель Кшесинская! – возражает тот. – Вы же знаете: балет выдержан в стиле эпохи Людовика Пятнадцатого. Будет разнобой в одеяниях

артистов, исказится общая картина!

– Никто ничего не заметит, – следует ответ, – сделайте мне пышные юбки, и все.

– Но отчего надо отказываться от фижм? – не сдается тот. – Что в них плохого?

– Господи!.. – Она начинает сердиться, – Как вы не поймете! Это же русский танец. Не павана, не менуэт. В нем особая грация. Ничто не должно стеснять мне движений. И кроме того, я с моим ростом выгляжу в фижмах совершенным уродом.

– Но мадам Леньяни это почему-то ничуть не мешало…

– Я не Леньяни! – взрывается она. – Делайте, что вам говорят!

Плетеные приспособления в виде корзиночек, приподнимавшие на боках юбку танцовщицы, стали причиной грандиознейшего скандала. Сменивший Всеволожского на посту директора императорских театров князь С.М. Волконский явно недооценил характера балетной примадонны. Раздосадованный очередным ее капризом, он распорядился оставить костюм в «Русской» без изменений. Кшесинская ответила, что с фижмами танцевать не станет.

Обстановка накалилась до предела. Перед началом спектакля в грим-уборную взбунтовавшейся звезды пожаловал управляющий конторою императорских театров барон В.А. Кусов, повторивший настоятельное требование директора: «Русскую» исполнять в утвержденном костюме. Ответом посланцу был категорический отказ.

Пронюхавших о скандале зрителей мало занимал в тот вечер балет. Партер, ложи, галерка – пять набитых под потолок ярусов, тысяча шестьсот кресел – решали, напрягая зрение, поистине гамлетовский вопрос: наличествуют под юбкой у танцующей Кшесинской злополучные фижмы или нет? Мнения, как водится, разделились. Разгадка пришла назавтра в виде приказа на доске объявлений в театральном вестибюле: за самовольное изменение положенного ей в балете «Камарго» костюма дирекция налагает на балерину Кшесинскую штраф.

Пикантная история на этом не завершилась. По прошествии суток на той же доске появилось свежее объявление: «Директор императорских театров приказывает отменить наложенный им штраф на балерину Кшесинскую за самовольное изменение положенного ей в балете «Камарго» костюма».

Ввязавшись в конфликт с упрямицей, Волконский совершил роковую ошибку: силы были не на его стороне. Вот как описывает он в книге воспоминаний историю взаимоотношений с всесильной примадонной, кульминацией которых стала история с фижмами, стоившая ему немилости Двора и директорского

кресла.

7

– Ах да, Волконский, я хотел вам сказать… я знаю, что «Фиамметта» требует много репетиций, теперь масленица, они устали – дайте лучше в пятницу «Маркитантку».

– Слушаюсь, ваше величество.

Это было в царской ложе Мариинского театра во время антракта. Только за три дня перед тем, в той же ложе, пробегая репертуар, государь мне сказал, что он так рад в будущую пятницу увидеть балет «Фиамметта», которого никогда еще не видел. Почему же вдруг отмена? Я, конечно, мог ответить, что артисты вовсе не устали, что одноактный балет не требует репетиций, что все рады показать государю что-нибудь такое, чего он еще не видал… Но я знал, что мои слова будут ни к чему. Я слишком хорошо чувствовал что-то, на что он ссылался – усталость артистов, праздники и пр., – это не причина, а лишь предлог.

Есть ли на свете что-нибудь более трудное, как опровергать предлог? Опровергните – сейчас явится другой. Uno avulso, non deficit alter. [1]Мне всегда казалось, что предлог – злейший враг логики. Ведь предлог – это то, что нарушает самую нерушимую связь явлений – причинность; это есть подмена естественного рождения каким-то насильственным подбором. А тот случай, о котором я рассказываю, представляет собой некоторую разновидность. Дело в том, что государь верил в то, что говорил; он действительно думал, что артисты устали и пр. Для него это был не предлог, это была причина. Но в таком случае, в чем же дело? Откуда было у меня такое ощущение бесполезности всяких доводов и почему, несмотря на искренность государя, я испытывал ту неловкость, которую испытываю всегда, когда вместо причины стою перед предлогом? Очевидно, что-то произошло в промежутке тех трех дней. Произошло вот что.

Когда из царской ложи я вышел на сцену, подозвал режиссера и сказал, чтобы он подчистил «Фиамметту», так как государь собирается ее посмотреть, оказывается, – я этого тогда и не заметил, – в двух шагах от меня стояла Кшесинская. «Фиамметту» танцевала балерина Трефилова, которую Кшесинская терпеть не могла; услыхав мои слова, – это мне передали впоследствии, – она сказала: «Ах вот как! «Фиамметта» не пойдет». И «Фиамметта» не пошла. Вот, значит, где произошла подмена причины предлогом.

Кшесинская достигала всего, что хотела. Через великого

князя Сергея Михайловича, с которым она жила, она восходила к государю, который в память своих когда-то близких с ней отношений разрешал все ее просьбы. Она при этом умела так обставить свою просьбу, что выходило, как будто ее обижают. Во всяком случае, государю казалось, что она является страдалицей за прежнее его к ней благоволение. Поэтому он думал, что, разрешая ее просьбы, он тем самым восстановляет справедливость, избавляет ее от несправедливого преследования. В данном случае, очевидно, и просьбы не было или, вернее, личной просьбе была придана видимость заступничества за других. Государю предоставляется случай выказать свое внимание к артистам, измученным двойными спектаклями на масленой неделе. И он выказал внимание, он сказал: «Поставьте лучше «Маркитантку».

Не в первый раз государь вмешивался в мелочные подробности балетного репертуара и даже распределения ролей. Это было всегда ради удовлетворения какого-нибудь желания Кшесинской; это всегда сопровождалось какою-нибудь несправедливостью по отношению к какой-нибудь другой танцовщице. Сам государь не знал, что творит несправедливость. Он исполнял чужую просьбу, и просьба ему докладывалась в такой форме, что несправедливость оставалась сокрыта. Что, например, было неприглядnее скрытой стороны этого факта? Именем царя совершается возмутительная несправедливость. А вместе с тем что было проще и яснее видимой стороны этого происшествия? Государь «входит в положение» бедных артистов. И вот почему в этом случае, как и всегда в других подобных случаях, я мог ответить только и ответил: «Слушаюсь, ваше величество».

Нелегко было быть орудием несправедливости. Я уже не говорю о том, что всякий такой случай, становясь предметом всеобщего обсуждения за кулисами, возбуждал волнения, разжигал страсти и, конечно, не способствовал ни укреплению дисциплины, ни утверждению авторитета директора. И однако, выйти в отставку я не мог – «видимость» не дала к тому уважительного основания. Был, правда, один случай, но он произошел при самом начале моей службы и при таких обстоятельствах, что я должен был примириться с фактом. Вот как это было.

Мой предшественник по управлению театрами, Иван Александрович Всеволожский, заключил контракт с дрезденской балериной Гримальди. Этот контракт я унаследовал; с ее дебютов начинался балетный сезон 1899 года. Она дебютировала в «Жизели» с большим успехом. Следующий балет по контракту –

«Тщетная предосторожность»; начались репетиции. В одно прекрасное утро на приемном дне является ко мне Кшесинская, заявляет свои права на исключительное исполнение «Тщетной предосторожности» и просит не отдавать другой то, что она называла «мой балет». Я отказал, ссылаясь на контрактное обязательство и указывая на то, что ни в опере, ни в драме не существует монополии, ролей, что нет основания вводить этот обычай в балетную труппу; и в самом деле, разнообразие для публики, для балерин – соревнование. Она вышла недовольная. На другой день – ко мне звонок; у телефона великий князь Сергей Михайлович; спрашивает, когда я могу заехать к нему. Условились – на следующий день. Приезжаю. «Я хотел с вами поговорить насчет Матильды Феликсовны, насчет «Тщетной предосторожности».

Начинается все то же самое, и с моей стороны те же ответы – сказка про белого бычка. Я указывал, кроме того, на дисциплину, чувство служебного долга. Он все это отмахивал и настаивал все на одном: «Отнеситесь к вопросу не с служебной сухостью, а с человечностью, с сердечностью». Видя, что из этого разговора на балетные темы ничего не вытанцуется, я сказал, что подумаю и напишу ему, вперед решив, что ответ мой будет отрицательный.

На другой день был мой доклад у министра Двора, барона Фредерикса. Через день он уезжал с государем в Дармштадт, и я предупредил, что в его отсутствие у меня будет столкновение с моим августейшим тезкой и что, может быть, и до него дойдут о том отголоски. Прощаясь со мной, он сказал: «Будьте тверды».

«Я буду», – сказал я. («Будете ли вы?» – подумал я.) Надо сказать, что перед тем, как мне был предложен пост директора императорских театров, запросили моего близкого друга, князя Александра Андреевича Ливена, способен ли я буду противостоять вмешательству великих князей в театральные дела. Ливен поручился за мою самостоятельность в этом отношении. Но после первых же докладов у министра я понял, что он никогда не будет опорой. Ведь это же элементарная истина, что опираться можно только о то, что способно противостоять. Фредерикс, при рыцарски-благородных качествах своих, был характера рыхлого; я ясно ощущал, что его напутствие есть совет, но не может быть принято как обещание. Фредерикс, кроме того, был недалек; он был неподвижного ума. Доклады у него иногда бывали очень тяжелы – он с трудом улавливал суть дела; всякий доклад надо было подавать в самых коротких словах – его мышление сейчас же утомлялось, его не хватало ни на какое более длинное рассуждение. Самое благоприятное для меня это, бывало, когда он чувствовал усталость, тогда он не спрашивал

объяснений и прямо подписывал… Решив соблюсти свою «линию», я на другой день написал Сергею Михайловичу мой мотивированный отказ исполнить его желание. Получил в ответ письмо столь же недовольное, сколько нескладное, которое кончалось так: «А что Вы пишете, что отвечаете мне по зрелом размышлении, то и я обратился к Вам не без оного. Оскорбив Матильду Феликсовну, Вы обидели и меня». На этом кончилась первая глава происшествия. Репетиции «Тщетной предосторожности» продолжались.

Недели через две подает курьер телеграмму. Распечатываю – шифрованная. У меня в дирекции шифра не оказалось; отправляюсь к управляющему канцелярией министра Злобину, беру у него шифр, возвращаюсь домой, расшифровываю – из Дармштадта, от Фредерикса: «Передаю Вам приказание не отдавать балета «Тщетная предосторожность» балерине Гримальди, оставив его за Кшесинской». Я сделал еще одну попытку, послал убедительную телеграмму, но получил в ответ: «Не могу изменить полученного Вами приказания». Что мне оставалось делать? Репетиции «Тщетной предосторожности» прекратились.

Повторяю, это было в самом начале моей службы.

Подавать в отставку было бы смешно, тем более что приходилось бы ждать два месяца возвращения государя; было бы смешно оспаривать у самодержца право распределения ролей, которое принадлежало и мне, его подданному, и всякому режиссеру. Наконец, смешно было уходить по такому поводу, который по видимости своей имел бы характер личной обиды. Но я написал тогда письмо барону Фредериксу, в котором изложил мой взгляд на все это и между прочим сказал, что подобные распоряжения ложатся тенью на доброе имя государя. Действительно, вся мелкая петербургская «публика», вся провинция были уверены, что государь продолжает сожительствовать с Кшесинской. И как было не думать, когда всякая ее просьба исполнялась? В глазах всех Кшесинская была «самодержавный каприз». И всякое административное распоряжение утверждением своим только подтверждало предположения общественного мнения. Великий грех в этом отношении на душе покойного Сергея Михайловича, грех способствования тому, что, в конце концов, мы должны назвать оскорблением величества. В таком смысле написал я министру Двора. В отставку, как сказал уже, не подал, а решил ждать, как пойдет дальше…

Но к тому времени, с которого начался наш рассказ, многое сгустилось, обозначилось настолько, что всякие личные чувства

отступали на задний план перед общей невозможностью вести дело на сколько-нибудь устойчивых основаниях дисциплины и справедливости. Кончался второй сезон моего директорства, и я на каждом шагу натыкался на невозможность поступать по совести. Или, наученный опытом, я должен был сам воздерживаться от некоторых распоряжений, или я должен был идти на новые столкновения, новые отмены моих распоряжений и новые за кулисами шушукания, волнения, слезы, истерики. Да, не знает публика, сколько горечи за балетной улыбкой, сколько тяжести за легкостью балетных «тюников»… Я ждал случая уйти.

В тот год пасхальный сезон был короток, но представлял интерес: Кшесинская должна была выступить в балете «Камарго», который перед тем танцевала в свой прощальный бенефис итальянская балерина Леньяни. Кстати, и тут мне припоминается история. Леньяни для своего бенефиса выбрала было старый, давно не шедший балет «Баядерка». Через две недели приходит Кшесинская и заявляет, что после долгих исканий она наконец нашла себе подходящий балет, она выбрала – «Баядерку». Ну, начинается новая волна, подумал я. Посылаю за Леньяни, говорю ей откровенно, как обстоит дело. Предлагаю вместо «Баядерки» «Камарго» – балет красивый, в костюмах Людовика XV; она согласилась скорее и легче, чем я ожидал. В особенности пленило ее, когда я сказал ей, что для русской пляски (в каждом старом балете, где бы и когда бы действие ни происходило, всегда был вставной номер русской пляски) я ей сделаю точный снимок с известного портрета Екатерины Великой в русском костюме на балу, данном в честь императора Иосифа II. Несмотря на то что она так легко согласилась, она все же затаила злобу против меня, и я знаю, что по возвращении в Италию она говорила, что никогда не вернется в Россию, пока в театре будут два человека: Кшесинская и князь Волконский. Она была уверена, что я подслуживаюсь…

Вот эту самую «Камарго», которую на масленице танцевала Леньяни, должна была после Пасхи танцевать Кшесинская. И этому самому костюму Екатерины Великой суждено было оказать мне услугу, за которую я ему был благодарен в течение многих лет. Я сказал уже, что ждал случая уйти. Долго такого не представлялось. Наконец представился. Вы с трудом поверите, что могло стать причиной ухода директора императорских театров. Вы с трудом поверите, что причиной были фижмы. Впрочем, вы, может быть, не знаете, что такое фижмы? Фижмы – это из проволоки сплетенные корзины, которые надеваются на бедра под юбки, для того, чтобы юбки стояли пышнее. В XVIII столетии иначе как в фижмах не танцевали; в фижмах поэтому

был задуман мною и русский костюм балерины по портрету Екатерины Великой: это был русский танец, стилизованный во вкусе Людовика XV. Недели за две до представления доходит до меня слух, что Кшесинская не хочет надевать фижмы. Чем ближе к дню представления, тем слухи упорнее. В то время вопросы балетные сильно занимали общество; они были способны даже волновать его. Всякая мелочь закулисная становилась достоянием городских разговоров, и, как по электрическим проводам, волнения передавались – в гостиные, в редакции, в рестораны. Вопрос о фижмах принял размеры чего-то большого, важного. Уже говорили, что Кшесинская объявила, что ни за что их не наденет. Настал и день представления. Театр битком набит, и добрая половина присутствующих, конечно, занята мыслью: «Ну, как? В фижмах или без фижм?» В антракте, перед вторым действием приходит ко мне в директорскую ложу заведующий монтировочной частью барон Кусов с известием, что Кшесинская прогнала костюмершу, принесшую фижмы в ее уборную: «Вон, вон эту гадость! Не надену! Пусть меня штрафуют, пусть что хотят делают, а фижмы не надену!» Занавес взвился, под звуки русской пляски Кшесинская выплыла – без фижм. На другой день в журнале распоряжений по дирекции: «Директор императорских театров постановил: на балерину Кшесинскую, за самовольное изменение в балете «Камарго» установленного костюма, наложить штраф в размере…» (Уж не помню, какая тут часть содержания полагалась по уставу.)

Через два дня будят меня в восемь часов утра: министр просит сейчас же приехать к нему. Одеваюсь, еду на Почтамтскую, вхожу.

– Вот, у меня очень неприятное к вам поручение. Государь желает, чтобы штраф с Кшесинской был сложен.

– Хорошо, говорю, но вы знаете, что после этого мне остается делать.

– Ну да, я знаю; вы молоды, вы слишком к сердцу принимаете. Об этом мы после поговорим. А сейчас, значит, я вам передал желание государя. Я через полчаса еду в Царское; я могу, значит, доложить, что приказание государя исполнено.

– Разумеется.

– А затем я вернусь и передам вам результат моего разговора. Заезжайте ко мне часов в пять. Да, я забыл вам сказать: государь желает, чтобы штраф был сложен в том же порядке, в каком был наложен.

Я вернулся в дирекцию, попросил к себе чиновника Ивана Сергеевича Руссецкого, заведовавшего печатанием журнала распоряжений, и передал ему для напечатания на следующий

день распоряжение, что наложенный по приказанию директора императорских театров на балерину Кшесинскую за то-то и то-то штраф по приказанию директора императорских театров слагается. Затем, оставшись один, написал прошение об отставке и положил его себе в карман».

«Его заслуженно очень любили, – пишет по этому поводу в воспоминаниях Тамара Карсавина, – и общество с негодованием восприняло неуважение, проявленное по отношению к одному из своих членов. В театре стали происходить враждебные манифестации, направленные против Кшесинской, – дорого она заплатила за свой кратковременный триумф».

Глава четвертая

1

Петербурга не узнать. Устремленные в небо трубы новых заводов на Петроградской стороне. Электрические фонари вдоль проспектов. Первые отчаянно тарахтящие, окутанные едким дымом авто, от которых шарахаются в стороны насмерть перепуганные лошади. Банки на каждом шагу: русско-английский, русско-французский, русско-голландский. Иллюзионы, увеселительные заведения, игорные дома.

Они с Маней забежали на минуту с морозца в «Английский магазин» за модными перчатками и застряли конечно же среди прилавков: то хочется купить, другое, третье. Растет гора пакетов с покупками, приказчики мечутся как угорелые, выкрикивают наперебой: «Пожалуйте к нам! У нас покупали! Товар самый английский!» Ее немедленно узнали. Взгляды посетителей устремлены в их сторону, по пятам почтительно следует стайка студентов и курсисток – на лицах смятение, изумленный восторг. Кто-то, не выдержав, выкрикивает с чувством: «Виват Кшесинской!» Молодежь дружно аплодирует.

Улыбаясь, она посылает в сторону поклонников воздушный поцелуй. Слава, ничего не поделаешь…

Выбравшись наружу, они идут некоторое время пешком. Улица вся сплошь в горбатых, под окна первых этажей, сугробах, хрумкает под подошвами грязно-коричневый мерзлый наст, ледяные наросты на вывесках. У тянущего рядом сани ее любимца, каракового жеребца в упряжке – гирлянда блестящих сосулек на волосатой чудной морде, белый пар из ноздрей. Замечательно чувствовать себя свободной от дел, двигаться бездумно вдоль нарядных витрин – в котиковой шубке с горностаевыми шапочкой и муфтой, французских ботиночках, раскланиваться со знакомыми, ловить устремленные на тебя взгляды мужчин. Ей приходит в голову мысль посетить один из книжных магазинов на противоположной стороне Невского, купить новый роман Нагродской «Гнев Диониса», о котором столько говорят, но Маня категорически против, машет варежкой Николаю остановиться: все! прогулка окончена, пора домой! – не дай бог схватить в ее положении простуду. Нагродская подождет.

Все невероятно озабочены ее беременностью, суетятся сверх меры: и домашний врач, и Маня, и родители, и Сергей с Андреем, а ей смешно, она себя прекрасно чувствует – репетирует как

прежде, дважды в неделю выступает, не ограничивает себя ни в чем.

Расцвет ее женственности совпал по времени со зрелостью профессиональной. Она испытывает на сцене ни с чем не сравнимое чувство свободы – техническая сторона танца, грамматика поз и движений отошли на задний план, сделались чем-то само собой разумеющимся, как дыхание, слух. Ей комфортно, радостно, легко с собственным послушным телом: не надо держать в уме танцевальную фразу, отсчитывать такты, думать в момент исполнения, как бы ни переплелись случайно узелки, с помощью которых ты вяжешь кружево вариаций: узор складывается непроизвольно, словно бы сам по себе – настроением, силой игры, накалом испытываемых тобою чувств. Профессионально-наживное, вобравшее артистическую и человеческую ее индивидуальность, превратилось в феномен: танец Кшесинской.

Его называли по-разному. «Образцово классицистским», «академическим», «имперским», «русским ампиром». За терминологией пропадала ее поразительная техника, неуловимая изюминка стиля, особая, присущая только ей аранжировка пластики, которую впоследствии называли колоратурной, то «лица необщим выраженье», благодаря которому в короткий миг различаешь среди высыпавших на помост балерин истинную звезду. Долго не признававший Кшесинскую балетный критик Аким Волынский написал однажды, посмотрев ее Китри-Дульсинею в «Дон Кихоте»:

«От вычурно кричащих линий ее демонического искусства веет иногда морозным холодком. Но временами богатая техника артистки кажется чудом настоящего и притом высокого искусства. В такие минуты публика разражается неистовыми аплодисментами, воплями сумасшедшего восторга. А черноглазая дьяволица балета без конца повторяет под «браво» всего зала свои невиданные фигуры, свой ослепительно прекрасный диагональный танец через сцену».

Звучали, впрочем, в ее адрес и иные эпитеты. Кшесинскую упрекали за художественный консерватизм, нечуткость к новым веяниям. Люто ненавидевший прима-балерину очередной директор императорских театров Владимир Аркадьевич Теляковский, в прошлом – выпускник Академии генштаба, кавалерийский полковник, называл ее стиль торжеством вульгарной пошлости, вызовом общественному приличию. В опубликованных им записках в негодующем тоне говорится о ее коротком костюме, толстых развороченных ногах и раскрытых руках, выражающих «полное самодовольство, призыв публики в

объятия».

На пятом месяце беременности она все еще танцует: в «Дочери фараона», «Коньке-Горбунке», «Пахите», «Спящей красавице» (вершине своего исполнительского мастерства), «Эсмеральде», «Дон Кихоте». Давно пора перевести дыхание, но, вот, поди ж ты: именно в феврале, накануне Великого Поста, в Эрмитаже ставятся для членов императорской фамилии и приглашенных Двором высоких особ камерные балеты и небольшие развлекательные пьески. Такое событие да без нее? Ни в коем случае!

Имя Кшесинской – на свежей афише: роль Камарго в мини-балете Делиба «Ученики господина Дюпрэ». В первом действии она в костюме субретки, во втором в тюниках. Искуснейший Бакст сделал все возможное, чтобы скрыть ее полноту: на ней переливающийся блестками прелестный костюм, усыпанный розовыми цветами, прическа в стиле женских портретов Брюллова. Смелость города берет. (В.А. Теляковский замечает в дневниковой записи от 3 января 1902 года: «Лаппа сообщил мне, что Кшесинская сама рассказывает, что она беременна; желая продолжать все же танцевать, она некоторые части балета переделала, чтобы избежать рискованных движений».)

«Сцена, – вспоминает она сама про авантюрный свой поступок, – была близка от кресел первого ряда, где сидели Государь с Императрицей и членами Императорской фамилии, и мне пришлось очень тщательно обдумать все мои повороты, чтобы не бросалась в глаза моя изменившаяся фигура, что можно было бы заметить лишь в профиль». Как глядится в профиль ее фигура с остальных рядов, Кшесинскую по-видимому не волновало.

В тяжелых родах, едва не стоивших ей и ребенку жизни, она производит 18 июня 1902 года на свет мальчика. По собственному признанию, от молодого любовника. В церковных метриках, однако, крещенный по православному обряду маленький Володя получает отчество «Сергеевич» – по имени любовника старшего, а фамилию и вовсе неожиданную – «Красинский», принадлежавшую, как помним, сомнительным польским предкам Кшесинских.

Делящие ее между собой сиятельные дядя и племянник к рождению младенца отнеслись по-разному. Двадцатидвухлетний на тот период времени великий князь Андрей Владимирович из-за боязни конфликта с родителями отцовство свое не афиширует. Оттесненный на второй план великий князь Сергей Михайлович, напротив, всячески на эту роль претендует. Привязанная к тому и другому Кшесинская старается сохранить колеблемый статус-кво,

удержать рядом обоих покровителей. Измученная трудными родами, медленно возвращаясь к жизни, она многое успела передумать о судьбе своего ребенка. Приблудным, незаконнорожденным, бесправным, поклялась она себе, ее Вовочка никогда не будет. Говорят, плетью обуха не перешибешь. Поглядим! Дай только срок, она докажет обратное.

Не оправившись полностью от родов, она снова на сцене – танцует в парадном спектакле в Петергофе, готовится со своим партнером Николаем Легатом и Любой Егоровой к гастрольной поездке в Вену, куда приглашена для участия в двух балетах: «Коппелии» и «Эксцельсиоре». Нельзя ни в коем случае допустить, чтобы о тебе забыли, театральный успех не терпит передышки – зрительскую любовь следует держать на постоянном огне.

Она уже перешагнула роковой для балерины тридцатилетний рубеж. Все явственней за спиной учащенное дыхание молодых соперниц. Ждут в нетерпении своего часа, кусают исподтишка за пятки. В числе главных интриганок – поверить невозможно! – любимейшая из подруг, с училищных еще времен, Ольга Преображенская… Оляшенька, «рыжик». Пригрела змею на груди! Дня не могли прожить друг без дружки. Снюхалась с лютыми ее недоброжелателями, сплетни нелепые распускает. Диву даешься, как скоро люди забывают добро, платят за него черной неблагодарностью. Та же Аннушка Павлова, кстати. Уж чего, кажется, для нее ни делала: и опекала всячески, домой не раз приглашала, с нужными людьми знакомила. Уходя в отпуск по родам, уговорила Петипа передать ей свой балет «Баядерка», помогала освоить роль, делилась секретами, а потом прочла в газетном интервью, что успехом в «Баядерке» та, оказывается, обязана исключительно педагогу класса усовершенствования Евгении Павловне Соколовой. О ней – ни полсловечка. Благородно очень…

Взаимоотношения людей театра – тот же театр, тут сам черт ногу сломит. Кто в действительности против кого интриговал, на чьей стороне правда, – утверждать без риска ошибиться невозможно. Подножки одна другой ставили едва ли не все. Сильные – демонстративно, чувствительно, слабые – укольчиками, из-за угла. Кшесинская, вне всякого сомнения, могла дать по этой части сто очков вперед любому. Что не мешало ей считать себя почти всегда страдательной стороной. Обращаясь к ее «Воспоминаниям», видишь сплошь и рядом, как искусно выгораживает она в сомнительных ситуациях собственную персону: умалчивает об одних фактах, вольно переиначивает другие – непременно в личную пользу. Что поделаешь, редкие люди способны на трезвую самооценку,

психика наша ориентированна на самооправдание – никто не скажет о себе: я дурной человек. В особенности актриса, звезда балета.

В чем никак, однако, нельзя ее упрекнуть, так это в зависти к чужому таланту. Реагируя, мелочно, по-бабьи, на ничтожные выпады со стороны задравших носики юных дарований Мариинки: Павловой, Карсавиной, Трефиловой, она не перестает ими восхищаться, помогает, дружит, оказывает покровительство. Трудно пробивавшая себе дорогу на сцене будущая звезда мирового балета Тамара Карсавина вспоминает в книге мемуаров «Театральная улица»:

«В годы учения я восхищалась Матильдой и хранила, как сокровище, оброненную ею шпильку. Теперь я воспринимала каждое сказанное ею слово как закон. С самого начала она проявляла ко мне большую доброту. Однажды осенью, в первый сезон моей работы в театре, она прислала мне приглашение провести выходные дни в ее загородном доме в Стрельне. «Не трудись брать с собой нарядные платья, – писала она, – у нас здесь по-деревенски. Я пришлю за тобой». Мысль о скромности моего гардероба сильно беспокоила меня. Матильда, по-видимому, догадалась об этом. Она подумала и о том, что я не знаю в лицо ее секретаря, поэтому приехала за мной на станцию сама. У нее гостила небольшая группа друзей. В роли хозяйки Матильда была на высоте. У нее был большой сад неподалеку от побережья. В загоне жило несколько коз, одна из них, любимица, выходившая на сцену в «Эсмеральде», ходила за Матильдой словно собачка. Весь день Матильда не отпускала меня от себя, оказывая бесчисленные знаки внимания. За обедом она заметила мое смущение – мне не хватило ловкости, чтобы разрезать бекаса в желе, и, забирая мою тарелку, сказала:

– Пустяки! У тебя будет достаточно времени, чтобы овладеть всеми этими премудростями.

У меня создалось впечатление, что все окружающие подпадали под обаяние ее жизнерадостной и добродушной натуры. Но даже я при всей своей наивности понимала, что окружавшие ее лизоблюды источали немало лести. И это вполне объяснимо, принимая во внимание то положение, которое занимала знаменитая танцовщица, богатая и влиятельная. Зависть и сплетни постоянно следовали за ней. Весь тот день меня не покидало чувство недоумения – неужели эта очаровательная женщина и есть та самая ужасная Кшесинская, которую называли бессовестной интриганкой, разрушающей карьеры соперниц. Ее человечность окончательно покорила меня – в ее доброте по отношению ко мне было нечто большее, чем

просто внимание хозяйки к застенчивой девочке, впервые оказавшейся под крышей ее дома. Кто-то, поддразнивая ее на мой счет, бросил:

– Из вас получилась хорошая дуэнья, Малечка.

– Ну и что же, – ответила она. – Тата такая прелесть.

– Если кто-нибудь тебя обидит, приходи прямо ко мне. Я за тебя заступлюсь, – позже сказала она и впоследствии сдержала слово».

Не часто встретишь подобное качество у самовлюбленных натур.

Гастрольные ее спектакли в Вене совпали с приездом в столицу Австро-Венгрии американской танцовщицы Айседоры Дункан, совершавшей свое шумное турне по Европе. Газеты были заполнены статьями о выступлениях на одних и тех же подмостках Королевского театра артисток-антиподов: классической русской балерины Матильды Кшесинской и длинноногой плясуньи из Нового Света, демонстрировавшей на глазах у ошеломленной публики нечто невообразимое, граничащее с непристойностью. Выскакивает на сцену босиком, фактически голая: под полупрозрачным газовым балахоном – ничего. Танцует не ногами, а черт-те чем: торсом, бюстом, заламывает руки, трепещет, неистовствует – под музыку великих композиторов, предназначенную исключительно для концертного исполнения и прослушивания. На вопрос интервьюера, как следует понимать характер ее танца, резко отвечает: «Я ненавижу “танец”! Я выразительница красоты. Я хочу выразить дух музыки. В качестве средства я использую свое тело точно так же, как писатель использует слова. Не называйте меня танцовщицей». Скандал, не иначе!

…Воспользовавшись свободным вечером, она отправилась в компании друзей поглядеть на шокирующую исполнительницу. Сидела в аванложе вместе с Легатом, Егоровой и приехавшим в Вену освещать ее гастрольные спектакли театральным критиком и фельетонистом «Нового времени» Юрием Беляевым (последний без конца что-то строчил в пристроенном на коленях блокноте).

Впечатление было непередаваемым. У нее на глазах варварски, без сожаления сокрушали алтарь ее искусства – академический танец. И это, как ни странно, увлекало! Рослая, крепко сложенная дива в ярко-алом хитоне чуть ниже колен, извиваясь в причудливых позах, изображала нечто не связанное с реалиями жизни – сиюминутное, зыбкое, ускользающее: всполохи чувств, грезы, внезапно вспыхнувшую страсть, телесную радость, восторг, и тут же, сменив воображаемую маску – грусть, тоску, обмирание души… Звучала музыка: «Вакханалии» из

«Тангейзера» Рихарда Штрауса, венский романтический вальс. Дункан, похожая на античную статую, заломив трагически руки, уносилась в немыслимом пируэте к небесам: голова предельно закинута, край газового платья уползает все выше, обнажая ослепительно-белые колени… Кто-то в партере присвистнул от изумления, послышались возмущенные возгласы, шиканье…

Рухнув как подкошенная напоследок у рампы и замерев, исполнительница понеслась за кулисы…

Не понимая, что с ней происходит, Кшесинская вскочила на кресло, захлопала восторженно в ладоши. На нее в недоумении глядели из зала.

– Браво, Дункан! Брависсимо! Бис!!! – кричала она в полный голос.

Об эксцентричной ее выходке сообщили назавтра аршинными заголовками все венские газеты. Беляев, явившись спозаранку в занимаемые ею апартаменты гостиницы «Империаль», чтобы сочинить очередную корреспонденцию, домогался ответа: отчего так восхитили лучшую в мире классическую балерину цирковые антре взбалмошной американки?

– Не понимаю, – с чувством говорил он, – какое вообще отношение эта дама имеет к хореографии? Как можно всерьез относиться к сумасбродным ее идеям, о которых она вещает на каждом шагу, – всем этим ее «центральным пружинам», «экстатическому подъему груди», «непрерывному устремлению ввысь»? Вздор ведь немыслимый!

– Ах, оставьте, пожалуйста, Юра! – не выдержала она наконец. – Что вы такое говорите? Мне нет дела ни до каких ее теорий! Я доверяю своим глазам, чувствам. А они мне говорят, что Дункан гениальна. Я не собираюсь ей подражать, у нас ничего общего. Хореография это или нет, это уж вы, господин эрудит, потрудитесь объяснить. Мне же достаточно того, что она возбуждает мою фантазию, околдовывает, уносит в необыкновенный какой-то мир… – Она поигрывала, лежа на кушетке, кончиками сафьяновых туфелек из-под оборок утреннего платья. – Писать об этом не обязательно… – произнесла задумчиво. – Но вчера в концерте я почему-то вдруг подумала, что проморгала, кажется, что-то важное, перетанцевав десятки балетов. Не до конца что-то постигла… в самой природе танца, его стихии… – Встряхнула головкой, отгоняя невеселые мысли. – Ах, да ладно! – воскликнула. – Какое это, в сущности, имеет теперь значение? Позвоните, если не трудно, вниз: пусть принесут шампанского. И кликните Любу с Николаем. Отпразднуем наш последний вечер в Вене!..

2

Зима тянется бесконечно. За окнами – снежная круговерть, в комнатах сутками не гаснет электричество. Вскочишь как чумовая среди ночи на постели – печная труба завывает под ветром, ставни непереносимо скрипят. Оторопь берет… Настроение – под стать погоде. Нет желания ехать в театр, трястись под вой метели по обезлюдевшим улицам, вновь переодеваться, гримироваться, ждать своего выхода на сцену. Устала от монотонной рутины, мелочных подсидок, зависти. Любое твое движение истолковывают вкривь и вкось, каждое лыко ставят в строку. Добилась – ценой невероятных усилий – прибавки жалованья балеринам: с пяти до восьми тысяч рублей в год. Для нее самой эта прибавка да и, вообще, театральный заработок – звук пустой: не о себе пеклась, о товарках. Спасибо сказали? Как бы не так! Обвинили в скаредности… Надоело все хуже горькой редьки!.. Напрашивалась мысль: покинуть казенную службу. Время идет, оставаться вечно юной на сцене не дано никому. Свойственное ей трезвомыслие подсказывает: предпринять подобный шаг уместнее сегодня. Пока единолично правишь бал…

…Люди рвут друг у друга свежие номера газет. Невероятно! Кшесинская увольняется из театра! Уже назначена дата прощального бенефиса – четвертое февраля, все билеты проданы… Обсудив подробно главную новость, обращаются к напечатанным тут же военным сводкам с Дальнего Востока. Все вроде бы идет нормально: наши производят необходимые какие-то маневры, япошки сопротивляются. Побегут скоро, как пить дать. Кишка тонка – с Россией тягаться…

Затевая небольшую, как тогда думалось, армейскую прогулку к тихоокеанским берегам, власти менее всего руководствовались внешнеполитическими целями: акция целиком была направлена на решение внутренних задач. Необходимо было перед лицом множившихся эксцессов: аграрных волнений, забастовок заводских рабочих, студенческих беспорядков, конституционных требований либералов – усилить патриотические настроения в народе, явить себя достойным образом в глазах общества, стукнуть, проще говоря, кулаком по столу. Ничего лучшего для этого, чем маленькая победоносная война, нельзя было придумать. И мальчик для битья своевременно подвернулся: строившая на дальневосточных рубежах куры великому соседу феодальная, как помнилось Николаю по кругосветному путешествию, безнадежно отставшая от мирового прогресса Япония – с ее рикшами, гейшами, бумажными фонариками и прочей мишурой. «Все-таки это не настоящее войско, – отзывался

он накануне войны о противнике, – и если бы нам пришлось иметь с ним дело, то от них лишь мокро останется». О том, что желтолицые япошки построили на деньги США, Англии и Германии мощный современный флот и перевооружили армию, российский самодержец, похоже, не имел ни малейшего представления.

Все было еще впереди: поражение в Маньчжурии, гибель эскадры кораблей вице-адмирала Рожественского в Цусимском проливе, сдача Порт-Артура, унизительный Портсмутский мир. Верилось, вопреки всему, в счастливую звезду России. Ведь чего только не испытали, чего не выпало на русскую долю! И под Ордой ходили, и поляки лезли, и швед топтал. Выстояли, живем, слава богу. И нынешние беды одолеем. Не впервой!

Петербург, гоня прочь тревогу, наслаждался быстротекущим днем: наполнял театральные залы, веселился на балах, ездил к цыганам, влюблялся в женщин.

Прощальный бенефис Кшесинской пришелся на эту празднично-искусственную эйфорию. Казалось: Зимний дворец и Мариинский театр поменялись на время местами. Слепило глаза от раззолоченных мундиров, бальных туалетов дам, в партере и ложах толпились знаменитости. Перед открытием занавеса заиграли гимн, переполненный зал поднялся в едином порыве, с чувством запел: «Боже, царя храни!» Повеяло на миг старым добрым временем, показалось: мир незыблем, как прежде, трон непоколебим! Над голубым бархатом кресел, мешаясь с ароматами дорогих духов, витал незримо Дух Империи…

Царившая вокруг обстановка необычайно ее воодушевила. «В этот вечер, – вспоминает она, – у меня была сверхъестественная сила».

Счастливчикам, попавшим на бенефисный концерт Кшесинской, довелось увидеть во всем величии балерину «ассолюта» – непререкаемую, абсолютную звезду. По-царски щедро сыпала она к ногам подданных драгоценности из собственной шкатулки: дерзкую напористость туров, россыпь певучих пассажей, акварельно прозрачные, возникающие словно бы из окружающего воздуха лирические адажио с партнером, мастерски запутанные прыжки, двойные и тройные пируэты в разнообразных направлениях. Каждая поза, каждое движение преподносились публике с видимым «нажимом», подчеркнутой зрелищностью, позволяя насладиться одновременно и картиной балета в целом и каждой из составлявших его красок.

Балетоманы заходились в восторге: богиня, иначе не скажешь! О-о, этот ее волшебный «жете-ан-турнан»! О-о, «тур-пике»! А «пас-глиссаж»? А антраша? Заноски? Изумительно,

необыкновенно, шарман!.. Выбранные ею два первых акта из «Тщетной предосторожности» со вставным па-де-де и вторая картина первого действия «Лебединого озера» сопровождались бешеной овацией. По настоянию зрителей она повторила с блеском свои тридцать два «фуэте». На сцену летели букеты цветов, слышались взволнованные крики. Дежурившая у подъезда молодежь выпрягла лошадей из кареты и с веселыми возгласами домчала ее до дома…

Блаженная праздность, покой! Ни тебе расписаний, ни телефонных звонков по поводу неожиданных замен. Рожи Теляковского не видать. Можно, как говаривала матушка, ослабить корсет…

Она прокатилась в Москву на бенефис Кати Гельцер. Получила золотой венок на торжественном обеде у Кюба, данного в ее честь балетоманами (на каждом лепестке – название балета, в котором она принимала участие). Гуляла часами на даче в Стрельне, нянчилась с милым сыночком, принимала друзей.

«В моей домашней жизни я была очень счастлива, – пишет она, – у меня был сын, которого я обожала, я любила Андрея (он ушел из полка, учился в военно-юридической академии. – *Г.С.*), и он меня любил, в них двух была вся моя жизнь. Сергей вел себя бесконечно трогательно, к ребенку относился как к своему и продолжал меня очень баловать»…

Роли звезды на покое ей хватило ровно на один сезон. Все разом вдруг наскучило: визиты, обеды, компаньонши. С ума сойти – каждый день одно и то же!.. Отдыхала как-то после ужина на веранде, листала в меланхолии театральные журналы. Столько событий в мире искусства… Титто Руфо прибыл с гастролями. В частной опере Аксарина – окончание сезона, поют старые друзья: Леонид Собинов, братья Решке. Шаляпин потряс публику своим Олоферном в «Юдифи», Комиссаржевская блистает в «Сестре Беатрисе» Метерлинка, в балетной рубрике – очередной панегирик Безобразова в адрес Анны Павловой…

Она смахнула с колен бумажную кипу, прошла к балюстраде. Над верхушками деревьев дальнего бора догорал нежно-палевый закат. («Чудные какие цвета, – подумала, – хоть картину пиши».) За спиной, в глубине комнат, забили глухо часы: один… два… три… четыре… – она машинально досчитала до восьми… Предстал перед глазами театр: гул наполняемого публикой зала, закулисная суета, рабочие что-то наспех поправляют в декорациях, из оркестра слышны звуки настраиваемых инструментов…

Она кликнула в волнении лакея, приказала подать коляску. Встреченная аплодисментами, неотразимая в небесно-голубом

платье, явилась нежданно-негаданно в ложе. Лорнировала, облокотясь на бархатный барьер, ряды кресел, остановила взгляд на расположенной напротив ложе директора, где светился одиноко набриолиненный пробор Теляковского. Догадливый, не в пример предшественнику, конногвардейский полковник постучал несколько минут спустя в дверь. Разговор их наедине был короток и деловит: оба достаточно хорошо знали друг друга. Теляковский в осторожных выражениях посетовал: касса в отсутствии очаровательной Матильды Феликсовны недобирает положенного, публика по ней соскучилась, это факт. Почему бы не вернуться, в самом деле?

– Я готова возвратиться, но с условиями, – последовал ответ.

Ни о какой официальной службе не может быть и речи, стала она перечислять. Танцевать она будет, когда захочет и сколько захочет. («Как Дункан», – чуть не слетело с языка.)

Теляковский беспокойно ерзал в кресле.

– Позвольте, многоуважаемая Матильда Феликсовна, – протянул, – но это ведь… – Она не дала ему закончить.

– Да, да, да! – сказала твердо. – Именно так: гастролерша без контракта! Никакая бумага не может меня связать и никакая неустойка не запугает. – Она чуть смягчила тон: – Вы знаете мою обязательность: театр я никогда не подводила и не подведу. Гарантией моей будет слово артистки…

Оба напряженно глядели друг на друга.

«Дрянь! – говорили его глаза. – Ну, ты и дрянь!» (Случалось, полковник употреблял выражения и похлеще.)

«Никуда, чурбан, не денешься…» – сквозила на ее губах чуть заметная улыбка.

Прозвенел в третий раз звонок, погасли огни в зале. Теляковский рывком поднялся на ноги.

– Не скрою: я разочарован… Будем, однако, считать договор состоявшимся… – Руки он ей не поцеловал. – Ваш покорный слуга, Матильда Феликсовна!

Не переводя дыхания она ринулась в работу. Шли чередой бенефисы: А. Ширяева, Г. Гримальди, московского кордебалета, спектакли в пользу престарелых артистов, помощи голодающим, погорельцам, пострадавшим от эпидемии холеры – всюду она поспевала, каждый раз появление ее на подмостках становилось событием, вызывало шумные толки, подробно освещалось прессой.

«Умеет чертова полячка создать вокруг себя ажиотаж», – неохотно признавался Теляковский.

С возвращением ее в театр вспыхнули с новой силой незатихавшие закулисные битвы. Само присутствие Кшесинской

особенным каким-то образом добавляло в атмосферу электричества. Перестраивались в спешном порядке враждующие станы, бушевали страсти вокруг «личных» балетов примадонны, передаваемых другим исполнительницам только с ее согласия, витал повсеместно дух состязательства. Зритель валом валил в театр, в кассах снова был аншлаг.

Главное представление, однако, ожидало публику не на театральных подмостках – на улице: грянуло 9-е января 1905 года.

Она была живой свидетельницей события, вошедшего в историю под названием «кровавое воскресенье», наблюдала его с близкого расстояния, почти в упор. Тщетно, однако, искать в ее воспоминаниях стереотипно-канонического описания случившегося: мирного шествия рабочих во главе со священником Г. Гапоном к Зимнему дворцу с петицией к царю-заступнику (заблаговременно укатившему от греха подальше в Царское Село), картин расстрела демонстрантов войсками и полицией, трупов мужчин и женщин на окровавленном снегу.

«Девятого января 1905 года, – пишет она, – произошло выступление Гапона. В этот день был чей-то бенефис, и я была с родителями в ложе. Настроение было очень тревожное, и до окончания спектакля я решила отвезти своих родителей домой. В этот вечер Вера Трефилова устраивала у себя большой ужин, на который я была приглашена. Надо представить себе, как она была бы расстроена, если бы в последнюю минуту никто не приехал к ней. На улицах было неспокойно, повсюду ходили военные патрули, и ездить ночью было жутко, но я на ужин поехала и благополучно вернулась домой. Мы потом видели Гапона в Монте-Карло, где он играл в рулетку со своим телохранителем».

Для балерины-монархистки, как и для подавляющего большинства людей ее круга, причина случившегося крылась в самих рабочих, послушавшихся попа-провокатора и тех, кто стоял за его спиной. Помилуйте, разве можно вести подобным образом диалог с властью! Эти самые мастеровые ломали, оказывается, на своем пути заборы, опрокидывали телеграфные столбы, баррикады возводили поперек улиц, поджигали киоски, грабили винные лавки. Кухарка, вернувшаяся с пустой корзиной с Сенной площади, видела собственными глазами, как нещадно избивали городовых, шашки из ножен вырывали, револьверы. Кто в действительности в злополучный тот день стрелял и в кого, это еще надо доказать. А то, что житья никакого не стало от невозможных этих людей – факт! Гунны какие-то…

Сказанное выше не свидетельствует вовсе, что коллектив

Мариинки остался подобно ей безучастным к революционным брожениям того времени. Вот как описывает умонастроения балетной труппы и общую обстановку в театре тех дней Тамара Карсавина:

«Осень 1905 года, осень, когда была осуществлена попытка революционного переворота, я до сих пор вспоминаю как кошмар. Жестокий октябрьский ветер с моря, холод, слякоть, зловещая тишина. Уже несколько дней не ходили трамваи. Забастовка стремительно охватывала все новые предприятия. С тяжелым сердцем возвращалась я поздно вечером с политического митинга, который мы, артисты, устроили в тот день. Я шла окольным путем, чтобы избежать пикетов. Мои тонкие туфли промокли, ноги онемели от холода, мысли путались. То, что мы, артисты, такие консервативные в душе, настолько преданные двору, скромной частью которого мы себя ощущали, поддались эпидемии митингов и резолюций, казалось мне изменой. Митинги устраивались повсюду; самоуправление, свобода слова, свобода совести, свобода печати – даже школьники принимали подобные резолюции. С полным сознанием дела (хотя у меня есть основания сомневаться в этом) или следуя за несколькими вожаками, наша труппа тоже выдвинула ряд требований и избрала двенадцать делегатов, чтобы вести переговоры. Среди них оказались Фокин, Павлова и я. Нашим председателем был танцовщик кордебалета и одновременно студент университета, человек честный, но ограниченный.

В ту ночь во всем городе погас свет. Я ощупью поднялась по лестнице; наша квартира была, как всегда, освещена керосиновыми лампами. Мама встретила меня довольно агрессивно, она была против моего участия в митинге.

– Не доведут тебя до добра эти митинги, попомни мое слово.

– Дай же ребенку сначала рассказать, что произошло, – вмешался отец, стремившийся примирить нас, дав мне возможность высказаться.

Стараясь по возможности подробно передавать речи ораторов, я объяснила, что было принято решение «поднять уровень искусства на должную высоту».

– Ну и как же вы намерены поднимать его? – задала вопрос мама, сбросив меня с неба на землю.

Во время митинга я сама не могла понять, каким образом выиграет искусство, если мы добьемся самоуправления. Я не только не испытывала полной уверенности в правильности наших мотивов, но всей моей любви к театру, его атмосфере, верности нашему воспитанию была нанесена глубокая рана. Во время митинга у меня возникло ощущение, будто замышляется какое-то

святотатство, но дар речи покинул меня. В итоге, проявив малодушие, я подчинилась желаниям остальных. А теперь, словно повторяя заученный урок, я твердила своим домашним, что мы намерены потребовать право на самоуправление, право избрать свой комитет, который станет решать как вопросы творчества, так и вопросы распределения жалованья. Мы намерены покончить с бюрократизмом в организационных делах. Мои слова даже мне самой казались пустыми и бессодержательными.

– Итак, ты выступаешь против императора, который дал тебе образование, положение, средства к существованию. И нечего поднимать какие-то там уровни. Ты поднимешь искусство на высокий уровень, если станешь великой актрисой, – заявила мама.

Она была готова использовать свой родительский авторитет и запретить мне покидать дом, пока все не успокоится. Но тут вмешался Лев. Хотя, по его мнению, все это было глупостью, но тем не менее он считал, что я должна была оставаться с друзьями до конца.

– Ты же не хочешь, чтобы она предала своих товарищей, – сказал он матери. – Где же твои принципы?

Услышав подобный аргумент, бедная либералка-мамочка вынуждена была замолчать. Отец считал, что нужно выиграть время и сделать вид, будто я заболела. Я решила идти до конца, но чувствовала себя несчастной.

Резолюция митинга вырабатывалась на квартире у Фокина. Мне показалось, что привратник, стоявший у парадной двери, бросил на меня неодобрительный взгляд – ни приветствия, ни фамильярной, но в то же время уважительной болтовни, которая составляла кодекс bienseance (приличие) у людей подобного рода. Слегка наигранная веселость присутствующих внушила мне некоторое облегчение; я была почти готова поверить, что правда на их стороне. Мне пришло в голову, что они не стали бы рисковать, не имея на то важных причин; и причиной, очевидно, была справедливость требований. Я продолжала так думать до тех пор, пока не стали обсуждать требование поднять нам жалованье, мне оно показалось отвратительным, сильно напоминающим шантаж. Я все еще верила, что смогу предостеречь товарищей от неверного поступка, и я отозвала Фокина, чтобы поговорить с ним с глазу на глаз. Мы вышли на площадку лестницы. Там, с трудом подбирая слова, чувствуя себя униженной оттого, что он может заподозрить меня в отступничестве, я поделилась с ним своими сомнениями. Он внимательно выслушал меня. Он никак не развеял моих сомнений, но в силе его веры, в пафосе его слов я почувствовала

большую искренность.

– Что бы ни случилось, – так закончил он, взяв меня за руку, – я всегда буду благодарен вам за то, что в критическую минуту вы встали рядом со мной.

Один за другим приходили опоздавшие, принося свежие новости: остановились железные дороги; чтобы предотвратить митинг рабочих на Васильевском острове, развели мосты. Фокин снял трубку, чтобы проверить, работает ли телефон, коммутатор молчал. Он продолжал слушать.

– Помехи на линии… Обрывки разговоров… какая-то неразбериха… Больше ничего не слышно.

Два молоденьких танцовщика, почти мальчики, прибежали раскрасневшиеся и возбужденные; они вызвались быть «разведчиками». Их искреннее восхищение нашими действиями не позволяло им сохранять спокойствие.

– Мы видели на улице сыщиков, – взволнованно заговорили они, перебивая друг друга, – наверняка это сыщики: оба в гороховых пальто, а на ногах галоши.

Во все времена было нетрудно определить агентов нашей тайной полиции – галоши, которые они носили в любую погоду, стали объектом всеобщих шуток.

По сведениям «разведчиков», в Александрийском театре собирались прервать спектакль, чтобы актеры могли со сцены обратиться к зрителям. Весь день прошел в волнении, устроили импровизированный обед, а вечером решили отправиться в Александрийский театр, чтобы иметь возможность действовать сообща с драматическими артистами. Там шел обычный спектакль. Режиссер Карпов отвел нас в комнатку за сценой, где хранился реквизит для спектаклей на всю неделю, так что она была завалена сценическими принадлежностями: портретами предков, алебардами, шлемами и мебелью, но никого там не было. Карпов достал для меня курульное кресло древних римлян, а сам отошел к веерообразному окну.

– Драматические артисты будут бастовать до тех пор, пока не удовлетворят все их требования, – быстро проговорил он, посматривая на часы.

Раздался звонок, и он поспешил на сцену, бросив на ходу:

– Помните, мы боремся за почетную свободу. Еще совсем недавно русский актер был рабом. Теперь настал подходящий момент. Там, наверху, давайте небо!

Последняя фраза была адресована рабочим сцены.

На следующий день мы должны были подать свою резолюцию начальству. Придя в назначенный час, я встретилась со своими друзьями-делегатами, расхаживающими взад и вперед по

Театральной улице. Пришедший первым нашел дверь вестибюля запертой, находившийся внутри швейцар Андрей отказался ее открыть. Нас это возмутило. Когда все собрались, мы отправились в контору. Теляковский был в Москве, и нас принял его управляющий. Он с огорченным видом выслушал речь нашего председателя. Бывший офицер, он щелкнул каблуками, сухо поклонился и без каких-либо комментариев заявил, что резолюция нашей труппы будет вручена его превосходительству тотчас же после его возвращения из Москвы. На этом аудиенция закончилась.

Следующим нашим шагом была попытка сорвать утренний спектакль в Мариинском театре. Давали «Пиковую даму», где были заняты многие артисты балета. Моя обязанность состояла в том, чтобы обойти женские артистические уборные и уговорить танцовщиц не выступать. Подобная задача была мне неприятна, и мои речи, по-видимому, оказались не слишком убедительными. Несколько танцовщиц покинули театр, но большинство отказались участвовать в забастовке. В течение нескольких следующих дней до нашего сведения довели циркуляр министра двора: наши действия рассматривались как нарушение дисциплины; тем, кто желал остаться лояльным, предлагалось подписать декларацию. Большинство артистов подписали ее, поставив нас, своих делегатов, в затруднительное положение. Теперь мы уже никого не представляли, но продолжали собираться то у Фокина, то у Павловой.

– Ну что, доигрались, – сказала мама однажды вечером. – Вы больше не члены труппы.

Она, как всегда, почерпнула информацию у Облаковых. Я считала, что она права, хотя мы и не получили никакого официального уведомления.

В городе происходили более тревожные, события, чем мятеж нескольких актеров. 16 октября во время массового митинга, состоявшегося на Васильевском острове, была провозглашена республика. Что принесет завтрашний день – аресты или революцию, никто не осмеливался предположить. В тот день мы все двенадцать собрались как обычно. В эти дни мы старались держаться вместе – так было легче переносить неизвестность. Вдруг позвонили в дверь. Фокин пошел открывать. Через несколько мгновений он, шатаясь, вернулся в комнату.

– Сергей перерезал себе горло, – сказал он и разрыдался.

Сергей Легат против воли вынужден был подписать декларацию. Будучи человеком чести, он ощущал себя предателем: «Я поступил как Иуда по отношению к своим друзьям».

В ту же ночь он стал бредить и кричал:

– Мария, какой грех будет меньшим в глазах Господа Бога – если я убью тебя или себя?

Утром его нашли с перерезанным бритвой горлом.

17 октября был издан Манифест об учреждении Государственной думы. В нем объявлялась амнистия всем забастовщикам. В течение нескольких дней жизнь вернулась в нормальное русло, и наша бесславная эпопея закончилась отеческим увещанием. Теляковский вызвал к себе делегатов и снял с нас бремя вины за резолюцию, но подчеркнул, что попытка забастовки явилась актом вопиющего нарушения дисциплины и мы заслуживали бы самого строгого наказания, если бы не амнистия. Он мягко осудил поведение труппы, указав на то, что артисты и без того находятся в привилегированном положении – они получают бесплатное образование и обеспечены до конца жизни; неужели забастовка – это наша благодарность за все полученные благодеяния?

Среди артистов, принявших активное участие в кратковременном мятеже, распространялись смутные слухи о том, что якобы дирекция втайне готовит репрессии против участников октябрьских событий. Однако карьера, сделанная впоследствии Павловой, Фокиным, да и мной, отчетливо показала, что у Теляковского никогда не было подобных намерений. В течение какого-то времени ощущался некоторый антагонизм между двумя фракциями, на которые распалась труппа, но вскоре он исчез. Похороны Сергея объединили нас в общем горе».

3

Словно бы почуяв в воздухе пороховую гарь, в Петербург три недели спустя примчалась с новым любовником, английским режиссером Гордоном Крэгом, мятежная Дункан. Якшавшаяся с радикалами, дочь свободолюбивой Америки открыто выражала в разговорах негодование убийством людей, чья вина заключалась единственно в невозможности прокормить голодные семьи. «Ведет себя вызывающе, допускает возмутительные выпады в адрес властей», – говорилось в рапорте столичного градоначальника генерал-адъютанта В. Дедюлина департаменту полиции. («Чорт с ней, позубоскалит и уедет», – начертана была сверху резолюция.)

Прибывшая с кратковременными гастролями Дункан пожелала в свободное время посетить императорское балетное училище, покататься на санях по замерзшей Неве и

познакомиться с очаровательной Матильдой Кшесинской, которую уже успела посмотреть в «Лебедином озере».

– По-моему, она необыкновенна! Похожа более на прекрасную птицу или бабочку, чем на человеческое существо.

С первого взгляда они почувствовали взаимную симпатию. От Дункан исходила необыкновенная какая-то энергия: мимика ее, жестикуляция во время разговора были наполнены страстью, напоминали сценические движения.

Она уговорила милую Кшесинскую сопровождать ее в училище балета.

– Вы ведь его выпускница, не так ли? У меня с некоторых пор мечта: открыть собственную школу танца. Пока для девочек. С шалунами-мальчишками мне, пожалуй, не справиться… – Она задумалась на мгновенье. – А вообще-то… У мужского танца, по-моему, замечательное будущее. Если б нашелся мужчина, который умел хорошо танцевать, то такой мужчина был бы богом!

– Один такой у нас есть, – заметила Кшесинская, – правда, совсем-совсем еще неоперившийся…

– Правда? – Дункан приподняла выразительно брови. – Представьте мне его, хорошо? Как его имя?

– Нижинский.

– Он что, поляк?

– Поляк.

– Кшесинская, Нижинский, Теляковский, – она весело рассмеялась. – А еще говорят, что Россия закабалила Польшу!

Училище произвело на нее удручающее впечатление. Монастырские глухие стены, узкие коридоры, одинаково одетые и причесанные воспитанницы в окружении чопорных классных дам. «Там я увидела всех маленьких учеников, построенных рядами, – напишет она впоследствии. – Они часами стояли на пальцах, похожие на многочисленных жертв жестокой инквизиции, в которой не было никакой необходимости. Огромные пустые танцевальные залы походили на камеры пыток».

Скрестив на груди руки, с непроницаемым лицом, следила она за однообразной муштрой перед зеркальной стенкой, бросала выразительные взгляды на Кшесинскую.

Наспех попрощавшись с училищной свитой, они нырнули одна за другой в санную тройку.

– У-уф!

Откинувшись блаженно на спинку сиденья, Дункан полуобняла Кшесинскую.

– Вам не понравилось, – произнесла та с сожалением. – Я видела: вы мучились…

– Дорогая моя, но это же казарма! – воскликнула

американка. – Не могу поверить, что вы провели в ней десять лет!

– Счастливейших лет! – парировала она. – Без этой, как вы выразились, «казармы» я не была бы сегодня тем, кто я есть!

Она с запальчивостью принялась защищать родное училище. Всю дорогу до гостиницы они проспорили.

Прощаясь на ступенях «Континенталя», Дункан прижала ее к себе, поцеловала страстно в губы.

– Я в вас влюбилась… – шепнула жарко. – Не сердитесь на меня, хорошо?

Необузданный ее темперамент требовал очередной жертвы. За время непродолжительных гастролей в России она пыталась соблазнить невиннейшего Станиславского, поэта Михаила Кузмина. Неизвестно, удалось ли ей добиться в тот раз взаимности со стороны искушенной в лесбийстве русской «бабочки», а вот с Петербургом – это точно – любви у Дункан не получилось.

Накануне ее приезда российская пресса, в особенности музыкальные журналы, открыли против гастролерши массированную атаку.

«Является непрошенной гостьей в мир музыки, – негодовал в одной из статей Николай Римский-Корсаков, – включает свое искусство в музыкальные сочинения, авторы которых вовсе не нуждаются в ее компании; да разве ж она когда-нибудь с этим считалась?

Брань, как известно, лучшая из реклам. Зал Дворянского собрания, где она давала «Бетховенский вечер», только что триумфально прошедший в Париже и Берлине, штурмовала возбужденная толпа. Рябило в глазах от обилия знаменитостей: писатели, редакторы газет, прославленные артисты, цвет адвокатуры, дипломаты. Явился даже по-детски улыбчивый критик Дмитрий Стасов, отказывавший балету в праве называться искусством. Обстановка была накалена до предела. Дирижер Петербургского симфонического оркестра Леопольд Ауэр, считавший эксперименты Дункан с музыкальной классикой святотатством, отказывался глядеть на сцену, где измывалась над высоким искусством полуголая блудница, вел партитуру Седьмой симфонии Бетховена «вслепую». Публика шикала, свистела, топала ногами, некоторые демонстративно поднимались с кресел и уходили.

Дункан не выдержала. «Центральная пружина» словно бы выпала из обмякшего ее тела, она выглядела потерянной, механически-безжизненно, подобно крэговской театральной марионетке, дотягивала до конца свой потускневший, вымученный танец…

– Варвары! Такую артистку унизить!

Выпивший уже немало Фокин никак не мог успокоиться.

– Болото, а не театр! Тиной по уши заросли, а туда же – искусство судят! Гоголевские кувшинные рыла! Мир вокруг изменился, а им все пасторальные картинки подавай с амурами и земфирами!

– Го-осподи, Миша, – постукивала пальчиком по диванной спинке синеглазая смуглянка Карсавина, – ну, что вы об одном и том же, в самом деле! Мало ли чего не случается на сцене? Ну, не понравилась нынче ваша Дункан публике, что с того? С нами разве подобного не бывает? Понравится в другой раз. И вообще… Невежливо в обществе двух очаровательных женщин восторгаться посторонней. Правда, Малюша?..

Они сидели втроем в «Дононе» на набережной Мойки – возбужденный Фокин, желая излить душу, завез их после концерта в ближайший по пути ресторан, считавшийся одним из прибежищ уличных проституток. Размалеванные девицы маячили за окнами на тротуаре, некоторые сидели в обществе мужчин за соседними столиками, дымили папиросами. Вокруг было шумно, носились очумело с подносами половые.

– Да не в этом вовсе дело, Таточка! – восклицал Фокин. – Понравилась, не понравилась… Этих господ страшит любая новизна на танцевальном помосте. Их девиз: все должно оставаться как при царе Горохе…

– А кто-то, говорят, по музеям ходит, – Кшесинская меланхолично потягивала из бокала, – античные позы с ваз и рельефов срисовывает…

– Браво! – захлопала в ладоши Карсавина. – Получили, Мишель?

Между ней и Фокиным, кажется, намечался флирт – оба с удовольствием друг друга задирали.

– Ничего не получил! – парировал тот. – Мы не до конца еще оценили, милые дамы, античную пластику. У греков и римлян гармоничные движения были в крови. Возьмите их сатурналии, гладиаторские бои, диспуты трибунов, спортивные состязания. Во всем – ритмика, поза, жест, танец по существу. Бери и переноси на сцену… Дункан это замечательно подметила. Я ей по гроб жизни обязан за урок…

– Какой вы у нас умненький, Мишенька, – притворно вздохнула Карсавина.

– Скорее, Иванушка-дурачок. Вечно лезу на рожон.

Он снова принялся бичевать ретроградов, противящихся любому дуновению свежего ветра на балетной сцене.

– Всюду им видится революция! Даже в цвете панталон под юбкой танцовщицы…

Кшесинская с Карсавиной дружно рассмеялись. Ретрограды с некоторых пор стали постоянным объектом фокинских нападок: честолюбивый молодой танцовщик метил в хореографы, теснил мало-помалу, пользуясь поддержкой Дягилева и его окружения из нового журнала «Мир искусства», балетмейстеров-ветеранов.

Главный огонь своей критики Фокин обратил на Петипа: не сокрушив скалы имперского балета, ни о каких новациях нечего было и мечтать.

Скала к тому времени уже не казалась монолитом: иссеклась трещинами, крошилась под ударами житейских волн. Патриарху русского классического балета шел восемьдесят седьмой год. Жизнь его и творчество были на излете. Выросли, покинули родное гнездо дети: четыре дочери танцевали в балете, четверо сыновей (симметрия – во всем!) стали драматическими актерами. Не осталось рядом старых друзей – ушли в небытие Христиан Иогансон, Левушка Иванов. Молодежь его сторонилась и не понимала, начальство вежливо терпело. Теляковский, относившийся к маэстро как к больному человеку, чье творчество нельзя воспринимать всерьез, называл за глаза взяточником и «старой шляпой». В опубликованных его «Дневниках директора императорских театров» фигурирует запись: «Петипа не может успокоиться. Этот старый, злой старикашка не может простить Горскому, что он сделан балетмейстером, и потому всякую постановку Горского он ругает. Ругает при артистах на сцене и в публике и тем поселяет раздор среди молодежи. Хотя никто серьезно не смотрит на этого выжившего из ума старика, тем не менее его присутствие в балете приносит лишь один вред делу, и в последние года балет в Петербурге не улучшается, а ухудшается. К тому же Петипа все забывает и врет как сивый мерин, а потому с ним совсем нельзя иметь серьезного дела».

Сам Петипа поверяет в это время бумаге собственные переживания:

«В театре репетируют «Спящую красавицу», я на репетицию не иду. Меня не уведомляют. Моя прекрасная артистическая карьера закончена. Пятьдесят семь лет службы. А у меня хватает еще сил поработать».

Ему хочется создать под занавес нечто грандиозное, феерическое. Чтобы сосунки-балетмейстеры с их завиральными идеями и покровительствующий им директор-солдафон рты поразевали. С юношеским вдохновением принимается он за сочинение балета «Волшебное зеркало» по мотивам сказок Пушкина и братьев Гримм. Придумывает в содружестве с И.А.

Всеволожским либретто, написание музыки по совету Александра Глазунова поручает композитору и пианисту-виртуозу А. Корещенко, декорации – только что принятому в театр на должность художника-практиканта Н. Головину.

Работа с самого начала не клеится, все идет вкривь и вкось. «Приезжаю в театр, – записывает Петипа 30 января 1903 года. – Мне говорят, оркестра не будет. Пришлось репетировать под рояль». Запись следующего дня: «Провожу репетицию с оркестром до 6-й картины без декорации, без ничего. Всю ночь не спал». Запись от 8 февраля: «Утром генеральная репетиция всего балета «Волшебное зеркало». Все никуда не годится, все плоско, декорации – просто ужас. Вот несчастье для балета!»

Во время генеральной репетиции вынесенное на сцену исполинское зеркало, в которое должна была глядеться по сюжету злая мачеха героини («Свет мой зеркальце, скажи да всю правду расскажи!»), неожиданно трескается, из него серебряными струйками течет ртуть. Петипа потрясен. В случившемся он усматривает знак судьбы. Как покажет премьерный вечер следующего дня – не зря.

Бенефис великого мастера завершился провалом. Не помогло участие балетной элиты: Матильды Кшесинской, Марии Петипа, Сергея Легата, Анны Павловой, Михаила Фокина. В зале во время представления громко смеялись, топали ногами, свистели.

«Публика недоумевала, слушая в течение 4 часов поразительную по бездарности музыку г. Корещенко и смотря на ряд уродливых, размалеванных декораций, на которые «декадентская» кисть г. Головина наложила неотразимую печать художественного безобразия», – писал в балетной рубрике журнала «Театр и искусство» рецензент Н. Федоров.

Еще резче высказался о «Волшебном зеркале» С. Дягилев:

«Вина провала балета не в декорациях и даже не в неудачной, тяжелой музыке… Она в самой затее постановки этого никому не нужного, скучного, длинного, сложного и претенциозного балета».

После двух представлений – одного в 1903 году, другого на следующий год – «Волшебное зеркало» было снято с репертуара…

… – От вас, Малечка, многое зависит, – говорил ей Фокин по дороге домой. – Вы прима, на вас равняются остальные. Если вы по-прежнему с их величеством Мариусом Первым, добра не жди…

Она уклонилась тогда от ответа. Чувствовала: Миша в чем-то прав. Многие постановки Петипа и впрямь обветшали, публика зевает, глядя на набившие оскомину композиции с пастушками на лужайках, длиннейшие перестроения и пантомимы, во время которых балерины успевают уединиться в уборных с

любовниками… Как это Фокин выразился? «Мариус Первый». Она усмехнулась: камешек был и в ее огород. Кем, на самом деле, она была, если не фрейлиной в свите оставлявшего трон балетного короля? Живым воплощением его идей, во многом ему обязанной? Фокин по сути приглашал ее к предательству, сулил отступные: заглавную роль в балете «Евника» по роману Генриха Сенкевича «Камо грядеши?», над которым трудился уже несколько месяцев и против которого восставал Петипа, разнесший в пух и прах дилетантскую, как он считал, работу новичка. (Скептически отзывался о затее сверстника и постоянный ее партнер по сцене Николай Легат, исполнявший в последнее время обязанности главного балетмейстера: у него были собственные резоны восстанавливать прима-балерину против чересчур ретивого конкурента.)

На чью-то сторону, подсказывало чутье, следует встать, оставаться сторонней наблюдательницей происходящего не удастся. Главное при любом раскладе – не навредить себе самой…

4

Петипа она изменила с легкой грустинкой, любя, как изменяла одним мужчинам с другими. «Он умный, – сказала себе, – поймет. В конце концов это только театр». (О Легате не стала и думать: зелен еще советы давать…)

С выбором она не просчиталась: дальновидный умница Фокин верно уловил стремление балета к свободе самовыражения, менявшиеся зрительские вкусы. Ожившая античная фреска на музыку А. Щербачева явилась в нужное время, имела шумный успех. Стараниями постановщика на сцене ожил нероновский Рим – с пряной экзотикой быта, необузданными страстями, культом чувственных удовольствий. Из многослойного романа Фокин извлек наиболее выигрышную для хореографии интимную линию – слепую, нерассуждающую любовь рабыни Евники к автору знаменитого «Сатирикона», эстету и эпикурейцу Гаю Петронию, в объятиях которого она принимает в финале добровольную смерть.

Солировали в спектакле лучшие из лучших: Евника – Кшесинская, Актея – Павлова, Петроний – Гердт. Греческого раба исполнил незабываемый лучник из половецких плясок в «Князе Игоре» Александр Ширяев, давший направление целой школе характерного танца, декорации и костюмы создал непревзойденный Лев Бакст. Хореография балетмейстера-дебютанта восхищала живописной красотой, изобретательным

стилизаторством: в заключительной сцене Евника плясала среди воткнутых в пол мечей, а Актея под мелодию вальса – томный, сладострастный «Танец семи покрывал», напоминавший импровизации Дункан.

«В действительности «Эвника» стала компромиссом между нашими классическими традициями и возрожденной Элладой, которую олицетворяла Айседора, – вспоминает об этом спектакле Тамара Карсавина. – Главная партия, которую в вечер премьеры исполнила Кшесинская, включала в свою ткань почти весь словарь классического балета. Павлова, напоминавшая фигурку с помпейского фриза со своей утонченностью и изысканностью, придала «Эвнике» определенное чувство стиля. Она также, как и кордебалет, танцевала босиком или, во всяком случае, создавала такую видимость. Они выступали в трико, на которых были нарисованы пальцы. После премьеры Кшесинская отказалась от роли, и ее передали Павловой, я же заменила последнюю».

Наутро после премьеры Фокин проснулся знаменитостью. В газетах – восторженные отклики, не замолкает в квартире телефон, посыльные несут и несут приветственные телеграммы. Но главным сюрпризом была для него, несомненно, короткая записка от Петипа: «Дорогой друг Фокин! Восхищен Вашими композициями. Продолжайте, и вы станете хорошим балетмейстером».

Первый визит он нанес божественной Матильде (не выходил из головы изумительный ее полет через сцену в объятия истекающего кровью Петрония). Как мало, оказывается, он ее знал! Льстил нередко по обязанности, порицал в душе за излишнюю «телесность», манерные позы. Пригласив в силу обстоятельств (попробуй, не пригласи!) на ведущую роль, рассчитывал, по меньшей мере, на четкое, добротное исполнительство. Чуда он ждал от второй солистки – Павловой с ее одухотворенной манерой движения, воздушным изяществом, даром абсолютного погружения в роль. С задачей своей Аннушка справилась прекрасно. Но чудом в «Евнике» была все же Кшесинская. Не покидало ощущение, что за кулисами у нее наготове целый арсенал сценических эффектов: каждый очередной ее выход удивлял находкой, свежей деталью – ей хватало их и для красочно-выверенной хореографии и для выразительного миманса и что-то еще оставалось «на вынос», как выражаются в балете, – мимолетного диалога со зрителем, заранее настроенного на такого рода игру. Как заметил в отклике на премьеру «Евники» один из рецензентов: «От Кшесинской всегда ждешь чего-то необычного. И получаешь всякий раз что-то необыкновенное».

Личную ее жизнь в описываемый период не назовешь безоблачной. Она похоронила недавно отца, волнуется за состояние полупарализованной матери. Не видно просвета в сердечных делах. Безвольный Андрей, похоже, удовлетворен ролью приходящего любовника, под венец не торопится, в минуты объяснений повторяет избитые фразы: «надо набраться терпения»… «папа все еще колеблется»… «маман, к сожалению, непреклонна». Страдает молча живущий с ней и сыном под одной крышей старший по возрасту и стажу любовник, великий князь Сергей Михайлович, обеспечивающий расходы семьи. Брат Юзя преподнес сюрприз: связался с кучкой радикально настроенных молодых артистов, требовавших участия труппы в управлении театром (влияние декабрьских беспорядков в Петербурге), дал во время спора с оппонентами пощечину артисту А. Монахову, оскорбившему Анну Павлову, за что приказом дирекции уволен со службы. Сидит теперь дома, палец о палец не ударил для восстановления, надеется, естественно, на нее.

Обстановка – врагу не пожелаешь. Хочется забыть обо всем, отгородиться от проклятых вопросов китайской стеной, занять душу чем-то по-настоящему значительным. Вовремя приходит спасительная идея: построить дом. В приличном месте, по собственному вкусу. Особняк на Английском проспекте, подаренный Ники, обветшал, сделался тесен, да и район оказался не слишком удачным. Придвинулись чуть не вплотную заводы, дым сутки напролет валит из закоптелых труб. Вечером страшно выйти на улицу: пьяные мастеровые шастают с гармошками, сквернословят по-черному. Разбили намедни стекла у соседа, ночного сторожа избили. Бежать, бежать как можно скорей из зловонной этой дыры!

Закрутилась карусель. Продан в одночасье старый особняк – князю А. Романовскому. Найдено подходящее место на быстро застраивавшемся Петроградском острове – угол Кронверкского проспекта и Большой Дворянской. Стоявшие тут с незапамятных времен ветхие домишки с согласия Городской управы и соответствующей компенсацией владельцам идут на слом, освободившийся участок, купленный за восемьдесят тысяч рублей, переходит в ее собственность. Часами просиживает она вместе с архитектором А.И. фон Гогеном над планом дворца Кшесинской. Дворец – не оговорка. Шаг за шагом описывает она почтительно внемлющему Александру Ивановичу внутреннюю отделку помещений: зал – в стиле русского ампира, маленький угловой салон – эпоха Людовика XVI, спальня и уборная – в английской манере, с белой мебелью и кретоном на стенах, столовую и соседний салон выдержать в духе «модерна».

Стильные гарнитуры, решают оба, следует изготовить у Мельцера, обстановку для хозяйственных помещений и прислуги – на предприятии Платонова, бронзовые предметы и аксессуары: люстры, бра, канделябры, дверные ручки и тому подобное, а также ковры и гобелены заказать французским фирмам.

– У вас замечательный вкус, милая Матильда Феликсовна, – соглашается, выслушивая ее, фон Гоген. – Будет сделано так, как вы предлагаете.

Чуть не ежедневно наведывается она на участок, подгоняет строителей. Не терпится увидеть воплощенной в жизнь мечту давних лет: быть хозяйкой роскошной усадьбы. Утереть нос кичливым владельцам великосветских особняков, превратить свой городской салон в самый модный, самый привлекательный в столице.

Построенный за год с небольшим на деньги любовников петербургский «Малый Трианон», как окрестил его в заметке репортер «Петербургских новостей», и впрямь не уступает ни в чем дворцам столичной знати. Роскошные стильные апартаменты на двух этажах, комнаты для прислуги, два сада, летний и зимний, винный погреб с помещением для интимных пирушек, кухня с ледником и специальной холодной кладовой для сухих продуктов, хозяйственные помещения во втором дворе: прачечная, сараи для экипажей и автомобилей, игрушечная молочная ферма с единственной коровой (свежее молоко для Вовочки), обслуживаемая специально приставленной коровницей Катей. Гуляют на травяном газоне, по-приятельски полизывая друг дружку, ручная козочка, с которой она выступает в «Эсмеральде», и любимая сыночком смешная толстая свинья. Пасторальная картинка, не налюбуешься.

Не дождавшись, пока меблируют все комнаты, она перебирается накануне Рождества 1907 года в свежепостроенный особняк.

«Моей гордостью, – перечисляет она преимущества нового жилья на Каменноостровском проспекте, – были две гардеробные комнаты, одна наверху, для моих платьев, вся обставленная дубовыми шкафами, а другая внизу, для моих костюмов и всего, что к ним полагалось: башмаков, туфель, париков, головных уборов и т. д. В каждом из четырех огромных шкапов имелась полная опись под номером всего того, что в нем находилось, дубликат которой я держала у себя. По этим спискам я всегда могла послать кого-нибудь привезти мне все, что было мне необходимо, это часто приходилось делать, когда я жила на даче, а костюмы нужны были в Царском Селе. Я указывала только номер шкапа и номера требуемых костюмов и относящихся к ним

предметов».

Не успев остыть от пышно проведенного новоселья она принимается за подготовку к весенним гастролям во Франции, куда приглашена дирекцией парижской Grand Opera. Партнером ее по танцам в «Коппелии» и «Корригане» должен стать выпускник училища Вацлав Нижинский, только что принятый в труппу и сразу же выделившийся среди молодых танцоров выразительной экспрессивной пластикой и феноменальными прыжками – с двумя-тремя поворотами в воздухе. На скуластого застенчивого мальчика с диковатым разрезом глаз она обратила внимание во время выпускного экзамена, на котором присутствовала в качестве члена жюри. Отыскала среди шумной толпы сверстников, рассаживавшихся в трапезной за праздничными столами, сердечно поздравила. Он был совершенно растерян: краснел, заикался, отвечал междометиями. Милый необыкновенно. Когда Фокин попросил ее станцевать только что сочиненный «Ноктюрн» на музыку Шопена, она вспомнила маленького дикаря, предложила на роль партнера. Одноактный балет, мало что для нее тогда значивший, они показали сначала на родной сцене, а затем в Москве, в бенефис тамошнего кордебалета. Ей самой «Ноктюрн» славы не прибавил – разве что продемонстрировал умение адаптироваться к балетным новациям, а вот для Нижинского дебют в паре с первой балериной России был безусловно выигрышным билетом. Не лишне напомнить, что мужской балетный танец на рубеже XIX–XX веков не шел ни в какое сравнение с женским, в театрах Европы он попросту выродился, задачи танцоров сводились к роли носильщиков партнерш, на подмостках Милана и Парижа мужские партии исполняли переодетые балерины-травести. Исключение составляла только русская сцена с такими мастерами, как скончавшийся к тому времени Христиан Иогансон, нестареющий Павел Гердт, итальянец Энрико Чекетти, «прыгающий демон с каучуковыми конечностями», как его называли, отдавший лучшие годы служению в Мариинском театре. Однако и они с их громкими именами и известностью светили отраженным светом партнерш, целиком от них зависели, танцевали самостоятельно второстепенные невыразительные па, давая возможность балерине отдышаться перед очередной вариацией. Так что уникальный прыжок и прочие достоинства начинавшего карьеру молодого артиста не шли ни в какое сравнение с открыто проявляемым покровительством всесильной примадонны.

Накануне гастролей Вацлав заболел, пришлось срочно заменить его Н. Легатом. Не в пример младшему брату Сергею с

его излишней экзальтацией и частыми перепадами в настроении, мешавшими в работе, Коля был надежным партнером. Давным-давно, выпускницей училища, она была чуточку в него влюблена: он рано выдвинулся, танцевал с ведущими балеринами, казался загадочным, необыкновенным. Все это осталось позади, отношения их носили дружески-деловой характер, не более того. Звезд с неба он не хватал, сольные номера исполнял средне, зато в паре был незаменим: легко, без усилий поддерживал, мгновенно откликался на смену движения – вовремя подбросит, вовремя подхватит, вовремя поможет добавочным посылом или вращеньем.

Подкатив в день отъезда к зданию Варшавского вокзала на автомобиле с великокняжеским гербом на дверцах, она угодила в объятья толпы. Наспех с кем-то здоровалась, отвечала на вопросы репортеров, замирала на мгновенье в живописной позе с прижатым к груди букетом цветов, пережидая вспышку магния перед треногой фотографа. В дорогу она отправлялась по обыкновению большим обозом: пятилетний Вовочка с няней, горничная, лакей, театральная портниха, очередная камеристка и напарница, артистка Клавдия Куличевская. Поднявшись в сопровождении старшего кондуктора в вагон и убедившись, что всех разместили как надо, она прошла к коридорному окну. Элегантная в дорожном костюме, с приличествующей моменту грустинкой на лице смотрела сквозь запотевшее стекло на кряжистых носильщиков с медными бляхами, таскавших под реденьким весенним снежком чемоданы, баулы и картонки, на беззвучно что-то кричавших, жестикулировавших, махавших руками людей, на застывших, подчеркнуто не замечая друг друга, по обе стороны вокзального колокола обоих возлюбленных со своими адъютантами, устремивших взоры в ее сторону.

Нервно закричал впереди паровоз. «Норд-экспресс», дернувшись раз и другой, поплыл вдоль перрона. Она не смогла удержаться от улыбки: дядя с племянником как по команде взяли под козырек. Приложив к губам душистую перчатку, она послала им обоим воздушный поцелуй:

«Оревуар, мои милые! До скорой встречи!»

5

Париж той весной завоевать ей не удалось. Дебют на сцене Grand Opera прошел с относительным успехом: отсутствовала реклама, блеснуть по-настоящему в коронных вариациях она не могла – «Корриган» танцевала впервые, партию разучивала на ходу, «Коппелию» попросту не любила, исполняла без должного

настроя. Досадным сюрпризом стал здешний театральный распорядок: балеты шли в конце вечерних спектаклей, приложением к операм, пресытившаяся публика досиживала их по инерции, реагировала вяло.

Словно бы в пику ей «гвоздем» оперной программы на этот раз были артисты родной Мариинки: неутомимый Дягилев привез в Париж «Бориса Годунова» с великолепным басом Федором Шаляпиным в главной роли. Болезненным резонансом к собственному полууспеху стал ошеломляющий успех соотечественника. Великодушие, однако, и в этом случае ей не изменило: мелочная зависть стушевалась перед явлением редкого таланта.

«Я никогда не забуду этого спектакля, – вспоминает она. – Что делалось в зале, трудно даже описать. Публика, восхищенная пением и игрой Шаляпина, просто сходила с ума от восторга. В сцене, когда Годунову ночью мерещится тень царевича Дмитрия, наши соседи толкали друг друга, говоря: «Видишь, вон там в углу?», как будто и на самом деле там было привидение… Нас, русских, больше всего поразило то, что холодная публика «Опера», которую вообще очень трудно расшевелить, оказала в этот вечер артистам такой прием, о котором и до сих пор современники вспоминают как о большом событии».

С Шаляпиным она познакомилась несколько дней спустя, на домашнем спектакле с участием гастролеров из России, устроенном богачом и меценатом Н.Д. Бенардаки в фешенебельном особняке в центре Парижа, располагавшем небольшим уютным театриком. За ужином их посадили рядом. Ослепительный на сцене, в жизни Шаляпин оказался простым и компанейским – рассказывал забавные истории, участником которых был сам, изображал смешно знакомых купцов, артистов, писателей. Пил бокал за бокалом ледяное шампанское. На ее замечание, что напрасно он так рискует, горло ведь легко простудить, беспечно ответил:

– Оно у меня, сударыня, луженое. Выдержит.

Расставаясь, она пригласила его заглядывать в гости, и он явился однажды на Каменноостровский в отлично сидевшем фраке, с красной гвоздикой в петлице. Обошел, любопытствуя, дом, разглядывал картины, вертел в руках дорогие безделушки. «Сады Семирамиды, – бормотал, – ступить страшно».

– Не пойму, комплимент вы говорите или колкость, – заметила она.

– Милая моя Матильда Феликсовна! – Он галантно поцеловал ей руку. – На вас такое количество сыплется комплиментов, что, право, нелишне иногда ущипнуть. Для остроты чувств.

– Ну, разве что для остроты. Чаю хотите?

– Чаю хочу.

Он сделался своим в доме. Полюбил богемную атмосферу ее вечеринок, обилие красивых женщин, богатый стол, веселые розыгрыши с переодеваниями, до которых был большой охотник. Услышав как-то в разгар ужина, что посетивший ее когда-то Собинов исполнил над колыбелькой шестимесячного Вовочки «Спи, моя радость, усни», вскочил тут же из-за стола и понесся в детскую – петь. Насилу его удержали, объяснив, что малыш давно уже спит.

Ей везло на друзей-мужчин. С необъяснимой какой-то страстью она множила их число – не обязательно только знаменитых, богатых или сановных, как принято думать. На полуночном маскараде в театре по окончанию спектакля познакомилась случайно с провинциальным поручиком Г.Л. Марром, приехавшим в гости к родному дяде и посвятившим отпуск столичным развлечениям, в частности, балету, который почитал выше других искусств. Чем, непонятно, мог привлечь ее внимание безвестный поручик 6-го Глуховского драгунского полка, бродивший одиноко в фойе, превращенном в буфет, среди танцующих пар и мелькающих масок?

«Должно быть, – размышляет об этом сам Марр в дошедших до нашего времени записках, – у меня был очень скучающий вид, потому что маска в черном домино с голубым бантиком на груди подошла ко мне и сказала: – «Бедняжка. Я вижу, что ты очень скучаешь. У тебя, конечно, нет знакомых, по твоей форме я вижу, что ты провинциал». Берет меня под руку. Я предлагаю ей пойти выпить бокал шампанского, но она предпочитает оршад. Болтали о балете, об опере, о том, о сем». Он просит ее открыть свое имя, она соглашается, однако с условием: пусть явится завтра после представления «Дочери фараона» к артистическому подъезду, взойдет на вторую площадку, она будет там с голубым бантиком на ротонде.

Он несется на другой день в театр. «Опускается занавес, – читаем далее в записках, – я направляюсь к подъезду артистов. А может, правду сказал дядя, что надо мною посмеялись. У подъезда выстроены в ряды санки, кареты, огромные колымаги. Вхожу в подъезд, подымаюсь на вторую площадку. Всюду много ожидающих выхода артистов: пажи, лицеисты, правоведы, офицеры, штатские. Выходят артистки, их встречают почитатели, уходят, проходят мимо меня, и ни на одной нет голубого бантика. Достаю папиросу, чтобы закурить перед уходом. В это время выходит театральный лакей, спускается к выходной двери, открывает ее и кричит: «Карету госпожи Кшесинской!» Прекрасно,

думаю я, хотя моей незнакомки нет, я все-таки увижу вблизи, в натуре, царицу балета. Открывается дверь. Раздаются аплодисменты ожидающих. Я вижу это прелестное личико, обрамленное шарфом… Но что это? На ротонде большой голубой бант. Она останавливается, улыбается, делает рукой приветственные жесты аплодирующим, разглядывает их и направляется ко мне. «Я сдержала слово. Здравствуйте. Вот вам награда… – и дает мне бант. – На память обо мне»…

О чем, кажется, еще мечтать? Поручик на седьмом небе, лепечет что-то в растерянности, а царица балета, между тем, зовет его назавтра на чашку чая. И вновь никакого розыгрыша: он является в пятом часу, его радушно принимают, хозяйка сама доброта и сердечность – собственными ручками разливает чай, расспрашивает о семье, о сослуживцах, демонстрирует гостю, как любимый ее черный пудель прыгает через стулья и стоит на часах. Он просит разрешения закурить, она разглядывает с интересом его портсигар, пестрящий монограммами полковых приятелей, изображениями шпор, стремян, погон, бутылок.

«Очень интересно, – говорит. – Я вижу, что еще есть место. Оставьте мне его. Я поставлю на нем свое факсимиле. Ведь вы не уезжаете еще на этой неделе? Я его сегодня же завезу к Фаберже и когда будет готов, то пришлю вам его на квартиру. Дайте мне ваш адрес».

Сон наяву продолжается. Портсигар с монограммой Матильды Кшесинской и ее фотография с дарственной надписью привезены через три дня камеристкой, он едет ее благодарить, она его вновь дружелюбно принимает, говорит на прощанье:

– Если вам когда-нибудь что-нибудь будет нужно, где бы вы ни были – обращайтесь ко мне. Я постараюсь сделать для вас все, что будет в моих силах.

И ведь сдержала слово! Служа на Дальнем Востоке, Марр становится свидетелем драматической истории. На танцевальном вечере в одном из казачьих полков знакомый ему офицер, сотник Люман, вступившись за честь жены, сам, вдобавок, будучи оскорбленным, убивает обидчика, штабс-капитана Афанасьева, за что приговаривается вначале к смертной казни, а затем, при пересмотре дела, к заключению в крепости на два с половиной года. Попытки жены подать через специальную Комиссию прошение на высочайшее имя о помиловании супруга успеха не имеют – по каким-то формальным соображениям просьбу ее отклоняют. Отчаявшаяся женщина умоляет Марра о помощи: в Петербурге у него родственники, дядя-чиновник. Не посодействуют ли? Он вспоминает Кшесинскую, прощальные ее слова. Что, если попробовать? Никакие родственники и дяди,

понимает он, тут не помогут, нужна по-настоящему сильная протекция. Минуло, правда, со времени их знакомства два года, не мудрено, если она и имя его забыла. Впрочем, попытка не пытка. Приложив к прошению личную записку, он направляет заказное письмо на домашний ее адрес и через месяц получает ответ. В принесенной посыльным телеграмме всего два слова: «Передано. Матильда». Вечером того же дня он узнает через знакомого штабного офицера: по телеграфу пришло распоряжение коменданту крепости освободить немедленно из-под стражи сотника Люмана и объявить ему, что государь помиловал его без всяких ограничений.

Готовый сюжет в жанре любимой ею мелодрамы…

Ей импонировала роль феи-волшебницы, творящей добро, нравился успех, сопутствовавший предпринимаемым ею актам человеколюбия, счастливые лица облагодетельствованных просителей, собственная манера вести себя по достижению цели: скромно, незаметно стушеваться, дабы избежать ненужных проявлений благодарности – взмахнула волшебной палочкой и словно бы растворилась чудесным образом в окружающем воздухе. Немалое число людей пользовалось этой ее слабостью, и самым искусным среди них, вне всякого сомнения, был милейший Сергей Павлович Дягилев.

Чиновник по особым поручениям при директоре императорских театров, говоривший о себе: «У меня есть известная душевная наглость и привычка плевать в глаза», в умении приобретать покровителей не знал себе равных. В натуре его было много от гоголевского Чичикова: явился откуда-то из провинции, тут же со всеми сошелся, всех очаровал, в первую очередь – дам, что выглядело в силу известных обстоятельств особенно пикантно, окружил себя пестрой толпой оригиналов – художников, музыкантов, литераторов, затевал бесконечные какие-то новшества: то иллюстрированный журнал большого формата, то грандиозную выставку русского портрета от истоков до наших дней, теперь вот – заграничные оперные антрепризы. И на любое начинание незамедлительно отыскивал меценатов. Редкостный дар, что и говорить…

Он ее по-своему восхищал. Рос на глазах как личность. При знакомстве обнаружил достаточно поверхностное знание балета: что-то, там, такое читал, что-то успел посмотреть на сцене, бренчал дилетантски на фортепиано, но через год-полтора делал уже замечания, давал советы, с интонациями мэтра судил-рядил о качестве постановок, уровне хореографии, выставлял безапелляционно оценки, и что самое удивительное – достаточно умно, со знанием дела. В Париже, завершая триумфально

оперный сезон с Шаляпиным, поделился очередной идеей: придать гастролям за границей новый размах, привезти на будущий год во Францию цвет русского балета.

– Вы, Малюша, – пел соловьем, – естественно, возглавите список звезд. Мы с вами положим Париж на лопатки.

Ясно было как божий день: рассчитывает на содействие. Он этого и не скрывал. Предприятие по скромным подсчетам требовало 25 тысяч казенной субсидии, одобрения двора. Согласившись ему помочь, она столкнулась неожиданно с непредвиденным обстоятельством: скончался посвященный в затею отец Андрея великий князь Владимир Александрович, обещавший свое покровительство. Верная слову, она тем не менее не оставляла начатых хлопот, когда совершенно случайно узнала: душка Сергей Павлович, оказывается, давным-давно уже составил гастрольную афишу, из которой явствовало, что список отобранных на поездку солисток будет возглавлять вовсе не она, а Павлова, получившая коронную свою «Жизель», ей же предоставили танцевать партию в «Павильоне Армиды», решительно не позволявшую проявить наиболее сильные стороны ее дарования. Объяснение с неблагодарным приятелем ни к чему не привело – Дягилев уперся как бык, стоял на своем.

– Танцуйте в таком случае «Павильон» сами! – оборвала она бессмысленный спор.

В который раз за время знакомства они вдребезги разругались. В пику ему она отправилась на гастроли в Париж в одиночку, очаровала художественного директора Гранд-опера А. Мессаже, разрешившего ей, вопреки существовавшим правилам, вставить в танцуемый балет (все тот же чопорный сухой «Корриган») любимейшую вариацию из «Дочери фараона» Пуни, и имела на этот раз громадный успех, несколько, правда, омраченный. Спустя неделю в том же Париже на сцене неуютного, казенного театра Шатле имели не меньший успех привезенные Дягилевым (чудом раздобывшим где-то необходимые средства) Анна Павлова с Тамарой Карсавиной и в особенности юный ее протеже Вацлав Нижинский, открывший европейской публике, подобно Колумбу, неизвестный доселе материк – искусство сольного мужского танца.

Вчерашний новичок заметно прибавил со времени их знакомства: возмужал, окреп, технически раскрепостился. В облике его, движениях сквозило что-то кошачье: вот-вот, кажется, выгнет ласково спинку, потрется, мурлыкая, о колени, чтобы выпустить затем коготки, заскребет хищно по полу. Удивительная, ни на что не похожая пластика: голова низко опущена, плетьми повисшие или, напротив, резко оттопыренные

по сторонам руки, движется отрешенно, на ступнях, пальцами внутрь, а в теле словно бы нарастает скрытая энергия, которая через мгновенье вырвется наружу, неистово забурлит – и все это не измышленно, все от внутренней «органики», безошибочно бьет в цель, играет на образ. Во Францию он уехал на грани увольнения – министр Двора барон Фредерикс строго указал дирекции императорских театров на порочащий звание солиста Его Величества образ жизни Нижинского: замечен в обществе аморальных личностей, состоит в предосудительной связи со скандально известным князем Львовым, который, по слухам, передал его нынче в пользование чиновнику по особым поручениям Дягилеву – возмутительно! позор!.. Чашу терпения переполнила последняя работа танцора в «Жизели» в паре с Анной Павловой: явился перед публикой в придуманном Бакстом укороченном костюме графа Альберта, выделявшем нежелательные анатомические подробности, что вызвало нервный испуг у присутствовавшей на спектакле вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Не веря глазам, она схватила лежавший на бордюре черепаховый лорнет, уставилась на сцену. «Цирк Чинизелли, а не императорский театр!» – произнесла возмущенно. Царская ложа через мгновенье была пуста. Дирекция на следующий день получила очередной разнос, Нижинского предупредили о служебном несоответствии, оштрафовали вместе с Бакстом за непристойность.

Получавший что ни день тычки и затрещины одиозный артист взял реванш в Париже участием в феерической постановке балета-сказки «Петрушка» Михаила Фокина, Александра Бенуа и Сергея Дягилева на музыку Стравинского.

Перед публикой, заполнившей в день премьеры спешно перестроенный Дягилевым, преобразившийся за несколько недель театр «Шатле», открылась картина русской ярмарки в Петербурге – на фоне силуэта знаменитого города. Сцену заполнила пестрая живописная толпа: купцы, кучера, мастеровые, военные, бабы-простолюдинки, цыган с медведем. В обстановке разудалого веселья – контрапунктом – разворачивалась трагедия тряпичного «маленького человека», напоминавшего героя блоковского «Балаганчика».

В роли ярмарочной балаганной куклы Нижинский был великолепен, неподражаем! Петрушка по жизни станцевал самого себя. Отбросив балетный канон, предписывавший чувства сценических героев условно изображать, он их открыто переживал. Странно-ассиметричный, словно бы составленный из острых углов гротесковый его танец был из какого-то еще не ведомого, смутно прозреваемого балета завтрашнего дня,

способного заглянуть в потаенные уголки человеческой души, поспорить по глубине проникновения в мир персонажей с театральной драмой…

Увидеться в тот раз им не удалось: Дягилев ни на шаг не отпускал от себя нового возлюбленного, оберегал от нежелательных встреч. Она послала в гостиницу на имя Нижинского цветы с открыткой и не получила ответа – бог с ним, как говорится, мальчик тут был ни при чем, но каковы, однако, бывают мужчины – мстительны, мелочны! – фи, как неблагородно!

Два года между ней и Дягилевым шла позиционная война, закончившаяся, когда нужда обоих друг в друге стала очевидной.

«Наконец, – пишет уже цитировавшийся историк балета Арнольд Хаскелл, – Кшесинская и Дягилев, две наиболее сильные личности в России, помирились. У них часто бывали бурные столкновения, и они бывали то союзниками, то врагами, но они уважали друг друга и обладали редким качеством – отсутствием злопамятности. Когда Дягилев представил меня ей в Монте-Карло, он сказал: «Вот противник, достойный меня».

По окончанию военных действий победителю полагалась контрибуция. Благородно принявший на себя роль проигравшего Дягилев положил к ногам Кшесинской свежий контракт на участие в ежегодных отныне «русских сезонах» за границей – на этот раз в Лондоне. Подарок преподнес с присущим ему артистизмом: молчал, сидя в кресле, протирал неторопливо монокль, пока она подписывала бумаги, вставил аккуратно стекло в глаз, молвил смиренно:

– На поцелуй не надеюсь, но стакан простого вина, думаю, бедный импресарио заслужил.

Она расцеловала его в обе щеки.

6

Гости после обеда разделились: мужчины направились в расположенный по соседству курительный салон, дамы, предводительствуемые князем Паоло Трубецким, – знакомиться в зимнем саду с последним его творением, статуэткой хозяйки дома.

– Медам-с, прошу иметь в виду… – Не знавший ни слова по-русски импозантно одетый скульптор-полуиностранец удерживал толпившихся в проходе женщин. – Работа еще не окончена.

Пройдя по мраморной дорожке к возвышавшемуся среди экзотических растений сооружению на подставке, он изящным движеньем руки сбросил с него простыню. Глазам

присутствующих предстала парящая в изящном арабеске глиняная фигурка Кшесинской в половину человеческого роста.

«Необыкновенно!.. Восхитительно!.. Браво, князь!» – раздались голоса.

Пристально вглядывавшийся в собственное творение, Трубецкой явно был чем-то озабочен. Нагнулся, позабыв о зрительницах, к стоявшему у ног корытцу, захватил в пригоршню, запачкав шелковую манжету, изрядный кусок глины…

– Нет, нет, Паоло! – послышался взволнованный голос.

Кшесинская, напоминавшая «Свободу на баррикадах» Делакруа, кинулась ему наперерез, загородила руками скульптуру.

– Пожалуйста, прошу вас!.. Милые дамы, ну что же вы? – обернулась она к гостьям. – Образумьте его! Он все время что-то переделывает. И делает хуже. Я все меньше на себя похожа.

Общими усилиями Трубецкого оттеснили от подиума, повели, окружив, к выходу.

– Насилие над творцом – несомненный признак варварства! – отбивался тот по дороге.

– А насилие творца над моделью? – вопрошала, крепко держа его за рукав, Кшесинская.

Она терпеть не могла позировать художникам. Ужас просто – высидеть неподвижно (тем более выстоять) несколько томительных часов! Отказала после первого же сеанса Константину Маковскому, вознамерившемуся написать ее портрет в домашнем интерьере, с сыном на коленях. Приехавший из Италии Паоло Трубецкой обхаживал ее больше года и уговорил в конце концов поработать недельку-другую – в зимнем саду особняка, где не опасно было, что он в азарте забрызгает глиной ковры и мебель.

Флорентийский русский князь был личностью бесподобной. Памятник его Данте считался в Италии классическим. Друживший с ним Дягилев отзывался о нем: «Чудак, оригинал и невежда». По собственным словам, он в жизни не прочел ни строчки Толстого. Последний пригласил его как-то в гости в Ясную Поляну, обласкал, подарил на прощанье собрание своих сочинений. Уезжая, Трубецкой забыл их в гардеробной. Общение с ним было, по словам Кшесинской, «забавно и несносно». Убежденный вегетарианец, князь, несмотря на несколько случаев холеры в городе, поглощал во время сеансов немыслимое количество сырых фруктов, его неожиданно схватывало и он стремительно исчезал в коридоре, крича, что у него начинается холера.

Лепить ее он начал, завершив фундаментальный труд –

конный монумент Александра Третьего, вызвавший уже в процессе создания бурную полемику в обществе. Говорили о политической карикатуре, оскорблении памяти покойного монарха. Тяжеловесный мрачный император восседал на таком же тяжеловесном неповоротливом битюге с обрубленным хвостом. Скульптура, однако, неожиданно понравилась вдовствующей императрице Марии Федоровне, и не любивший перечить матери Николай дал скрепя сердце согласие на установку монумента в центре Знаменской площади.

По Петербургу гуляла эпиграмма: «На площади стоит комод, на комоде – бегемот, на бегемоте – идиот». Раздосадованный Николай собирался даже перенести злополучный памятник в Иркутск, но передумал, услышав очередную остроту, что, мол, государь собирается сослать батюшку в Сибирь.

Мучимая любопытством, она поинтересовалась как-то у Трубецкого: что именно он имел в виду, создавая столь необычную скульптуру? Заключена в его замысле какая-то идея?

Ваятель отделался шуткой:

– Ну, какая там идея, право! Я ведь не Гойя. Посадил конеподобного царя на цареобразного коня. Только и делов…

Она резко в тот раз его отчитала.

– Фи, как вульгарно, Паоло! – произнесла, пылая лицом. – Ужас просто – услышать подобное от человека с вашей фамилией. Не пойму, что за мода нынче в обществе – поливать помоями святыни?.. Вы меня ужасно огорчили…

Набивавшийся в друзья Трубецкой стал ей неприятен. Сославшись на занятость в связи с лондонскими гастролями, она отвадила его от дома.

7

К берегам туманного Альбиона она отбывала внушительным караваном: горы багажа, многочисленная свита: молодой любовник с денщиком и адъютантами, домашний советник барон Готш, сыночек Вовочка с детским доктором и англичанкой мисс Митчел, горничная, театральная портниха, любимый мопсик Джиби. На вокзале в последнюю минуту обнаружили отсутствие сумочки с ключами от сундуков, срочно пришлось отправлять домой автомобиль, отход поезда задержали, время шло, шофер как в воду канул. Начальник станции в конце концов взмолился: ждать далее невозможно, график движения и без того нарушен – ехать пришлось без ключей.

На пароход в Остенде они грузились в ужасающую погоду: мрак, дождь с ураганным ветром, на море шторм. Поев немного в

судовом ресторане и выпив красного вина, она отправилась прилечь в каюту. Пробегая на пронизывающем ветру по палубе, увидела поразительное зрелище: в прислоненном к капитанскому мостику кресле сидел, уронив бессильно голову, бедняга Готш в одной пижаме, а стоявший рядом матрос поливал его из ведерка водой.

Измотанные качкой, прибыли они в Дувр, пересели на поезд. На лондонском вокзале их ожидало очередное испытание: чиновники таможни попросили открыть показавшиеся подозрительными сундуки. Им стали объяснять, что выполнить просьбу невозможно: забыты в России ключи, их в скором времени привезут. Таможенники, заподозрив неладное, потребовали либо немедленно взломать замки, либо оставить багаж на складе. До прояснения обстановки.

– Господа! – не выдержали у нее нервы. – Вы что, не видели афиш? Они расклеены по всему Лондону! Там повсюду мое имя! Я прима-балерина русского балета, приехала к вам на гастроли! В сундуках нет ничего запрещенного, только мои театральные костюмы! Завтра мне в них выступать…

Бурный ее монолог возымел действие: таможенники отошли в сторону, стали совещаться. После томительного перешептывания один из них, вернувшись, принялся помечать мелком вещи. Получив паспорта и разместившись в трех таксомоторах, они покатили под моросящим дождиком в отель.

Выходя четверть часа спустя из машины под предупредительно распахнутый зонт гостиничного привратника, она увидела сбегавших по ступеням четырех мужчин в смокингах – то были прибывшие накануне в Лондон после парижского ангажемента Дягилев, Бакст, Бенуа и Нижинский (последний прятал за спиной необъятный букет).

– Боже, как трогательно! – всплеснула она руками. – Но отчего не в вестибюле? Вы же все промокнете!

В холле «Савоя» толпились газетчики. Ответив на несколько вопросов и дав возможность себя сфотографировать, она устремилась к дверцам лифта:

– Спасибо, господа! Бегу принять горячую ванну.

В Лондоне ей предстояло танцевать в двух картинах из «Лебединого озера» в паре с Нижинским: сцену бала и явление лебедей – целый балет, считал Дягилев, досконально изучивший конъюнктуру местного театрального рынка, способен утомить англичан, недостаточно искушенных в классической хореографии.

Первый ее выход на сцену Ковент-Гардена фурора не произвел: публика вежливо хлопала, вызывала на поклоны,

служители несли по боковой лесенке корзины с цветами, утром за завтраком в ресторане Дягилев зачитывал ей выдержки из свежих выпусков газет – благожелательные отклики, лестные эпитеты, то, что на языке театра называют succes d'estime – дань уважения имени.

Гордость ее была уязвлена: разбавленного шампанского она не признавала. В ней проснулся характер. Необъятные ее апартаменты в «Савое» превратились в генеральный штаб: толпились какие-то люди, звонил беспрерывно телефон, утомленный Дягилев, лежа во фраке на диване, то подавал, то отвергал очередную спасительную идею.

Совместными усилиями выход из положения все же нашли: добавить во вторую картину «Лебединого озера» классическую вариацию на музыку А. Кадлеца, сочиненную для нее Николаем Легатом, в которой она блеснула недавно дома. Проблема была в аккомпанементе. Неповторимость вариации сообщало скрипичное адажио, которое, как и в сцене лебедей, исполнял в спектаклях Мариинского театра маэстро Леопольд Ауэр. В Лондоне исполнителя его уровня было не сыскать. К счастью, именно в эти дни в английской столице концертировал блестящий ученик Ауэра Михаил Эльман, схваченный по ее заданию за кулисами Альберт-холла и привезенный в «Савой» оправившимся от морской болезни бароном Готшем.

Эльман не заставил себя долго упрашивать, умолчал скромно о гонораре. Тут же в номере они провели первую репетицию, продолженную назавтра в театре, где к ним присоединились участницы сцены лебедей. Трудность даже для исполнителя такого уровня, как Эльман, была немалой: свободный смычок мастера должен был рабски следовать малейшим извивам техники танцующей балерины, улавливать перепады ее настроения, поспевать за темпом и быть одновременно на высоте собственного музицирования, звучать в полный голос.

В день ее выступления у Миши был запланированный концерт. Ценой сложных переговоров удалось добиться, чтобы растянутый антракт между первым и вторым отделениями в Альберт-холле совпал по времени с началом «Лебединого озера» в Ковент-Гардене. Примчавшийся на таксомоторе Эльман влетел в оркестровую яму с первыми тактами оркестра. Играл он как бог, танцевать под его скрипку было наслаждением, на глазах у завороженного зала два виртуоза, слившись воедино волшебный звук и блистательную хореографию, пропели на одном дыхании сказочную балетную сюиту.

Успех ее на этот раз был неоспоримым, абсолютным. Имя Кшесинской звучало повсюду.

«Танец русской звезды балета, – писал в пространной статье рецензент «Гардиан», – той же степени пробы и качества огранки, что и бриллианты в диадеме ее героини».

Упоминание о диадеме было не случайным. Нажитые неустанным телесным трудом – на сцене и в алькове, – драгоценности она надевала при любом случае, в том числе и во время выступлений, сообразуясь с требованиями роли и стилистикой костюма. Жемчужный кокошник и бусы в легендарной «Русской», бриллиантовый обруч на лбу с шестью крупными сапфирами в «Дочери фараона», лиф из цветных жемчужин в «Талисмане», пояс в «Эсмеральде», изукрашенный драгоценными камнями, платиновые кольца и браслеты на руках Евники в фокинском балете – все было из собственной шкатулки, все подлинное: театральную бутафорию она не выносила.

В Лондон прибыло немыслимое количество ее украшений – на все случаи жизни.

«Мой большой друг Агафон Фаберже, сын знаменитого ювелира, – вспоминает она, – посоветовал мне не брать драгоценности с собою, а поручить их фирме переправить в Лондон в их тамошний магазин, где они и будут храниться до моего приезда. В этих случаях все драгоценности полностью ими страхуются и риску нет. Так и было сделано, причем было составлено два списка вещей, один для меня, другой для фирмы Фаберже, и каждая вещь обозначена номером. По приезде в Лондон я условилась с Фаберже, что драгоценности останутся на хранении у них, и каждый раз я буду им сообщать лишь номера нужных на вечер вещей, не называя их, чтобы не подслушали. К назначенному времени специальный агент-детектив от Фаберже доставлял в театр в мою уборную эти вещи и оставался весь вечер сидеть у дверей, чтобы никто из посторонних туда не вошел, в особенности во время представления, когда все находятся на сцене, и в коридорах около уборных никого нет, так что пробраться вору самый момент. После спектакля этот агент отвозил обратно в магазин все вещи. В самой гостинице «Савой» дирекция предупредила меня в первый же день, что она не может ручаться за безопасность драгоценностей, которые у меня на руках и в моей комнате, и просила на ночь отдавать их в несгораемый шкаф. Для одного большого обеда в самой гостинице я выписала от Фаберже свою диадему, очень ценную. Ее доставил в гостиницу агент от Фаберже, который, вероятно, предупредил гостиницу об этом, так как директор пришел перед самым обедом ко мне сказать, что они опасаются ограбления и что они приняли соответствующие меры предосторожности, а именно: два агента полиции в штатских платьях во фраках, будут

ужинать за столом рядом с моим и будут следить за мною и чтоб я не удивлялась этому. И действительно, весь вечер два элегантных молодых англичанина ходили за мною по пятам, но так ловко, что никто не посвященный в эту тайну не мог заметить их в толпе элегантной вечерней публики». (Услышь подобное мистер Конан Дойл, обязательно взял бы на заметку.)

Несмотря на занятость, она находила время для отдыха и развлечений: посетила в компании коллег резиденцию английских королей – Виндзорский замок, побывала на скачках, угощала в ресторане «Савоя», где собиралась изысканнейшая публика, друзей и знакомых. Завтрак для ведущих танцоров и певцов антрепризы Дягилева они с Андреем решили выдержать в русском стиле: водочка, рыбное заливное, горячие закуски, блины с икрой, на эстраде играет специально выписанный из Петербурга ансамбль балалаечников Андреева в красных рубахах и сапогах. Подав исполнителям знак, выбрался из-за стола раскрасневшийся, в приподнятом настроении Федор Иванович Шаляпин, запел с чувством «Жили четыре разбойника». У слушателей – слезы на глазах: гений, гений!

Гений явился на завтрак с припудренным синяком под глазом: результат безобразной драки, происшедшей накануне за кулисами Ковент-Гардена. Вот как, по его воспоминаниям, это произошло:

«Еще по дороге в Париж между хором и Дягилевым разыгрались какие-то недоразумения – кажется, хористы находили, что им мало той платы, которая была обусловлена контрактами. В Лондоне отношения с антрепризой испортились окончательно, и вот однажды во время представления «Бориса Годунова» я слышу, что оркестр играет «Славу» перед выходом царя Бориса, а хор молчит, не поет. Я выглянул на сцену – статисты были на местах, но хор полностью отсутствовал. Не могу сказать, что я почувствовал при этом неожиданном зрелище. Но было ясно, что спектакль проваливают. Необходимо идти на сцену, оркестр продолжает играть. Я вышел один, спел мои фразы, перешел на другую сторону и спрашиваю какого-то товарища: «В чем дело? Где хор?» – «Черт знает! – отвечает, – происходит какое-то свинство. Хор вымещает Дягилеву, а что, в чем дело – не знаю!» Я взбесился. Выругав хор и всех, кто торчал на сцене, я ушел в уборную, но тотчас вслед за мною туда явился один из артистов и заявил, что хор считает главным заговорщиком и причиной его неудовольствия именно меня, а не только Дягилева, и что один из хористов только что ругал Шаляпина негодяем и так далее. Еще более возмущенный, не отдавая себе отчета в происходящем, не вникая в причины

скандала и зная только одно – спектакль проваливается! – я бросился за кулисы, нашел ругателя и спросил его: на каком основании он ругает меня? Сложив на груди руки, он совершенно спокойно заявил: «И буду ругать!» Я его ударил. Тогда весь хор бросился на меня с разным дрекольем, которым он был вооружен по пьесе «Грянул бой». На меня лезли обалдевшие люди, кто-то орал истерически: «Убейте его, убейте, ради бога!» Кое-как я добрался до уборной под защитой рабочих-англичан».

Не по себе делалось, слушая этот кошмар. Императорский оперный хор – с дубинами на своего же солиста! Во время гастролей, за кулисами чужого театра. И солист тоже хорош: нашел время руки распускать! Дикость какая-то!

Никакая заграница русского брата-актера изменить не могла: так же безобразничали, подличали, ставили один другому ножку. Среди участников антрепризы ходила сплетня (автор ей был хорошо известен), будто блестящим выступлением в Ковент-Гардене Кшесинская целиком обязана Эльману, взявшему у нее за услугу громадный куш. Дулся за спиной Вацлав Нижинский, посчитавший, что лавры общего успеха она приписала исключительно себе. Устроил в гостиничном номере сцену ревности Дягилеву, кричал, что в жизни не станет больше с ней танцевать, рвал со злости на себе костюм.

В подобных ситуациях, знала она по опыту, самое разумное – не опускаться до выяснения отношений. Заткнуть уши, расточать направо и налево улыбки, всем говорить исключительно только приятное. Умный, как говорится, поймет.

Глава пятая

1

Остановив на время революционную заразу, поскрипывая на отечественный манер, империя вживалась в двадцатый век: укрепила финансы, провела аграрную реформу, имела какой-никакой, а парламент. Вознаграждая себя за недавние тревоги, люди торопились жить. Женщины укорачивали юбки, завивали коротко волосы, в салонах до упаду танцевали фокстрот, уан-степ и танго. Всеобщим помешательством стал синематограф, каждая новая «фильма» с участием Макса Линдера, Мозжухина, Веры Холодной привлекала в иллюзионы Петербурга толпы поклонников нового искусства. Начитавшиеся арцыбашевского «Санина» ученицы гимназий мечтали о шикарных связях, на литературных и благотворительных вечерах в открытую нюхали «порошок» (кокаин в аптеках продавался свободно: самый лучший, немецкий, фирмы «Марк» стоил полтинник за грамм), под натиском феминистских идей рушились семейные очаги. Все поголовно ударились в мистику: что ни дом – собрания теософов, спиритические сеансы с вызыванием духа мертвых, столоверчения, карточная ворожба. Черт-те что… Над несущейся в туманное будущее страной сладкой отравой витала поэзия Блока, знаменитая его «Незнакомка». «И веют древними поверьями ее упругие шелка, и шляпа с траурными перьями, и в кольцах узкая рука…» Продрогшие проститутки на Невском проспекте обращались, хлюпая носами, к проходящим мимо мужчинам: «Я – Незнакомка, хотите познакомиться?» Никто, исключая замшелых ретроградов, не желал быть порядочным – напоказ выставлялись пороки, извращения, душевная червоточина. В отличие от обретшего золотое обеспечение русского рубля мораль стремительно девальвировала, лозунгом жизни становилось: однова живем! гуляй, Россия!

Фигура Кшесинской в обстановке лихорадочной приподнятости, напоминавшей бал на палубе «Титаника» перед грядущей катастрофой, выглядела по-особенному рельефно. Ее биография: карьера, богатство, бешеный успех у мужчин будоражила воображение общества, казалась образцом «умения жить». Юная Ахматова, тогда еще начинающая поэтесса, вспоминает, как часто они с подругой Ольгой Судейкиной обсуждали женские секреты Кшесинской. «Надо, – втолковывала ей Судейкина, сама достаточно преуспевшая в искусстве

расставлять сети сильному полу, – не сводить с «них» глаз, смотреть, как делает это она, «им» в рот: «они» это любят».

Не ведая о том, она проживает лучшие годы своей жизни. В России не сыщешь уголка, где бы не знали ее имени. Попасть на ее выступления – редкая удача, люди занимают очереди у касс накануне, греются холодными ночами у костров, барышники, пользуясь моментом, дерут за билет вместо пяти рублей четвертной. На «Кшесинскую» сходится «весь Петербург». «Бесчисленные бальные туалеты всевозможных цветов и нюансов, – живописует обстановку ее вечеров репортер «Петербургской газеты», – сверкающие бриллиантами плечи, бесконечные фраки и смокинги, обрывки английских и французских фраз, одуряющий аромат модных духов, словом – знакомая картина светского раута». Первая и единственная пока из балерин она носит звание заслуженной артистки императорских театров. Ее гонорары не снились ни одной европейской звезде, познакомиться с ней почитают за честь монархи и президенты, на притягательный ее огонек летят, не убывая, знаменитости из мира искусства, сиятельная знать, адвокаты, политики, финансисты, авантюристы; десятилетний Вова царским указом пожалован в потомственные дворяне, носит родовую фамилию Красинский. Газеты и журналы ловят каждый ее шаг. Пишут о сценических и любовных ее победах, банковских счетах, собственной вилле на Лазурном берегу Франции, купленной за сто восемьдесят тысяч франков, о приверженности ее делам благотворительства: жертвует ежегодно значительные суммы балетной школе, Дому престарелых актеров Санкт-Петербурга, устраивает на Рождество домашние елки с угощениями и подарками для воспитанников приютских домов, заседает в попечительских советах и комитетах, участвует в благотворительных базарах, сборе пожертвований для нуждающихся. Пишут гадости, сплетни, небылицы. Ничья жизнь не является до такой степени достоянием толпы, никого так не обожают и в равной мере не презирают, как ее. Она – любимая кукла своего поколения, с которой ни на минуту не расстаются: наряжают, лелеют, целуют бесконечно, устраивают ночью под бочок, а днем таскают за ногу из комнаты в комнату вниз головой. Как часто бывает с общественными кумирами, образ ее предельно упрощен: цвет и тень, две-три яркие краски, полутона и подмалевки отсутствуют. Так понятнее. Внутренний ее мир, мысли, переживания никому не интересны – да будет вам, господа! Нашли где глубину искать! У танцорки, кокотки! Вы Вейнингера почитайте: у женщин и души-то вовсе никакой нет – исключительно только тело.

Она благополучно избежала всеобщего помешательства на декадентстве. Томочка Карсавина, водившая дружбу с этой публикой, уши прожужжавшая футуристами, кубистами, акмеистами и прочими самозванцами, затащила ее как-то в их штаб-квартиру на углу Итальянской улицы и Михайловской площади. Впечатлений она набралась – дальше некуда. При входе в подвальный кабак «Бродячая собака» с каждой из них содрали по двадцать пять рублей, заставили расписаться в толстой книге. Едва только они вошли в зал, лежавший на огромном турецком барабане юноша в желтой кофте ударил в него несколько раз кулаком. Очень остроумно! Публика за столиками без конца аплодировала входящим, Томочка сообщала шепотом имена: все сплошь были дутые знаменитости. Гудели неумолчно голоса, под сырыми сводами струился папиросный дым. На эстраде происходило малопонятное: двое рабочих клали внутрь открытого рояля, поверх струн, листы железа, какие-то предметы. «Конкретная музыка, – объявил конферансье с размалеванными синей и зеленой краской щеками, – исполнитель Илья Сац!» Севший за инструмент музыкант ударил со зверским выраженьем лица по клавишам – рояль загудел, заголосил, запричитал, как припадочный, – зал взорвался бурей аплодисментов. После «конкретной» музыки на помост взошел профессорского вида господин с живописной бородкой, принялся читать преувеличенно-страстно по бумажке:

– О, закрой свои бледные ноги!..

– …бледно-русые ноги свои! – откликнулся кто-то из зала.

Ей стало ужасно смешно.

– Ну и балаган! – говорила смеясь, когда они в предрассветных сумерках возвращались домой в ее автомобиле. – Сколько претензий… из-за чего, спрашивается? Скоморох на скоморохе! Татулька милая, что ты в них нашла, не понимаю?

Модернистское поветрие не миновало и театра. На двух главных столичных сценах, мариинской и александринской, экспериментировал кумир левого искусства Всеволод Мейерхольд. Бежавший за полным непризнанием из Москвы сумел приглянуться чем-то Вере Федоровне Комиссаржевской, взявшей его в свой театр. Поставил необычно блоковский «Балаганчик» на музыку Кузмина, с декорациями Сапунова: хрупкий мир символов, актеры взаимодействуют с куклами, в конце спектакля Пьеро-Мейерхольд умирает на просцениуме, истекая клюквенным соком. Ей понравилось: что-то трогательно-поэтичное, напоминавшее фокинские балетные картинки, которые ей довелось танцевать. Но когда спустя какое-то время она увидела поставленную им «Жизнь человека» Леонида

Андреева, которого почитала выше Чехова, – выхолощенную донельзя, играемую в грязно-сером каком-то пространстве, без декораций, рампы, софитов, на сцене, сплошь занавешенной грубыми холстами, возмущению ее не было границ. Двумя руками готова была подписаться под оценкой любимейшего артиста Владимира Николаевича Давыдова, назвавшего в газетном интервью Мейерхольда «бешеным кенгуру, сбежавшим из зоологического сада, которое уничтожает со страстью садиста все традиции».

Изгнанный в конце концов со скандалом Комиссаржевской театральный якобинец нашел неожиданно нового покровителя, – кого бы вы думали? – их кавалерийское сиятельство Теляковского, передавшего под его начало сразу две казенные сцены: драматическую в Александринском театре и оперную в Мариинском. Хорошо хоть не балетную…

Давний ее недруг так объяснил причину своего выбора:

«Когда художник Головин пришел ко мне в кабинет и сообщил, что Мейерхольд в театре Комиссаржевской рассчитан, ибо там всех чуть не перестрелял, до того увлекся новаторством, – то я, не посоветовавшись даже со специалистами, с которыми всегда в художественных вопросах советовался, попросил Головина вызвать ко мне Мейерхольда, а когда он спросил зачем, я ответил, что, должно быть, человек интересный, если все ругают. На следующий день Мейерхольд, очень удивленный моему вызову, пришел и был, вероятно, еще более удивлен, когда выходил из моего кабинета как уже принятый на службу в казенный, правительственный театр. Я нахожу, что Мейерхольд при его способности будить людей будет очень полезен на казенной сцене. Относительно его крайностей уверен, что он у нас с ними расстанется. Боюсь даже, чтобы новая обстановка не сделала из него рутинера».

Болезненно самолюбивый реформатор на удивление скоро пришелся ко двору – в прямом смысле слова: понравился невероятно государю. В особенности после помпезной даже по меркам императорской сцены постановки оперы «Борис Годунов» в Мариинском театре, приуроченной ко дню тезоименитства монарха. По сообщению газет, «после пятой картины публика потребовала исполнения народного гимна. Занавес был поднят, и зал вместе с хором во главе с солистом его величества Шаляпиным (исполнявшим роль Бориса Годунова), стоя на коленях и обратившись к царской ложе, исполнили «Боже, царя храни». Многократно исполненный гимн был покрыт участвовавшими и публикой громким и долго не смолкавшим «ура!». Его Величество, приблизившись к барьеру царской ложи,

милостиво кланялся публике, восторженно приветствовавшей императора криками «ура».

Глядя на сцену, она испытала чувство неловкости. За Ники, прежде всего. На колени-то зачем грохаться, господи? Пошлость ведь, лакейство, а никакая не любовь к монарху! Как Мейерхольд сам этого не понимает? Листала на другой день газеты: отклики, за редким исключением, были неодобрительными. Сразу две рецензии поместило «Новое время». «Считая Мейерхольда человеком талантливым, – писал автор за подписью А.С., – я, однако, думаю, что ему не следовало поручать такой русской пьесы, как «Борис Годунов». Для постановки ее надо иметь русскую душу, надо инстинктом чувствовать многое и очень важное. Не говорю уже о том знании русской жизни и обычаев, которое не дается изучением. Необходима русская красота в костюмах, в группах и жестах»… Более резко и в том же великорусском духе высказался критик О. Меньшиков. Особенно возмутила его первая картина, где по-современному одетые приставы хлестают толпу треххвостыми кнутами. «Откуда взял это г. Мейерхольд, – вопрошал он, – которому, как слышно, г. Теляковский поручил «стилизацию» императорской сцены? Я думаю, что г. Мейерхольд взял приставов из своей еврейской души, а не из Пушкина, у которого нет ни приставов, ни кнутьев. Господину Мейерхольду, или той кучке инородцев, в чьих руках императорская сцена, видимо, хотелось с первой же картины подчеркнуть глубокое рабство, в котором (будто бы) пребывала древняя Россия… Евреи Мейерхольд и Фокин возвеличивают поляков (полонез в «Борисе Годунове») и половцев (половецкие танцы в «Игоре») и, наоборот, уродуют русскую сторону».

Нате вам, и евреев с поляками приплели! Не говоря уже о половцах…

Скандал с постановкой вышел немалый, докатился до Государственной Думы. Во время прений по обсуждению сметы министерства внутренних дел давний знакомый Сергея, бывавший у них на обедах, депутат-монархист Владимир Митрофанович Пуришкевич заявил со свойственной ему горячностью: «Современный русский театр является местом растления русских нравов, духовного босячества, источником антагонизма между сословиями, классами и обществом».

Заварил кашу бешеный кенгуру – не расхлебаешь.

Не обошлось без курьезов. В театре пересказывали друг другу историю, случившуюся на спектакле с Шаляпиным. Во время антракта его пригласили, в гриме и тяжелом парчовом одеянии, в царскую ложу, где сиятельная семья пила чай. После положенных любезностей монарх со словами: «Я, Федор Иванович, хотел у вас

кое-что приватно спросить… – отвел его в глубину ложи. – Скажите, – осведомился, – вот я часто бываю на оперных спектаклях. Почему это тенора всегда имеют у публики, в особенности у женщин, такой успех, а басы, кроме вас, – нет?» Шаляпин простодушно ответил: «Ваше величество, ведь это очень просто. Тенора всегда поют партии любовников. Ну, женщины и умирают. А мы, басы, кого поем? Либо монахов, либо дьяволов, либо царей. Кого это интересует?».

Ники, говорят, смеялся до слез.

2

«Сорок лет – бабий век». Для балерины и подавно. Какая женщина, однако, а артистка тем паче, смирится с подобным приговором? Бесстрастно сделает ручкой залу, исчезнет навсегда за кулисами? Когда внутренний голос нашептывает: ни в коем случае! Ты в прекрасной форме, собираешь полные сборы, публика тебя обожает как прежде. Она была бы плохим профессионалом, не понимай, что время ее уходит. Не спала ночь, увидев фокинского «Лебедя» (тогда еще не умиравшего) в исполнении Анны Павловой. Впервые, кажется, призналась себе: так я, пожалуй, не сумею. Дело было не в технике – тоненькая, с цыплячьей грудкой Аннушка танцевала не лучше ее, в сложных элементах уступала, – но все это отошло на задний план, казалось несущественным. Балерина с тюлевыми крылышками за спиной словно бы освободилась на время от ненужных технических доспехов – была воздушно-невесомой, дышала танцем, растворилась в нем без остатка. Странно-притягательная пластика ее движений, созвучная удлиненным пропорциям женски неразвитого тела, нарочитая замедленность жестов, протяженность зависающих в воздухе балетных фраз придавали танцевальной картинке-мелодекламации грусть и очарование акварели. Ей, казалось, ни до чего не было дела – ни до притихшего зала, ни до нервно взлетаемой дирижерской палочки и взволнованных взглядов Направника, ни до завтрашних рецензий в газетах, ни до самой себя – по-павловски изнеженный, холодно-надменный, как она сама, белый ее лебедь был бесконечно далек от людской суеты…

…Они были сестрами-антиподами, Одеттой и Одиллией русского балета. Судьба словно бы специально распорядилась, чтобы у обеих не было ни единой схожей черты – ни в биографиях, ни в характерах, ни в физическом облике, ни в манере танцевать – ни в чем решительно. Дочь отставного солдата и кухарки Нюра Павлова переступила порог

императорского балетного училища, когда дочь модного петербургского мазуриста Маля Кшесинская получала аттестат – разница в возрасте составляла у них десять лет. Были ли они соперницами? Несомненно! Не в том, однако, смысле, который придавала (и придает по сей день) этому понятию досужая молва. Сама природа их ремесла несла в себе противостояние, по большей части – открытое, вынесенное на публику, в чьей единственно власти было определить сильнейшего. Не случайно именно балетный театр родил столь любимые зрителями танцевальные формы «па-де-де» и «па-де-труа» – танцы-поединки балерин и танцоров, проводимые по принципу: кто кого? «Ликует буйный Рим, торжественно гремит рукоплесканьями широкая арена». По сути то же самое: азарт толпы, жаждущей острых ощущений, гладиаторская схватка не на жизнь, а на смерть, приговор трибун – слава победителю, горе побежденному…

Гениальной претендентке повезло с гениальной соперницей – обе были из материала высшей пробы, удары кремния по металлу высекли ослепительную искру. Что бы там ни говорили, именно Кшесинская – самим фактом присутствия на балетной сцене, задававшем планку тогдашней отечественной хореографии, разожгла честолюбие прирожденной академической танцовщицы, способствовала в значительной мере раскрытию ее самобытного дара, выбору собственного пути в искусстве. Общим для обеих было, разве что, изменчивое время, мучительная ломка традиций, поиск новых идеалов – во всем. Обе как в русской сказке оказались на распутье: направо пойдешь – ретроградкой прослывешь, налево пойдешь – костей не соберешь. Молодому мастеру, не в пример стареющей примадонне, не пришлось колебаться, в каком направлении идти – в левый лагерь, разумеется, к балетмейстерам своего поколения, к Дягилеву – куда же еще! Кшесинская с естественной для ветерана осторожностью задержалась на перекрестке. Периодически происходившие – по слухам или на самом деле – шумные ее уходы из театра с последующими возвращениями, казавшиеся обычным приемом саморекламы, отражали в действительности метания мыслящего художника: что дальше? Героиня полусотни балетов почившего в бозе Мариуса Ивановича Петипа не цеплялась слепо за доживавшую свой век пасторальную эстетику, напротив, – азартную, увлекающую ее натуру манила новизна, опыты молодых хореографов, за которыми, понимала она, будущее балетной классики. Свежо и ярко исполненные ею роли в таких новаторских композициях Михаила Фокина, как «Призрак розы», «Па-де-де», «Рондо-каприччиозо» в паре с Нижинским или «Эрос» с Петром Владимировым, говорят сами за себя.

И все же родиться заново она не могла, не каждое новое платье было ей к лицу. Хватило ума сохранить нажитое, не мазать сгоряча румянами щеки, не лезть безоглядно в девичий хоровод выросших на ее глазах самонадеянных молодых солисток – упаси бог! – потеряешь окончательно собственное лицо! Увлекаемая бурным течением эпохи от одного балетного берега к другому, она осталась в конечном счете сама собой. Востребованной новым временем балериной девятнадцатого века…

У нее новый партнер Владимиров, вдвое моложе ее, по чьему адресу в театре шутят: темпераментного Петеньку свел с Кшесинской «Эрос». Атлетически сложенный, заносчивый подросток сделал головокружительную карьеру: со школьной скамьи угодил в премьеры, заменив уволенного с «волчьим билетом» за очередной проступок (вслед за Дягилевым) Вацлава Нижинского.

«В особенности хорошо я стала танцевать в последние годы, – пишет она в воспоминаниях, – когда начала выступать с Владимировым. Он страшно увлекался на сцене и вдохновлял свою партнершу. Я с ним выступала в «Лебедином озере» и так с ним станцевалась, как ни с кем. Он меня замечательно поддерживал в адажио 2-ой картины 1-го действия, подбрасывал и ловил как перышко, так что весь зал ахал от восторга, – это было в те времена совсем ново. «Талисман» всегда был моим удачным балетом, и очень выигрышным. Но с тех пор, что со мною стал в нем выступать П. Владимиров, балет этот еще больше выиграл. Когда во втором действии Владимиров изображал Гения ветра и вылетал на сцену, неся меня на своем плече, это производило огромное впечатление. Известный критик Юрий Беляев писал, что Владимиров вылетает на сцену, будто с бокалом шампанского, и преподносит этот бокал публике».

Шутки про «Эрос» родились не на пустом месте, в труппе открыто говорили про очередное увлечение стареющей примадонны. Сплетня докатилась до великих князей – дядя требовал у Малечки не ставить себя в неловкое положение, вспыльчивый же племянник, будучи в Париже и застав в неурочный час в номере любовницы мальчишку-премьера, вызвал того на дуэль. Поединок состоялся на другой день в Булонском лесу – к счастью, без серьезных последствий: Владимиров, не умевший стрелять, промазал, пуля князя слегка задела обидчику нос. Театральный роман со временем увял, сплетники угомонились, дядя с племянником ее простили. С Петей, в чувствах к которому у нее было много материнского, а у него сыновнего, они сохранили отношения доверия и дружбы до конца своих дней.

Физически она мало изменилась: на сохранившихся кадрах кинохроники тех лет и бесчисленных фотографиях – пленительная маленькая дама со смеющимися ветреными глазами, как правило, в окружении мужчин.

Сезон 1912 года у нее нерабочий в связи с трауром по умершей матери. В театральной афише Мариинского театра по этому поводу внушительная прореха: все балеты примадонны до ее возвращения сняты с репертуара.

Непривычно тихо в особняке на Каменноостровском: оба любовника в отлучке. Болезненный Андрюша по совету врачей лечится на европейских курортах, получивший новую должность главного инспектора русской артиллерии Сергей – в деловой поездке по Сибири. Лето она проводит в Стрельне – минимум визитеров, скромные удовольствия: карты в кругу близких друзей с неизменным партнером великим князем Дмитрием Павловичем, велосипедные прогулки, поездки в Петергоф, где проходят парады уланских полков, домашние обеды в обществе военных, затягивающиеся до утра, после которых веселую кампанию развозят по бивуакам на ее автомобиле. Грустить по-настоящему не дают. Прибыла делегация из театра во главе с московским балетмейстером Горским, ставящим в бенефис кордебалета обновленного «Конька-Горбунка», хором зовут выступить. («Ну сама посуди, Малюша, какие могут быть сборы в отсутствии примадонны?») Приходится уступить… В последнем акте балета она танцует на пуантах любимую зрителями «Русскую». Начало танца минорное, из глаз ее неудержимо катят слезы. Зал неистовствует, нескольким дамам в ложах оказывают срочную помощь. Успех, какого не ждали…

Время несется вскачь, не успела оглянуться – Новый год. На рождественскую елку в дом, как обычно, пригласили детей, сверстников Вовы из малоимущих семей. Ребят ожидает сюрприз: в праздничном представлении участвует знаменитый клоун Дуров с дрессированными животными, среди которых – слон, закутанный из-за мороза в клетчатый плед, с трудом втиснувшийся в помещение через настежь распахнутую парадную дверь. После короткого перерыва на чаепитие униформисты вносят в зал гигантскую золоченую кровать и ночной горшок размером с пивную бочку. Под ребячий громкий смех громадина-слон показывает, как собирается воспользоваться горшком перед тем, как улечься спать.

…От Андрея что ни день – телеграмма: истосковался в одиночестве. Наспех собравшись, налегке, вместе с незаменимым в путешествиях Мишей Александровым (барон Готш с годами отяжелел) и мопсиком Джиби она устремляется в дорогу.

Зимняя Европа; похожий на рождественскую открытку снежный Сен-Мориц в окружении ледяных альпийских вершин; бурлящая праздничная толпа в разноцветных фуфайках и шарфах, загоревший на горном солнце Андрюша, не отрывающий от нее влюбленных глаз, прогулки на лыжах в ближний лес, катания с ветерком под мелодичный перезвон бубенцов по окрестностям в парных санях, интимные вечера в апартаментах Андрея в обществе его адъютанта поручика фон Кубе, наблюдающего доктора Маака и Миши Александрова – у горящего камина, под нарядно украшенной елкой, с вкусной едой на столе, подогретым красным вином в бокалах, цыганскими романсами под Мишину гитару.

Месяц спустя они всей кампанией на Лазурном Берегу, в собственном доме. Купленная год назад на мысе Кап д'Ай двухэтажная вилла «Алам» (обратное прочтение по-французски ее уменьшительного имени) к их приезду капитально переделана и расширена, в комнатах – выписанная из Ниццы стильная мебель, прекрасно звучащий рояль в салоне. Хлопочет на кухне у плиты нанятая загодя кухарка, в прихожей командует по-европейски подтянутый, расторопный лакей Арнольд, раздевающий бесчисленных визитеров. Сутки напролет – приемы, визиты, прогулки, рестораны.

Жить в двух шагах от Монте-Карло и не заглянуть в игорное заведение?..

– «Мадемуазель Семнадцать»! – шепчут друг другу помнящие ее в лицо служители казино.

Здесь к ней относятся с профессиональным уважением. В отличие от большинства представительниц прекрасного пола, ездящих в Монте-Карло с единственной целью – покрасоваться на публике в новом туалете, русская этуаль – прирожденный игрок. Поразительное владение эмоциями: не кидается в крайности, умеет выжидать. Рискнула на этот раз испытать судьбу за карточным столом и – нате вам! – в первой же партии в баккара одолела закаленных бойцов, сорвала банк – около четырех тысяч франков! Не удержалась, правда, оставила почти всю сумму четверть часа спустя, перейдя к рулетке, ставя на всевозможные комбинации заветного своего числа «17», которое в этот день упорно не желало выигрывать.

– Попробуй, Малюша, что-нибудь другое, – советовал стоявший за ее спиной военный в сияющем наградами голубом мундире, по слухам – родственник русского императора.

– Ни за что! – смеясь отвечала она. Встала из-за стола, оправляя платье, пересчитала на ходу оставшиеся фишки. – На чаевые, пожалуй, хватит, – заметила, подставляя руку кавалеру.

3

Лето четырнадцатого года было щедрым на тепло, пригожие денечки. Цвела в изобилии за оградой стрельнинской дачи махровая сирень, вилась мошкара над вечерним столом с кипящим самоваром, подпевал нестройно и самозабвенно граммофонному голосу Вяльцевой лягушачий хор из ближнего пруда. В июле справили Вовины именины, наехало по обыкновению множество гостей, детям устроили на декорированной под арену площадке для крокета шуточный бой быков. Радостям, безмятежному существованию, казалось, не будет конца, ничто не предвещало грядущих потрясений.

В конце месяца она танцевала в Красносельском театре свою нетускнеющую «Русскую» в присутствии государя и императрицы. Во время антракта в царскую ложу были доставлены какие-то важные сведения, монарх срочно отбыл во дворец. Наутро пришло известие: в сербском городе Сараево убиты террористом наследник австро-венгерского престола Франц Фердинанд с супругой, Австро-Венгрия открыла против сербов военные действия. Двое суток спустя поступил указ о всеобщей мобилизации, через день Германия объявила России войну.

Невыспавшаяся, встревоженная выехала она наутро в Петербург. Перебраться на правый берег Невы было невозможно, дорогу автомобилю преграждали двигавшиеся вдоль набережной и по мостам толпы народа – с иконами, хоругвями, царскими портретами. Едва только на балконе Зимнего дворца показалась императорская чета, десятки тысяч людей, заполнивших Дворцовую площадь, как один опустились на колени, запели «Боже, царя храни». К вечеру кто-то сбросил со здания германского посольства украшавшие его конные статуи, на улицах громили немецкие лавки и магазины.

Жизнь сорвалась с колеи, покатила в неизвестность. Уходили на войну близкие люди. Позвонил отправлявшийся со своим полком на передовую великий князь Дмитрий Павлович, попросил приехать, проститься. Она достала торопясь из секретера образок ченстоховской Божьей Матери, доставшийся в наследство от родителей, в чудодейственные свойства которого свято верила, опустила в сумочку. Верного друга Димушку нашла на запасных путях станции, руководившего погрузкой лейб-улан в эшелоны. Оба молча поднялись в его вагон.

«Какой это был грустный и тяжелый момент, когда он встал на колени передо мною и я его благословляла, – вспоминает она. – В такой момент не знаешь, увидишь ли еще когда-нибудь или нет».

Посчитал недостойным для себя уклониться от исполнения воинского долга оставивший в свое время по состоянию здоровья командование артиллерийской батареей и числившийся в императорской свите Андрей.

«Прошел уже второй месяц войны, и стало невмоготу, – читаем в его дневнике. – Как ни тяжело было проситься в штаб, а не в строй, я все же решился и написал Кириллу, который находился в Ставке Верховного главнокомандующего. Предварительно я просился у Ники, который меня благословил на это… Я получил от Николаши телеграмму: «Тебе высочайше разрешено состоять в распоряжении генерала Рузского, можешь выехать, как только будешь готов, предварительно заезжай ко мне. Николаша».

В конце сентября, выслав вперед лошадей и мотор, он уехал с Александровского вокзала, сопровождаемый адъютантом Ф.Ф. фон Кубе, камердинером Бондаренко и казаком Дмитрием, в Ставку Рузского в Могилеве.

Сережу, славу богу, судьба на какое-то время уберегла от фронта: мучимый бездействием генерал-инспектор артиллерии лежал у себя на даче в Михайловке с тяжелой формой суставного ревматизма, полученного во время поездки по Сибири, о скором его возвращении в строй нечего было и думать.

Вести с войны приходили скудные, просеянные сквозь сито цензуры. Знающие люди уверяли: к Рождеству наши будут в Берлине. Холодным душем вылилось известие о разгроме в Восточной Пруссии армии генерала Самсонова, чудовищных потерях с нашей стороны (за первый год кровопролитных сражений русские войска потеряли больше полутора миллионов ранеными, убитыми и взятыми в плен). В Петроград (переименованный из Санкт-Петербурга по требованию патриотически настроенных слоев общества) десятками эшелонов прибывали раненые. Лечебных коек не хватало, в лицеях, гимназиях, жилых домах, всюду, где наличествовали подходящие помещения, в спешном порядке оборудовались частные лазареты и госпитали. Одной из первых она открыла неподалеку от дома солдатский лазарет – с палатами на тридцать коек, двумя операционными, постоянным штатом медицинских сестер и обслуживающего персонала.

«Мой долг россиянки сегодня, – писала она Андрею, – служить всеми силами родному Отечеству и Государю».

С постоянным своим партнером Петром Владимировым, солистом оперы Витингом и капельмейстером Лачиновым она отправляется в двухнедельную поездку по России с целью сбора средств на нужды военных госпиталей. Гастрольный маршрут –

Москва, Киев, Харьков, Ростов-на-Дону, Баку и Тифлис.

«Путешествовать во время войны было делом довольно сложным, – рассказывает она, – в каждом городе надо было ехать в гостиницу, брать туда с собою весь свой багаж, а после спектакля спешить на поезд. Это было крайне утомительно. Великий князь Сергей Михайлович уступил мне тогда свой салон-вагон, очень вместительный и оборудованный для дальних поездок. Середину вагона занимал довольно обширный салон, а рядом с ним была моя спальня и уборная. По одну сторону салона находился буфет-кухня, где мой лакей Арнольд мог в случае надобности готовить нам отличный обед, дальше было отделение для него и, наконец, багажное отделение. По другую сторону салона было отделение в четыре места, где поместились Владимиров, Витинг и Лачинов, затем было маленькое отделение в два места для моей горничной и Наташи Рубцовой, дочери моей экономки, а в последнем отделении помещался вагоновожатый… После спектакля было весело возвращаться к себе в вагон как домой, где нас по обыкновению уже ждал обильный и всегда вкусный ужин… И так беззаботно мы катили по России».

Бесхлопотно, в приподнятом настроении проехалась она весной 1916 года на фронт с неразлучным Петенькой, раздавая в замаскированных лесных бараках под Минском подарки солдатам, танцевала для военных моряков в скованном ледяными торосами Гельсингфорсе, участвовала в благотворительных концертах, выручка от которых шла в пользу семей артистов, ушедших на войну. Быть Жанной д'Арк она не стремилась, служила «родному Отечеству и Государю» в меру возможностей, как умела.

Мыслями она часто обращается к дорогому по-прежнему человеку, несущему на плечах непомерную тяжесть ответственности за судьбу России. Знающая много больше рядового обывателя о дворцовом закулисье, с горечью признает: Ники, став государем, в сущности, не изменился. Та же подверженность чужим влияниям, безволие в решающий момент. Поразительно, как можно быть таким нетвердым, позволять, чтобы тобой управляли кому ни лень?

Авторитет царя стремительно падал.

«Надо быть совсем слепым, тупым, чтобы не чувствовать, что дальше так нельзя править страной», – записывал в дневнике – не вольтерьянец вовсе, не революционер – директор императорских театров А. Теляковский.

Над престолом мрачной тенью нависла фигура малограмотного сибирского мужика, забравшего при посредстве слепо повиновавшейся ему императрицы нити управления

страной. В голове не укладывалось: полупьяный развратник-простолюдин разгуливал как у себя дома в дворцовых покоях, имел собственную канцелярию, фрейлину-секретаршу; по корявым его запискам, испещренным чудовищными каракулями, принимались важнейшие государственные решения, назначались и смещались министры. Уверяли, что он обладает какими-то сверхъестественными способностями, заговаривает кровь, что дважды ему удалось остановить кровотечение у страдавшего гемофилией наследника Алексея – она сама была матерью и могла понять чувства женщины, цеплявшейся за любую соломинку, дабы спасти любимое чадо, но даже это не оправдывало в ее глазах творившегося во дворце кошмара. Собственными ушами слышала, как один из дежуривших у театрального подъезда извозчиков говорил другому: «Царь-то наш с «егорием», а царица, тово… с Григорием». Как подобные вещи можно было терпеть! В такое время!..

О скорой победе уже не заикались, дни проходили в тревоге, напряженных ожиданиях. Замерзавший Петроград словно бы потемнел ликом, приобрел фронтовой облик. Ввели комендантский час, выходить на улицу можно было только до восьми вечера. С пугающей быстротой пустели прилавки съестных магазинов, экономка жаловалась: на рынке покупателей больше, чем торговцев, продукты хватают не глядя.

– Николя, похоже, окончательно утратил контроль над делами. Катим неудержимо в пропасть, – говорил выздоравливающий Сергей, когда она посетила его в очередной раз в Михайловке.

Под большим секретом он показал ей добытую окольными путями копию письма императрицы, адресованного родной сестре, великой княгине Виктории Федоровне, где черным по белому утверждалось: «Бывают моменты в истории жизни народов, когда при слабоволии законных их правителей женщины берутся за кормило правления государством, ведомых по уклону мужскою рукою. Россия такие примеры знает…»

– Каково, а? – восклицал он. – Екатерина Великая, не меньше! Того и гляди, переворота дождемся!

Члены семьи Романовых, включая Верховного главнокомандующего великого князя Николая Николаевича-младшего, составили на конспиративной встрече записку государю с настоятельным призывом: взять бразды правления Россией в свои руки, прекратить вмешательство в государственные дела императрицы, направляемой всецело злонамеренной волей Распутина. Результат демарша не заставил себя ждать: талантливого, энергичного военачальника Николая

Николаевича-младшего уволили с занимаемого поста, отправили командовать второстепенным по значимости Кавказским фронтом, место его занял сам монарх, большинству подписантов было выражено высочайшее неудовольствие, некоторым приказали срочно покинуть столицу.

В обстановке неразберихи, всеобщего брожения по Петрограду разнеслась ошеломляющая весть: Распутин убит, тело его обнаружено полицейскими подо льдом Невы; в числе лиц, подозреваемых в умерщвлении «старца», хорошо знакомые ей князь Феликс Юсупов, думский депутат Владимир Пуришкевич и – страшно подумать! – находившийся в столице по случаю краткосрочного отпуска мил-друг «Димушка», великий князь Дмитрий Павлович…

4

Вот и не верь пророчествам… Чуявший за собой постоянную охоту хитрющий Григорий Ефимович, желая, чтобы драгоценную его особу берегли пуще глаза, начертал заранее в тетрадке, выдаваемой за дневник, что, мол, в случае его, Распутина, насильственной смерти скорая погибель ожидает неминуемо и Россию. Как в ледяную невскую воду глядел, шельмец! Двух месяцев не прошло после рокового события в Юсуповском дворце на Мойке, как тысячелетняя империя стала разваливаться на куски.

«Каждый день приносил все более тревожные вести, – вспоминает Кшесинская. – Никто не знал, в чем тревога, но чувствовалось, что наступает какая-то гроза, и беспокойное настроение все росло в городе».

В начале февраля она в последний раз после двадцати семи лет профессиональной службы танцевала в звании примабалерины в Мариинском театре, на благотворительном вечере, устроенном графиней М.И. Витте в пользу Дома Труда для увечных воинов. На другое утро позвонил знакомый полицмейстер их участка генерал Галле, посоветовал ввиду ожидаемых беспорядков покинуть на время город. Прихватив сына, сопровождаемая Петром Владимировым, она уехала в расположенный в Финляндии санаторий Рауха, где и прожила неделю, пока любезнейший Галле не протелефонировал: в Петрограде спокойно, можно возвращаться. Верная принципу – не горевать без нужды, она устроила по приезду грандиозный домашний обед на двадцать четыре персоны. Приказала извлечь и расставить на прежних местах хранимые с начала войны в шкафах предметы убранства, сувениры, безделушки. Парадный

стол украсили свежими ландышами, сервировали французским фарфором «лимож», золотым десертным сервизом, скопированным Фаберже с эрмитажного подлинника екатерининских времен. Застолье удалось на славу. Переменам блюд не было конца, вина лились рекой. Воздав должное искусству повара-француза, произнеся бессчетное количество тостов, перешли в салон, мило болтали, пили шампанское и ликеры, слушали музыку, играли в баккара.

«На следующий день, 23 февраля, – пишет она, – когда моя экономка проверяла серебро, хрусталь и белье, что делалось всегда после больших приемов, кто-то из моих служащих прибежал взволнованный и сообщил, что по Большой Дворянской улице движется несметная толпа. Началось то, чего все боялись и ожидали, а именно уличные выступления. Толпа прошла мимо моего дома, не нарушив порядка. Первые три дня еще была надежда, что все уладится и успокоится, и 25 февраля я даже рискнула поехать в Александринский театр на бенефис Юрьева, давали «Маскарад» Лермонтова в постановке Мейерхольда».

Всероссийский остряк Мятлев назвал мейерхольдовскую затею с «Маскарадом» самым длинным из театральных анекдотов. Работа над эпохальной, как ее заранее окрестили, постановкой продолжалась шесть лет, обошлась казне в 300 тысяч рублей золотом. Музыку к спектаклю написал А. Глазунов, в одну из сцен включили «Вальс-фантазию» М. Глинки, художник А. Головин сделал в процессе подготовки 4 тысячи эскизов и рисунков декораций, костюмов, реквизита, грима. Полную неистовых страстей лермонтовскую драму втиснули в прокрустово ложе условного театра. Исполнявшие главные роли столпы русской актерской вольницы, ведомые Ю. Юрьевым, потеряли за время изматывающих репетиций собственное лицо, выглядели в редких по красоте «живых картинах» не более чем нарядными манекенами, призванными иллюстрировать текст. Перед каждым из четырех актов поднимался отдельный занавес: разрезной, с изображениями карт, для сцены в игорном доме, бело-розово-зеленый для бала-маскарада, тюлево-кружевной для спальни и, наконец, траурный, из черной кисеи с нашитыми венками, для заключительной сцены.

«Мороз пробежал по коже, – вспоминает Кшесинская, – когда в финале зазвучала исполняемая церковным хором православная панихида. Всем сделалось не по себе».

Момент для представления своей фаталистской мистерии Мейерхольд выбрал как на заказ. Публика (включая присутствовавших в театре великих князей) разъезжалась с премьеры под завыванье метели и пулеметные очереди,

раздававшиеся с крыш. В Петрограде царил хаос. С рассветом в центр хлынули из прилегающих окраин женщины-работницы, требуя хлеба, разъезжали вдоль тротуаров, не зная, что делать, конные патрули, закутанные люди в заснеженных одеждах, встречая войска, кричали «Ура!». На Невском возводились баррикады из опрокинутых саней, ящиков и электрических столбов, на Захарьевской горело здание суда, слышался откуда-то треск выстрелов, по улицам водили разоруженных городовых с перекошенными от страха лицами.

События катили как снежный ком. Заседавшая десять часов подряд Государственная Дума обратилась с призывом к Николаю Второму Романову отречься во имя спасения нации от престола, в Ставку в Могилев срочно отправилась думская делегация во главе с «октябристом» А.И. Гучковым – уговаривать царя «внять гласу народных русских масс». Удивительная метаморфоза произошла у нее на глазах со многими вроде бы законопослушными, порядочными людьми. Все, оказывается, в душе были революционерами, защитниками угнетенного народа, люто ненавидели монархию. Понацепили в день обнародования царского декрета об отречении красные банты, ходили с радостно-умильными лицами, братались с мятежниками, произносили пустопорожние пламенные речи. Трусы и ничтожества! Переделом вероломства выглядело в ее глазах поведение старшего брата Андрея, великого князя Кирилла Владимировича, помчавшегося сломя голову присягать Временному правительству, в то самое время, как униженного его двоюродного брата под конвоем солдатни доставили с вокзала в Царское Село и чей-то хамский голос крикнул: «Открыть ворота бывшему царю!»

(«Великий князь Кирилл Владимирович объявил себя за Думу, – записал в дневнике французский посол в России Морис Палеолог. – Он сделал больше. Забыв присягу в верности и звание флигель-адъютанта, которое он получил от императора, он пошел сегодня (14 марта) в четыре часа преклониться пред властью народа. Видели, как он в своей форме капитана 1 ранга отвел в Таврический дворец флотские гвардейские экипажи, коих шефом он состоит, и представил их в распоряжение мятежной власти».)

Оказавшийся в Петрограде будущий нобелевский лауреат Иван Бунин так описал обстановку тех дней:

«Последний раз я был в Петербурге в начале апреля 17 года. В мире тогда уже произошло нечто невообразимое: брошена была на произвол судьбы – и не когда-нибудь, а во время величайшей мировой войны – величайшая на земле страна. Еще на три тысячи верст тянулись на западе окопы, но они уже стали простыми

ямами: дело было кончено, и кончено такой чепухой, которой еще не бывало, ибо власть над этими тремя тысячами верст, над вооруженной ордой, в которую превращалась многомиллионная армия, уже переходила в руки «комиссаров» из журналистов вроде Соболя Иорданского. Но не менее страшно было и на всем прочем пространстве России, где вдруг оборвалась громадная, веками налаженная жизнь и воцарилось какое-то недоуменное существование, беспричинная праздность и противоестественная свобода от всего, чем живо человеческое общество.

Я приехал в Петербург, вышел из вагона, пошел по вокзалу: здесь, в Петербурге, было как будто еще страшнее, чем в Москве, как будто еще больше народу, совершенно не знающего, что ему делать, и совершенно бессмысленно шатавшегося по всем вокзальным помещениям. Я вышел на крыльцо, чтобы взять извозчика: извозчик тоже не знал, что ему делать – везти или не везти, – и не знал, какую назначить цену.

– В «Европейскую», – сказал я.

Он подумал и ответил наугад:

– Двадцать целковых.

Цена была по тем временам еще совершенно нелепая. Но я согласился, сел и поехал – и не узнал Петербурга.

В Москве жизни уже не было, хотя шла со стороны новых властителей сумасшедшая по своей бестолковости и горячке имитация какого-то будто бы нового строя, нового чина и даже парада жизни. То же, но еще в превосходной степени, было и в Петербурге. Непрерывно шли совещания, заседания, митинги, один за другим издавались воззвания, декреты, неистово работал знаменитый «прямой провод» – и кто только не кричал, не командовал тогда по этому проводу! – по Невскому то и дело проносились правительственные машины с красными флажками, грохотали переполненные грузовики, не в меру бойко и четко отбивали шаг какие-то отряды с красными знаменами и музыкой… Невский был затоплен серой толпой, солдатней в шинелях внакидку, неработающими рабочими, гулящей прислугой и всякими ярыгами, торговавшими с лотков и папиросами, и красными бантами, и похабными карточками, и сластями, и всем, чего просишь. А на тротуарах был сор, шелуха подсолнухов, на мостовой лежал навозный лед, были горбы и ухабы. И на полпути извозчик неожиданно сказал мне то, что тогда говорили уже многие мужики с бородами:

– Теперь народ, как скотина без пастуха, все перегадит и самого себя погубит».

Новая власть была не более чем погремушкой среди разгула стихий. В столице хозяйничали самозваные солдатские и рабочие

комитеты, опорой которой стал бросивший фронт православный русский мужик с «трехлинейкой» на плече, дорвавшийся, наконец, до любимого с пугачевских еще времен занятия – грабежа (по новой терминологии – «реквизиции») чужой собственности.

Возможностей для этого в богатейшем из городов мира у него было предостаточно.

5

– Алло! Алло!.. Барышня, вы меня слышите?.. Господи, что же это такое? Невозможно никуда дозвониться!..

Она кинулась в будуар, где одетый, в распахнутом тулупчике сидел в кресле Вова с игрушечной саблей в руке.

– Петр, Павлуша! – закричала в глубину комнат, – собирайтесь, мы уходим!.. – Ухватила за руку сына. – Идем, идем… – проговорила в волнении. – Брось, пожалуйста, саблю!

– Но, мамочка…

– Брось, я сказала!

Накануне она сделала необходимые распоряжения экономке, собрала и уложила на всякий случай в ручной саквояж оставшиеся в доме мелкие драгоценности (крупные заблаговременно перевезли и сдали на хранение в казенную ссудную казну на Фонтанке). В понедельник вечером они сидели за обеденным столом: воспитатель сына Георгий Адольфович, Петя и артист их балетной труппы Павел Гончаров. Разговор не клеился, блюда в тарелках стояли нетронутыми, гости усиленно налегали на вино. За Невой то возобновлялась, то стихала ненадолго ружейная перестрелка, но вот выстрелы стали раздаваться совсем рядом – оглушительно, словно лопались в соседней зале гигантские хлопушки. Все вскочили из-за стола, побежали к окнам…

Покидая четверть часа спустя дом, одетая в самое скромное, что нашлось в гардеробе из меховых вещей, закутанная в чей-то чужой платок, она вспомнила, похолодев, что забыла в прихожей песика Джиби. Кинулась назад, схватила на руки нервно дрожавшего всем телом любимца, прижала к груди. «Миленький, миленький, успокойся, я с тобой», – шептала, спускаясь с заснеженного крыльца, шагая как сомнамбула сквозь белую мглу, поддерживаемая с двух сторон Петей и сыном, выдирая с трудом ботики из снежной каши на тротуаре, думая растерянно: «Господи, куда я иду? Зачем?»

На всю жизнь запомнился ей ветреный, с колючими зарядами в лицо вечер, положивший начало ее скитаниям. Как они

двигались, гонимые страхом, обходными переулками (сначала Конным, потом Крестьянским), вздрагивая от любой мелькнувшей поблизости тени. Молили Бога, чтобы помог избежать встречи с бандитами. Как на нее напал истерический смех, когда шедший впереди Павлуша неожиданно поскользнулся среди дымившихся на снегу зловонных куч и сел в одну из них, выронив саквояж с драгоценностями. Как они поднимались гуськом по скользким, обледенелым ступеням дома Лидваля в конце Каменноостровского – лифт бездействовал, электричество в вестибюле не горело, они лезли друг за другом во тьме на верхний пятый этаж, в квартиру вчерашнего рокового Арбенина в «Маскараде», добрейшего Юрия Михайловича Юрьева, вышедшего на звонок в роскошном шелковом халате небесной голубизны, нисколько не удивившегося нежданным гостям, устроившего их вместе с домочадцами в проходном коридорчике, где не было окон и опасности угодить под шальную пулю со двора и где они прожили, не раздеваясь, несколько суток.

С февраля по июль мыкалась она с сыном по чужим углам. Жила у брата Юзи, у замужней старшей сестры на Английском проспекте, у приятельницы Лили Лихачевой на Офицерской, переехала затем и поселилась в крошечной квартирке Пети Владимирова на Алексеевской улице. Ее собственный дом облюбовали разместившиеся на первом этаже солдаты автомобильного дивизиона. Второй этаж спустя некоторое время занял Петроградский комитет большевиков с дюжиной подведомственных организаций, включая редакцию «Солдатской правды». Обо всем, что происходило в особняке, она получала подробную информацию от сохранивших ей верность горничной Людмилы и оставшегося жить в доме на правах швейцарского подданного лакея Арнольда, который ухитрялся ежедневно их с Вовой подкармливать из кладовых припасов.

Дом, по сведениям, планомерно разворовывался – тащили свои и чужие: экономка Рубцова, коровница Катя, комитетчики, комиссары, охранники, пишбарышни. Не гнушались хапнуть что плохо лежит большевистские вожди.

«Проезжая как-то мимо своего дома, – вспоминает она, – я увидела Коллонтай, разгуливающую в моем саду в моем горностаевом пальто. Как мне говорили, она воспользовалась и другими моими вещами, но не знаю, насколько это верно».

Пережив первый страх, она рискнула заехать на Каменноостровский.

Представшая ее глазам картина не поддавалась описанию. Парадная мраморная лестница, ведущая в вестибюль, была завалена выброшенными из шкафов книгами, в которых рылись

какие-то женщины. Шастали по коридорам невообразимые личности, стучала за стеной пишущая машинка. В комнатах – раззор. Полуопрокинутый рояль красного дерева втиснут намертво между двумя колоннами, на полу среди заляпанных ковров обломки разбитой посуды, из шифоньера в спальне вырвана с петлями дверца, внутри сложенные как попало винтовки, в ванне-бассейне – гора невыносимо пахнущих табаком и мочой мокрых окурков. Мамаево нашествие…

Она прошла, торопясь, в маленькую угловую гостиную в стиле Людовика XVI, куда по ее указанию было перенесено после начала февральских событий упакованное в ящики и футляры столовое серебро. Внешне все выглядело нетронутым (позже обнаружилось, что ящики пусты).

– Как видите, мамзель, добро ваше в полной сохранности, – уверял ходивший за ней по пятам то ли комендант, то ли начальник охраны с изрытым оспой лицом по фамилии Агабабов.

Он бросал на нее пламенные взгляды, уговаривал вернуться и жить под его защитой:

– Если пожелаете, можете поместиться в любой из комнат. Со всеми удобствами!

«Я ничего не ответила, – пишет она, – это уже было верхом нахальства».

Ее задели за живое. Как! Какая-то шантрапа присвоила себе право распоряжаться ее добром! Указывать, где ей жить, а где нет? Кто дал им на это право? Куда подевалась власть? Где полиция, армия? Для чего существует дурацкое Временное правительство, министры, если всем заправляют типы вроде этого Агабабова!

Поначалу она предприняла попытку договориться с большевиками напрямую. Предложила освободить хотя бы часть комнат второго этажа, чтобы сдавать их внаем жильцам. Ее не стали даже слушать: шла бы ты, барынька, куда подальше! Собравшись с силами, она отправилась по инстанциям: Военная комиссия Временного комитета Государственной Думы («Не по нашей части, госпожа Кшесинская»), командующий Петроградским военным округом генерал Корнилов («Виноват, мадам, ничем помочь не в состоянии»), Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов («Уплотнение – временная мера. Она коснулась не одной только вас. Проявите революционную сознательность, гражданка»).

С помощью доброго знакомого, редактора журнала «Столица и усадьба» Владимира Пименовича Крымова, имевшего повсюду прочные связи, она нашла дорогу к министру юстиции Временного правительства А.Ф. Керенскому, попросила

содействия.

Изворотливый, велеречивый политик деликатно охладил ее пыл.

«Он меня очень мило принял, – читаем в «Воспоминаниях», – усадил в кресло, но пояснил мне, что освободить мой дом нельзя, так как это повлечет за собой кровопролитие около него, что еще более осложнит дело».

Она решилась на отчаянный по тем временам поступок: обратилась к помощи судебных властей. Нанятый адвокат, присяжный поверенный В.С. Хесин, подал от ее имени гражданский иск в суд Петроградского района. Ответчиками по делу были названы: Центральный комитет РСДРП(б), Центральное бюро профсоюзов, Петроградский комитет РСДРП(б) в лице одного из секретарей, помощника присяжного поверенного С.Я. Багдатьева, Петроградский районный комитет партии эсеров, Клуб военных организаций, кандидат прав В.И. Ульянов (литературный псевдоним Ленин), студент Г.С. Агабабов.

Суд, к удивлению многих, все-таки состоялся! Интересы большевиков на нем представляли литовский социал-демократ, помощник присяжного поверенного Мечислав Козловский и уже упомянутый С.Я. Багдатьев. Перед началом слушаний мировой судья М.Г. Чистосердов огласил справку, согласно которой Центральное бюро профсоюзов добровольно покинуло помещения спорного особняка, Районный комитет партии эсеров повестку в суд принять отказался, а ответчику Ленину вручить повестку не удалось «за непроживанием по указанному адресу».

Все было как в старые добрые времена: судейские вопросы, прения сторон, пламенные речи адвокатов. Защищавший ее присяжный поверенный Хесин, потрясая копией купчей крепости на особняк по Большой Дворянской, доказывал, что священное право собственности остается в России нерушимым – никто не вправе завладевать самовольно чужим имуществом.

– Прошу не забывать! – желчно парировал поднявшийся вслед за ним на трибуну Козловский. – Революционные организации заняли упомянутое строение двадцать седьмого февраля. В день массового выступления трудящихся, когда возмущенный народ громил хоромы Кшесинской, считая их гнездом контрреволюции, а саму владелицу, бывшую царскую фаворитку, опасной заговорщицей. Здание уцелело лишь благодаря тому, что было занято представителями народных масс. Не случись этого, его попросту бы сожгли… О каком «священном праве» собственности говорит мой оппонент, когда за этими окнами (выразительный жест рукой) идет борьба не на жизнь, а смерть? Когда стреляют пушки? Льется кровь?

– Я не советовал бы адвокату Козловскому путать судебное заседание с солдатским митингом на площади, – заметил в ответ невозмутимо державшийся Хесин. – Говорите как юрист! Революция, которую вы так горячо защищаете, не может опираться на беззаконие. Иначе это будет анархия. А проще говоря – разбой…

Вернувшийся после десятиминутного совещания мировой судья огласил приговор. Случилось невероятное! В период царившего в России между февралем и октябрем семнадцатого года междувластия, паралича исполнительных учреждений, политики умиротворения, проводимой Таврическим дворцом по отношению к готовившим переворот «товарищам», скандальная звезда императорского балета, возбудившая против захвативших ее недвижимость большевиков судебный процесс, выиграла его по всем статьям! Суд обязал десяток с лишним расквартированных в особняке организаций РСДРП(б) «со всеми проживающими лицами» освободить строение № 2–1 по Большой Дворянской улице и «очистить помещение от их имущества».

Не чувствовавшие еще себя достаточно уверенно большевики сделали вид, что подчинились закону. В середине июня убрались из особняка, прихватив на всякий случай часть мебели, секретариат ЦК РСДРП(б) и Петроградский комитет РСДРП(б). Оставшиеся ссылались на трудности с поиском помещений, тянули время.

Грянул между тем завершившийся неудачей июльский мятеж большевиков. В ходе его подавления вызванный с Северного фронта 1-й самокатный батальон 5-й Армии штурмом овладел дворцом Кшесинской, выбив засевших в нем красногвардейцев. Едва отдышавшись от боя, самокатчики принялись тащить из разгромленного дома все, что не успели уворовать «товарищи»…

Небольшую часть имущества благодаря судебному решению Кшесинской все же удалось спасти. Ей вернули один из конфискованных автомобилей, который она немедленно продала («хоть что-нибудь выручить, пока его вторично не отберут»). Купавшаяся недавно в роскоши, сорившая бессчетно деньгами, она на удивление скоро приспособилась к полуцыганскому образу жизни. Умерила аппетиты, радовалась любому подарку судьбы в тоскливой беспросветности дней. Пасхальным куличам для разговления на Пасху, присланным тайком из дома поваром Дени. Великолепному, «дореволюционному» завтраку, который устроил для них хозяин небольшого пансиона в Царском Селе, приходившийся приятелем ее человеку Арнольду. Отвоеванному у солдатни, привезенному на телеге с реквизированной дачи пианино из шведской березы. Поездке в обществе великого князя

Сергея Михайловича и Пети в Финляндию, в имение воспитателя императорского училища Н.А. Облакова, где они семейно отпраздновали день рождения сына. Природные качества – жизнелюбие и оптимизм – не раз приходили ей на помощь в трудные минуты жизни.

«Утром 8 ноября я увидела кадет, марширующих по Миллионной в направлении Зимнего дворца, – вспоминает Тамара Карсавина, – старшему из них на вид было лет восемнадцать. Днем стали раздаваться единичные выстрелы. Верные правительству войска забаррикадировали Дворцовую площадь и перекрыли боковые улицы. Основная борьба развернулась вокруг телефонной станции. Несколько часов я просидела, прижимая к уху телефонную трубку; время от времени в ответ звучал то мужской, то женский голос: «Какой номер?» Я могла проследить, как телефонная станция множество раз переходила из рук в руки. Говорили, будто другой берег реки отрезан, все мосты подняты; стоящий на Неве крейсер нацелен на Зимний дворец; крепость – в руках большевиков; батальон кадет и женский батальон защищали дворец изнутри, и несколько отрядов, верных правительству, обороняли позиции снаружи. Винные погреба по всему городу разграбили».

Верившая, как многие тогда, что события рано или поздно повернут в лучшую сторону, Кшесинская решила пересидеть грозу в безопасном месте – поехать на какое-то время с сыном на Кавказ, в Кисловодск, где уже находился покинувший армию, отправленный врачами на поправку из-за обострившегося бронхита Андрей.

Уезжала она с тяжелым сердцем. За несколько дней до назначенного срока, когда удалось, наконец, отдышаться после беготни по канцелярским коридорам за разрешением на проезд по железной дороге, великий князь Сергей Михайлович, штатский к тому времени человек, лишенный как член царской фамилии генеральского чина и должности, нелепо выглядевший в люстриновом пиджаке и лакированных туфлях, преподнес ей не ко времени сюрприз: предложил выйти за него замуж.

Ее поставили перед трудным выбором. Сбросить со счета двадцать два года совместной жизни было нелегко. В разгар войны, когда левую печать переполняли статьи о чудовищных злоупотреблениях, связанных с фронтовыми поставками, в Петрограде пронесся слух о причастности Кшесинской к получению взяток от заинтересованных лиц – за содействие в делах, имевших касательство к военному ведомству. Так это было в действительности или нет, доказательств не существует, но

репутация ее понесла урон, имя было запятнано. Великого князя Сергея Михайловича убеждали порвать незамедлительно с нечистой на руку особой. Категорически настаивал на этом, в частности, его родной брат Николай, давший волю эмоциям в присланном с фронта пространном письме.

«То, что ты пишешь о Малечке, просто ужасно, – сказано было в ответе. – Я не знаю, кто против нее озлоблен, и причины этого озлобления кроются только либо в личных счетах по сцене, либо во вздорных слухах. Я клянусь перед образом, что за ней нет ни одного преступления. Если ее обвиняют во взятках, то это сплошная ложь. Все ее дела вел я, и я могу представить кому нужно все самые точные данные, какие деньги у нее есть и были и откуда поступили… Я знаю, что ее дом грабили и грабят. Воображаю, сколько дорогих и художественных вещей пропали. Неужели ты не веришь своему брату, который клянется, а веришь слухам, которые распускают злонамеренные люди?.. Ты знаешь, как я привязан к Вове и как я горячо его люблю и как он ко мне привязан. Ты пишешь, что если я приеду, чтобы не смел с ними видеться. Что же я подлец – я брошу свою жену (гражданскую) и своего мальчика? Нет, я всю жизнь был честным и благородным, таким и останусь. Что было мое, все должно перейти Вове».

Можно вообразить, чего стоил этому незаурядному человеку ее отказ. В пору выпавших на его долю жизненных испытаний, потери почвы под ногами. И чего стоил отказ ей – любившей его по-своему, стольким ему с сыном обязанной.

Чтобы как-то смягчить причиненную боль, она предложила ему ехать с ними на воды. Он отказался. Долг его как члена семьи Романовых, пояснил, быть в настоящую минуту рядом с государем.

– Езжайте, деточки, – были прощальные его слова, – даст Бог, свидимся…

Он писал им в Кисловодск каждую неделю. Письма и телеграммы застревали по пути, бесследно пропадали, посланные позже приходили раньше предыдущих. Так продолжалось около года. Вскоре после Октябрьского переворота пришло известие, что его вместе с другими членами императорской фамилии высылают из столицы – куда, пока неизвестно. После продолжительного молчания он написал из Вятки, следом из Екатеринбурга. Последнюю весть от него они получили в конце июня восемнадцатого года из неведомого Алапаевска – пришедшую с опозданием телеграмму, в которой он поздравлял «горячо любимого сынулю Вовочку» с днем рождения.

«Самое большее, – думалось ей по дороге, – пробудем на Кавказе лето и осень. И – домой. Не может, в самом деле, чудовищная эта вакханалия длиться бесконечно, отыщется непременно какой-то выход. Мир, на худой конец, заключат с Германией или что-нибудь еще…»

Забитый приезжими Кисловодск был неузнаваем: всюду толчея, неразбериха, гостиницы переполнены. Принадлежавший ей двухэтажный дачный коттедж в центре города реквизировал под продовольственные склады местный совдеп. Счастьем показалось очутиться в нанятой Андреем летней дачке с проходными комнатами, из которой с наступлением холодов пришлось переехать на новое место – в отапливаемый особняк в Вокзальном переулке, где вместе с ней поселились сестра с мужем и приехавший из Сочи Петя Владимиров.

Обустроились мало-помалу, осмотрелись. Знали, где дешево пообедать, как вести себя при обысках, встречах с патрулями, в каких местах прятать деньги и драгоценности, куда бежать во время налетов паливших безостановочно во все стороны блиндированных поездов неизвестного происхождения, с кем из местных совдеповских комиссаров можно при случае договориться.

Вову определили в гимназию. Учился он охотно, приобрел много друзей, домой приходил нередко в разорванной одежде – к негодованию ходившего за ним лакея Ивана. Жили скромно, по-мещански. Наведывались в курзал, в «Гранд-Отель» – потолкаться среди людей, послушать новости. Собирались семейно друг у друга, пили чай с кизиловым вареньем, перебрасывались в картишки. Без нужды не высовывались, старались быть как все. Идет по кипарисовой аллее, держа за руку мальчишку-гимназиста, миниатюрная дама с озабоченным личиком – вытертая бархатная юбочка, скромная кофта: беженка и беженка. В жизни не поверишь, что Кшесинская.

Летом пронесся слух о гибели в Екатеринбурге государя и царской семьи. Почти одновременно – сообщение по радио: освобождены в результате белогвардейского налета на Алапаевск и увезены в неизвестном направлении находившиеся под стражей великие князья Романовы. Верить ничему было нельзя: известия то опровергались, то подтверждались – понаторевшие в распространении лживых сведений большевики, успокаивая мировое мнение, сознательно мутили воду.

От Юзи из Петрограда приходили невеселые письма: в столице голод, достать продукты невозможно, с рассветом перед продовольственными распределителями выстраиваются хвосты очередей. Ему довелось быть свидетелем, как люди на улице

дрались с голодными собаками возле трупа павшей лошади.

«В квартире у нас стужа, водопровод замерз, – писал он, – топим печку дровами от разобранных домов, мебелью, книгами, спать ложимся не раздеваясь. Гоняемся сутки напролет за «пайками», ибо за деньги купить ничего нельзя. Отменили плату за городской транспорт и электричество, но трамваи почти не ходят, а электричество то и дело отключают… Ездил по твоей просьбе на Каменноостровский. Попасть в дом невозможно, здесь теперь – главный большевистский штаб, толпы народа у подъезда и вокруг, в основном солдаты, у парадного входа дежурит броневик. Слышал, что, на втором этаже, там, где была спальня Вовы с балконом, живет их предводитель Ленин с женой. Ожидают переезда новых властей в Москву, но пока все остается по-прежнему».

«Население Петербурга заметно уменьшилось, – вспоминала о тех днях Тамара Карсавина. – Он обрел новую трагическую красоту запустения. Между плитами тротуара выросла трава, его длинные улицы казались безжизненными, а арки напоминали мавзолеи. Трогательное величие осквернённого великолепия. Свечи стали дефицитом. В три часа уже темнело, и было особенно трудно продержаться до шести, когда давали электричество. Неестественная тишина города, зловещее молчание пустынных улиц еще больше увеличивали опасения, делая напряжение почти невыносимым. Слух обострился до такой степени, что различал издалека чуть слышный звук шагов по плотному снегу. Винтовочный выстрел, пулеметная очередь – и снова тишина».

«Все старые петербургские вывески были еще на своих местах, – дополняет сюрреалистическую картину Анна Ахматова. – Но за ними, кроме пыли, мрака и зияющей пустоты, ничего не было. Сыпняк, голод, расстрелы, темнота в квартирах, сырые дрова, опухшие до неузнаваемости люди. В Гостином Дворе можно было собрать большой букет полевых цветов. Догнивали знаменитые петербургские торцы. Из подвальных окон «Крафта» еще пахло шоколадом. Все кладбища были разгромлены».

Со страниц приходившей изредка в Кисловодск «Жизни искусства» рисовалась картина дирижируемого комиссарами театрального Петрограда. Балетом командовал Борис Романов, отдавший жене Елене заглавные партии. Вернулась на помост пенсионерка Агриппина Ваганова. Выступает в компании с Тамарой Карсавиной, Лилей Гердт, Лилей Люком, Людмилой Шоллар, юной Олечкой Спесивцевой перед солдатней и мастеровыми где придется – в помещениях синематек, бывшем «Летнем Буффе», театре Таврического сада. «Случилось так, –

читала она обзорную статью Андрея Левинсона, – что в тот самый час, когда балет преодолел все застарелые предубеждения и буквально заполонил страстное внимание массового зрителя, он явно и стремительно склонился к ущербу».

«Получили свое! – мстительно думала она. – Прав тысячу раз Андрюша: как только весь кордебалет будет произведен в балерины, театр перестанет существовать…»

Осень миновала, за ней зима, новая весна. Шел второй год ее добровольной ссылки. О скором возвращении домой нечего было и думать: полыхавший на просторах России пожар Гражданской войны захватывал губернию за губернией, неумолимо приближался к кавказским предгорьям. Редкий день обходился без тревожных известий. Ошеломила свежая новость: в Пятигорске зарублен красногвардейской охраной находившийся на положении заложника генерал от инфантерии Николай Владимирович Рузский, в штабе которого служил в минувшую войну Андрей. В августе случилось то, о чем думали не переставая: на даче Семенова были арестованы и увезены в Пятигорск жившие вместе с матерью, великой княгиней Марией Павловной, Андрей и его родной брат Борис. Жизнь обоих висела на волоске, в любой момент могло произойти самое худшее, не вмешайся счастливо случай в лице давней поклонницы Кшесинской Л.А. Давыдовой, жены известного петербургского банкира, имевшей руку среди верхушки местных большевиков. С помощью подкупленного ею кисловодского комиссара братьев по сфабрикованным документам освободили из тюрьмы и помогли бежать в горную Кабарду. Месяц спустя, когда город в очередной раз был отбит у красных казаками атамана Шкуро, оба вернулись – обросшие, бородатые, верхами, сопровождаемые свитой из знатных горцев.

Белая власть в Кисловодске, как случалось не раз, продержалась недолго. Не успели оглянуться, с левобережья Кумы вновь заговорила артиллерия противника. Казаки-освободители спешно седлали коней, грузили на тачанки мешки с деньгами из недограбленного большевиками «Русско-Азиатского банка». Толпы людей, захватив самое необходимое, устремились в беспамятстве к месту эвакуационного сбора – Пятницкому базару.

Творившееся на торговом майдане походило на бред сыпнотифозного больного: крики, ругань, детский истошный плач, рукопашные отчаянные схватки за телегу с лошадью, покосившийся тарантас, самодельную тележку, запряженную ослом.

Под буханье большевистских гаубиц взъерошенное человеческое стадо двинулось в путь…

С беспощадной ясностью сохранила она в памяти апокалиптическую картину исхода кисловодских скитальцев, напуганных, голодных, вшивых, в освобожденные Добровольческой армией районы Северного Причерноморья и Крыма.

«Выступили ночью, и было ужасно жутко, – читаем у нее. – Вообще, трудно передвигаться по степям ночью: дорог нет, и только еле-еле видны следы колес, легко сбиться с пути и попасть не туда, куда хочешь… На полпути до Тамбиевского аула вся наша колонна беженцев попала под артиллерийский огонь большевистской батареи. Снаряды рвались над нашими головами, и паника поднялась ужасная. Кто стал гнать лошадей вперед, кто бросился в сторону от дороги, чтобы укрыться от опасности. Среди этой паники вдруг в мою телегу вскакивает совершенно ошалелый военный врач и ложится на живот, не обращая внимания на то, что и без него нам в телеге было тесно. Даже в такие трагические минуты это было очень смешно.

Большевики наступали, и нас двинули дальше, на Балтапашинскую станицу… Здесь нам пришлось воочию познакомиться с методами расправы с большевиками. Однажды на площади, возле церкви, стали воздвигать нечто всем нам незнакомое, но скоро из расспросов мы узнали, что строят виселицу и скоро будут вешать большевиков. Как раз мой сын пошел со своими сверстниками на речку, и они должны были возвращаться через площадь именно в то время, когда будут казнить большевиков. Андрей поспешил за ними и привел их домой кружными путями. Я, конечно, не выходила из дома, но моя сестра с мужем пошли посмотреть на это ужасное зрелище, в чем я их обоих очень укоряла…

Здесь мы совершенно отдохнули. Мы были в полной безопасности. Теперь перед нами вставал новый вопрос: куда переехать и где жить до полного усмирения всего Северного Кавказа. Генерал Покровский посоветовал великой княгине Марии Павловне и Борису и Андрею Владимировичам ехать на зиму в Анапу, где, как он уверял, условия жизни превосходны и совершенно спокойно. Кроме того, город находится на берегу моря, всегда было легко в случае опасности сесть на пароход и уйти…

Когда мы пришли на пристань (в Туапсе. – *Г.С.*), уже стоял под парами пароход, маленький, грязный и на вид ужасно старый. Назывался он «Тайфун», это было старое английское рыболовное судно… Нас всех беженцев было девяноста шесть человек. Все разместились на палубе, другого места для пассажиров на пароходе не было. Тут же все стали устраиваться, подстилая

каждый что мог под себя… На наше счастье, ночь была спокойная, ни ветра, ни дождя, и пароход мирно покачивался на волнах. Это была для нас первая ночь, что мы могли спать спокойно, не боясь обысков и арестов. Мы плыли по морю и от усталости заснули крепко, хотя и на палубе. Ночью вдруг всех охватил какой-то истерический смех, хотя ничего смешного не было, напротив, но нервы у всех были натянуты, и когда чувство страха прошло, наступила реакция. Началось все с того, что ночью кому-то надо было идти в уборную, но повсюду лежали беженцы, и тот, кто вставал, невольно наступал на кого-нибудь. Вот раздается возглас, не обиженный, а деловой, как будто речь идет о простой вещи: «Послушайте, вы мне наступили на нос». – «Извините, пожалуйста, но так темно». Сейчас же слышен другой возглас: «Милостивый государь, будьте осторожны, вы мне наступили на пальцы». Опять тот извиняется и продолжает шествовать… На третьем или четвертом возгласе, конечно, все начинали хохотать, и так заразительно, что другие тоже стали вторить. Потом было затишье, пока снова кто-нибудь не начнет гулять и наступать на чужие носы и пальцы. Так до самого утра эти возгласы раздавались по всей палубе и всю ночь вызывали всеобщий хохот…»

Записи, сделанные в Анапе:

«Огромною для всех радостью было известие, полученное вскоре по нашем прибытии в Анапу, что война окончена. Но с облегчением мы вздохнули лишь в тот день, когда союзный флот прорвал Дарданеллы и в Новороссийск пришли английский крейсер «Ливерпуль» и французский «Эрнест Ренан». Это было 10 (23) ноября. В этот день мы почувствовали, что не отрезаны от всего света».

«…Наша гостиница «Метрополь» оказалась скромной и довольно примитивной, притом разоренной при большевиках, в особенности уборные были в ужасном состоянии. Но комнаты были в приличном виде, не очень грязные, с кое-какой мебелью. Мы устроились как могли и были довольны тем, что есть крыша над головою, а остальное нам было безразлично».

«…Первые дни мы ходили завтракать и обедать в чудный ресторан «Симон», где был великолепный повар. Но так как денег у нас было мало и такой расход был нам не по карману, мы стали питаться в маленьком пансионе, который содержала одна дама, и ежедневно ели одно и то же блюдо – битки, которые были дешевыми и сытными».

«…Я всю жизнь любила делать себе массаж, чтобы сохранить свою фигуру. Когда после переворота мне пришлось обходиться без массажа, для меня это было большим лишением. У меня

всегда были хорошие массажистки, и я в этом отношении была очень избалована. В Анапе я случайно нашла опытную массажистку – еврейку, очень милую и интересную женщину… Сперва она меня массировала прямо за гроши, а потом и вовсе даром. Не знаю почему, но она имела ко мне большое и искреннее влечение, хотя наши политические взгляды были совершенно противоположными…»

Окрыленная, полная надежд возвратилась она весной девятнадцатого года в освобожденный от большевиков Кисловодск. Чтобы через полгода записать в дневнике:

«Добровольческая армия победоносно наступала, мы все думали, что Москва будет вскоре взята и мы возвратимся по своим домам. Этой надеждой мы жили до осени. Когда стало ясно, что все обстоит далеко не так благополучно, как мы предполагали. Белые начали отходить…»

Тем же скорбным путем, через необозримые кубанские степи, чувствуя за спиной наступавшую на пятки красную кавалерию, совершили они в очередной раз бегство на Юг – под призрачную защиту союзнических войск, ожидавших с минуты на минуту приказа об эвакуации.

Трехлетняя ее скитальческая одиссея заканчивалась. 10 марта 1920 года с палубы забитого беженцами 5000-тонного парохода «Семирамида», совершившего полуторамесячный переход из Новороссийска к берегам Италии, она увидела розовеющие в свете уходящего дня купола венецианских церквей.

Начиналась новая одиссея – эмигрантская.

Книга вторая

Глава первая

1

– «И-и сто-о-я-ат чуж-жие го-о-ро-да-а, и-и чу-ужая пле-е-щется во-о-да-а!» – поет, мягко грассируя, с эстрады «Большого Московского Эрмитажа» на парижской улице Комартен элегантный шансонье во фраке.

В узком луче софита – мертвенно-бледное лицо, горестно вскинутые руки в перчатках. За столиками – волнение, дамы утирают платочками глаза:

– Как трогательно, господи!

– Браво, Вертинский!

– Гарсон, еще полштофа водки!

Чужой миллионный город шумит за окнами, чужие звезды на дымчато-сиреневом полотне неба. Ныряя под арки тяжелых мостов, огибая тесно застроенные, светящиеся в ночи острова, течет неторопливо вдоль сонных набережных равнодушная река. Как там у Тэффи? «Городок был русский, и протекала через него речка, которая называлась Сеной. Поэтому жители городка так и говорили: «Живем худо, как собаки на сене».

Русская послевоенная Франция, русский Париж. Триста пятьдесят тысяч беглецов из большевистской России, восемьдесят тысяч из которых осели в столице. Русская речь на улицах, казаки в папахах, золотопогонные генералы, женщины в немыслимых одеяниях, бородатые попы с крестами. Русские швейцары, лифтеры, официанты, окномои, телефонисты, таксисты, слесари в автомобильных гаражах, рабочие на заводах Рено, Ситроена и Пежо. Русские дворянки, торгующие цветами на выходах из метро, жены гвардейских офицеров, служащие в модных ателье манекенщицами и швеями, безработные гвардейские офицеры, про которых говорят: «Жена работает в «кутюре», а он, мятежный, ищет бури». Сидит, иначе говоря, в бистро за рюмкой перно, устремив в бесконечность отсутствующий взгляд. Скитания по мансардам, хроническое безденежье. Инстинктивная тяга к «своим»: всевозможные объединения, землячества, комитеты: «Русский Общевойсковой Союз», «Союз русских дворян», «Комитет по делам русских беженцев при Лиге Наций». Русские газеты, библиотеки, клубы, масонская ложа «Свободная Россия». В зале Гаво пропахший порохом генерал Деникин читает за кафедрой лекцию о настоящем и будущем русского народа, в православном храме на улице Дарю – торжественный молебен в память

убиенных богатырей доблестного российского казачества, вдоль решетки Люксембургского сада бежит, помахивая тростью, сухощавый мужчина с седоватым бобриком на голове – бывший премьер Временного правительства Керенский, и столкнувшаяся с ним на тротуаре дама шепчет взволнованно идущей рядом русоволосой девочке в панамке: «Гляди, гляди, Маша! Вон человек, который погубил Россию!»

«Жизнь русских белых эмигрантов по прибытии на Балканы, в Чехию, Германию и во Францию сразу же сложилась в духовном и материальном отношении до последней степени неудачно, – отмечает исследователь российского зарубежья Г. Майер. – Все заграничные русские учреждения – посольства, консульства, посольские и прочие денежные суммы – захватило еще Временное правительство. Повсюду сидели его ставленники, относившиеся явно враждебно к консервативно настроенному белому офицерству и крайне подозрительно к эмиграции в целом, в свою очередь, от всей души презиравшей воцарившихся над ней февральских лицедеев».

Избавившись в карантинных парилках Константинополя от сыпнотифозных вшей, русские умудрились провезти в эмигрантском багаже неодолимую, как чесотка, отечественную тягу к междоусобным драчкам. Никто друг другу ничего не простил: конституционные кадеты – монархистам, монархисты – кадетам и эсерам, обиженное воинство – тем и другим. Всяк выставлял противной стороне неоплаченный счет, требовал признания ошибок, публичного посыпания головы пеплом. Неодолимой преградой на пути к примирению стало отношение к большевикам. Все громче звучали голоса, призывавшие признать свершившиеся в России перемены исторически необратимыми. Впервые сформулировали эту точку зрения в вышедшем летом 1921 года в Праге сборнике «Смена вех» видные кадетские профессора и либеральные публицисты, назвавшие советскую власть единственно реальной на данный момент силой, способной вернуть России былую мощь и влияние в мире. Часть русской колонии «сменовеховцев» поддержала, другая предала анафеме.

«Французы не перестают изумляться безнадежным распрям среди русской эмиграции, – писала в эти дни Зинаида Гиппиус. – Что это такое? Физическое, что ли? Болезнь какая-нибудь? Что делят между собою эти люди, одинаково ничего не имеющие? Равно все потерявшие, и прежде всего общую родину? Как это у них пропала примитивная, просто человеческая тяга к склейке, и разлетаются они все, точно горсть сухой пыли?.. Среди массы русской эмиграции, по количеству равной чуть не целому какому-

нибудь народу, нет сильных людей. Может быть, и есть они где-нибудь в углу, разъединенные, раздавленные нуждой, неизвестные, но из тех, кто наверху, из «политиков», – нет сильных ни одного. И ни одного, кажется, нового. Оттого так потрясающе слабы традиционные группировки, партийные и другие. Друг другу эти группировки посылают удары во всю слабую силу, и боятся друг друга, этих слабых ударов, ибо сами слабы… Мы безглазы, больны, запутались в собственных сложностях. Почти ни один эмигрант-политик не может персонально выносить около себя другого, независимо от того, согласен он с ним или не согласен. Ищет несогласия, жадно и болезненно. Ищет даже не яблоко для раздора, а хоть крупинки. Лезет в такие мелочи, что иностранцу совестно рассказать, да и нельзя».

Распри, ссоры, раздоры. А есть-пить, между прочим, тоже не мешает. Хочешь жить – вертись. Каждый делает это как умеет. Казачий атаман Шкуро снимается в массовке у Патэ – играет конника-янычара в экранизации сказок «Тысячи и одной ночи». Баронесса Шацкая заимела прилавок на Блошином рынке, торгует ручными вышивками собственного производства. Князь Феликс Юсупов написал воспоминания – «Конец Распутина», в Голливуде по книге запустили кинобоевик. Автор, дождавшись выхода картины в свет, немедленно подал на «Метро Голдвин Майер» в суд, обвинив постановщиков в клевете на жену, княгиню Ирину, которая по киноверсии попадает в объятия сластолюбивого старца, чего ни в книге, ни в действительности не имело места. Иск удовлетворен, неплохо заработавшая на фильме студия уплатила истцу фантастическую сумму отступного – 375 тысяч долларов. Окрыленный удачей князь открыл салон мод «Ирфе» (начальные буквы от Ирина и Феликс) и небольшой кабачок «Мэзонетт Рюсс», в котором угощает бесплатно голодных приятелей.

Растущие как грибы после дождя русские питейные заведения Монмартра и Монпарнаса – самые дорогие в Париже. В особенности нравятся они американцам. Жадные до острых переживаний туристы из Нового Света пересекают океан, дабы узреть собственными глазами места недавних кровопролитных сражений. Впечатлившись картиной изрытых снарядами окопов под Верденом, получив на память извлеченный из земли патронташ, ржавый штык от винтовки или свинцовую пулю, наскоро переодевшись в номере гостиницы, они устремляются компаниями в места бесшабашной русской гульбы: небольшой изысканный буате «Казанова» неподалеку от монмартрского кладбища, в соседний экзотический погребок «Казбек», где

бывает, по слухам, местоблюститель русского престола великий князь Кирилл Владимирович, в «Каво Коказьен» с диковатым красавцем Руфатом Халиловым, танцующим огненную лезгинку с кинжалами во рту, или же в «Шехерезаду», где при отсутствии дамы самим можно потанцевать за определенную плату с сидящими по углам и диванам «консоматоршами», – сплошь, по их заверениям, аристократками: графинями, княгинями, фрейлинами двора, до нитки ограбленными большевиками.

Публика, чьи запросы простираются дальше кавказских кинжалов и «консоматорш», заполняет вечерами цитадели высокого искусства: «Гранд Опера», «Шатле», «Шанз-Элизе», «Одеон», «Монпарнас» с русскими музыкантами, балеринами, оперными певцами – и «своими», привезенными когда-то Дягилевым, успевшими натурализоваться во Франции, и новыми, бежавшими от ужасов большевистской Совдепии.

Париж взбудоражен последней дягилевской постановкой – модернистским балетом «Les Biches» с Верой Немчиновой в заглавной роли. Свежо, волнующе, пикантно! Рассказывают, что на генеральной репетиции недовольный нарядом балерины Дягилев выхватил у бывшей поблизости костюмерши ножницы и, выбежав на сцену, отрезал у Немчиновой подол муслинового платья. Так она потом с открытыми ногами в розовом трико и танцевала.

На вершине почета и славы Федор Шаляпин. В анкете, проведенной «Фигаро», тридцать ведущих театральных критиков Франции назвали наиболее выдающимся событием уходящего сезона оперный фестиваль в Оранже под патронажем барона Рауля Гинцбурга. Украшением его, по единодушному мнению, стал великий бас-эмигрант, исполнивший на арене древнеримского театра в сопровождении хора Н. Афонского партии в «Мефистофеле» Бойто и «Троянцах» Гектора Берлиоза.

Аншлаги – в театре-кабаре «Радуга» вчерашних россиян Никиты Балиева и Федора Комиссаржевского. Едва появившись на прилавках музыкальных магазинов, тысячами раскупаются пластинки с записями цыганских песен Насти Поляковой. На экраны синематек одна за другой выходят французские ленты – «Буря», «Дом тайны», «Кин», «Казанова», «Пылающий остров», «Белый дьявол», «Ходжи Мурат», «Ужасное приключение» – с великолепным Иваном Мозжухиным и его женой Натальей Лисенко в главных ролях.

Парадокс, господа: не устрой Ленин эту свою сумасшедшую революцию, не иметь нам сегодня во Франции ни своего Шаляпина, ни Стравинского, ни Карсавину, ни Мозжухина. Как выражаются русские, не было бы счастья, да несчастье помогло.

2

Словно бы на другом конце земли от всех этих эмигрантских страстей-мордастей пробудившаяся в одиннадцатом часу утра на собственной вилле в прибрежном городке Французской Ривьеры миниатюрная дама в ночной рубашке, внимательно изучающая ступни очаровательных ножек.

Она прислушивается некоторое время к осторожному постукиванию в дверь, натягивает повыше одеяло.

– Войдите!

– Бонжур, мадам! Как спали?

Щеголеватый Арнольд в пикейном фраке и перчатках вкатывает в спальню десертный столик на колесиках, пристраивает в изголовье кровати.

– Ваш завтрак… почта… – Он привычно, ловко кладет поверх одеяла серебряный поднос, раскладывает приборы. – Их высочества уже на ногах, в саду. Играют в крокет… День обещает быть отличным. Море спокойное, не больше полутора баллов… Звонили… – он заглядывает, вытащив из нагрудного кармана записную книжечку, – господин маркиз Пассано с супругой. Приглашают в ближайшее воскресенье на обед, в шесть вечера… Великая герцогиня Мекленбург-Шверинская справлялась о здоровье, будет звонить еще… Кофе прикажете налить сейчас?

– Мерси, я сама, Арнольд.

– Приятного аппетита, мадам!

Позавтракав, она нежится какое-то время в постели. Глядит на колышимую легким бризом занавеску на окне, за которой угадывается разгорающийся день, тянет руку к горке утренней почты, достает газету – прибывший из Парижа номер русских «Последних новостей», просматривает заголовки. Боже, какая суета! Слухи, выдумки, сплетни… Борис Рашевский женится на дочери американского миллионера Штрауса… Обострение душевной болезни у Нижинского… Дурацкий какой-то общественный процесс над эсером Азефом: судят свои, разоблачитель – журналист Бурцев, которого, в свою очередь, оппоненты требуют привлечь к ответственности за клевету… Она силится вспомнить, откуда ей знакомо это имя: Азеф. В чем-то был, кажется, в свое время замешан – в неблаговидных каких-то делах. «Ах, да бог с ними со всеми, – она потягивается всем телом, зевает, – есть о чем думать?» – Массируя на ходу бедра и животик, идет на веранду.

Вид сверху – изумительный. По-утреннему нахмуренные красноватые скалы, охватившие с трех сторон уютную бухту. Прикорнувшие в распадке – террасами, один над другим –

нарядные домики Кап д'Ай под черепичными крышами, похожие на ласточкины гнезда. Ласковое море в двух шагах от дома – сплошь в кудрявых барашках, солнечных переливающихся бликах.

Держа руки на талии, она делает несколько раз «плие». Дышится легко, солоноватый, напоенный влагой воздух сам собою льется в грудь…

– Ма-а-му-у-ля-а-а!

Вовочка из нижнего сада машет энергично рукой.

Она следит, прислонившись к балюстраде, как они поднимаются с отцом по травянистому склону, размахивая на ходу крокетными молотками – раскрасневшиеся, возбужденные, удивительно похожие, оба в клетчатых коротких штанах и светлых рубашках-апаш, как навстречу им бежит во всем параде, придерживая на боку шашку, полковник Кульнев, проспавший у себя во флигеле выход патрона. Козырнув, он докладывает о чем-то Андрею, тот слушает, кивая изредка головой…

Глядя на простоватого по-мужицки Кульнева, она вспоминает Федора Федоровича фон Кубе. Благороднейшая, чистая душа! Не адъютант был – родной, близкий человек. И радости делили вместе и невзгоды. Знал не понаслышке, каково ей было с Вовой в их положении, сочувствовал, переживал. В Кисловодске, в отчаянный период жизни, она настрочила под горячую руку письмо Андрею. Излила на бумаге душу. Мириться со сложившимися между ними отношениями, писала, она более не в силах. Вместе они уже пятнадцать лет, у них взрослый сын. Отчего же и теперь, в пору тяжких испытаний, когда особенно нуждаешься в поддержке и любви близких людей, оба продолжают участвовать в нелепом спектакле? Соблюдают никому не нужный этикет, лицемерят на каждом шагу? Живут врозь, дабы потрафить чьим-то фальшивым амбициям, видятся исключительно на людях, крадут, как мелкие воришки, часы для короткого счастья? Будет когда-нибудь этому положен конец, или ей следует самой позаботиться о собственном будущем и будущем Вовы?

Вручая Федору Федоровичу для передачи письмо, она неожиданно разрыдалась, ушла к себе. Он через короткое время деликатно постучал, прошел, позвякивая шпорами, к софе, присел рядом. Сказал проникновенно, взяв за руку: «Матильда Феликсовна, голубушка! Повремените, умоляю! Не делайте опрометчивого шага! Знаю: мучаетесь, страдаете… Дорогая моя, наберитесь мужества, потерпите! Все образуется, вот увидите! Честью офицера клянусь: станете скоро великой княгиней! А я шафером на вашей с Андреем Владимировичем свадьбе…»

Ни до свадьбы не дожил, ни шафером не стал. Заразился

накануне последней эвакуации из Кисловодска сыпным тифом, умер у них на руках. Лежит за тысячи верст отсюда на убогом погосте под деревянным крестом…

Слезы застилают ей глаза. Сколько пережито за эти годы! Сколько дорогих могил за спиной! Какой бесконечно долгой оказалась дорога к счастью!

В эмиграцию она уезжала все в той же унизительной роли – вечной любовницы. Ничего не изменилось и во Франции – предложения руки и сердца от дорогого спутника жизни, продолжавшего слушаться во всем властную маменьку, так и не последовало. Толкли бесконечно воду в ступе: момент неподходящий, то мешает, другое, третье. «Мы часто обсуждали с Андреем вопрос о нашем браке, – вспоминает она. – Мы думали не только о собственном счастье, но главным образом о положении Вовы. Ведь до сих пор оно было неопределенным».

Дальше слов дело не шло.

Самолюбие ее страдало несказанно. «Приехала я без гроша, – пишет она, – и пришлось сразу заложить виллу, чтобы расплатиться с прислугой и старым садовником, которые шесть лет терпеливо ждали моего возвращения и берегли дом и сад. Надо было также приодеться, так как, кроме двух старых платьев, ничего больше у меня не было, не говоря уже о моем сыне, который буквально нигде показаться не мог».

Издавна существовавшая на Лазурном Берегу русская колония значительно выросла по окончанию войны за счет прибывших сюда – кто временно, кто насовсем – состоятельных эмигрантов из России: промышленников, финансистов, представителей родовой аристократии, вовремя сумевших вывезти капиталы за границу. В казино Монте-Карло, местной опере, в дорогих ресторанах, кафе, на вечерних набережных – всюду окружали ее лица праздных соотечественников, ухвативших среди вселенского пожара птицу счастья за хвост, с презрительной миной глядевших на путавшихся под ногами унылых неудачников. Невыносимо было ловить на себе сочувственные взгляды, сознавать, что ты на этом празднике жизни – в числе проигравших. Все, что имела, оставила в руках бандитов, живешь в двусмысленном каком-то положении, не пойми кто.

В стократ тяжелей материальных лишений (по ее меркам) была неустроенность личной жизни. Десятилетия спустя, сочиняя при участии постаревшего мужа книгу мемуаров, она эту болезненную для себя тему преподнесла в сугубо розовых тонах. Мелькающие на страницах «Воспоминаний» умилительные картины, повествующие о взаимоотношениях с молодым

любовником, нежной привязанности свекра и свекрови (ставших, к слову сказать, таковыми лишь метафизически, после своей кончины) к очаровательной пассии сына и внебрачному внуку – простительная в ее обстоятельствах ложь во спасение, не более того. Оба сиятельных родителя в действительности делали все возможное, дабы удержать слабохарактерного юношу от постыдного мезальянса. И сам он, судя по всему, не тяготился вовсе холостяцкой жизнью.

Только похоронив пережившую на двенадцать лет супруга эгоистичную мать, великий князь Андрей Владимирович, сам к тому времени далеко на мальчик, разделивший с родными братьями скромное родительское наследство, повел 30 января 1921 года 48-летнюю подругу под венец в русскую православную церковь в Каннах, где в присутствии четырех шаферов и взрослого сына их обвенчал протоирей Григорий Остроумов.

Выглядела новоиспеченная княгиня, нареченная после принятия православия Марией Федоровной Красинской, для своих лет моложаво, сохранила прекрасную физическую форму. С первых недель пребывания во Франции ее наперебой приглашают на ангажементы: директор Парижской Оперы Руше, старинный друг и воздыхатель Рауль Гинцбург, руководивший в ту пору Оперой Монте-Карло, Сергей Павлович Дягилев. Предлагаемые условия удовлетворили бы материально и творчески любую амбицию – она отвечает вежливым отказом. Чем-чем, а здравомыслием господь Бог ее не обделил: ставить на заведомо проигрышную карту не в ее правилах. На глазах живой пример – Аннушка Павлова. Заигралась со славою, забыла про возраст, продолжает по привычке выбегать на поклоны из-за кулис, когда аплодисментов в зале давным-давно не слышно.

Они встретились после долгой разлуки на благотворительном вечере в Клеридже, где Павлова исполняла свои знаменитые хореографические картинки-монологи.

«После представления я пошла ее поцеловать, и мы бросились друг другу в объятия, – вспоминает она. – «Малечка, как я счастлива вас опять видеть! Давайте поставимте вместе гран-па балета «Пахита», как это было в Петербурге. Здесь в Париже Тата Карсавина, Вера Трефилова, Седова, Егорова, Преображенская. Вы будете танцевать главную роль, а мы все позади вас, не правда ли, какая это будет прелесть!..» Потом, – продолжает Кшесинская, – я видела Павлову в Париже, когда она танцевала «Жизель» в театре Елисейских Полей. Чувствовалась ее усталость, но все же это было замечательное представление, и она была в этом балете неподражаема. Во второй картине этого балета, когда она по косой линии пересекала сцену на пальцах,

держа лилию в руках, это было так бесподобно, что казалось, она движется не касаясь земли, будто плывет по воздуху, как неземная».

Сколь ни искренни приведенные выше строки, профессиональный ее взгляд не мог не заметить: разменявшая пятый десяток лет Павлова скорее демонстрировала публике, как нужно танцевать, нежели танцевала. На подмостках был умирающий лебедь. Бесконечно прекрасный, трогательный, но уже не способный более тянуться за стремительно улетавшей молодой стаей.

Давние их распри, соперничество за роли – все осталось позади, подернулось лирической дымкой. Обе немало пережили, надышались успехом, вышли замуж, имели поклонников (последняя страсть стареющей Павловой – модный художник-неоклассик Александр Яковлев). Им было о чем вспомнить, порассказать друг дружке. Приехав на гастроли в Монте-Карло вместе со своей труппой, Аннушка часто гостила у нее на вилле.

«Мы чудно проводили с ней время, – пишет она. – Анна Павлова пригласила нас и некоторых наших друзей обедать в Спортинг-Клуб в Монте-Карло. Обед был очень веселый, и мы вспоминали дорогое нам прошлое: Мариинский театр, нашу артистическую карьеру. После обеда все решили зайти в игорные комнаты. Павлова странно, по-своему одевалась: она, собственно говоря, не носила платья, а поверх широкой юбки обматывала себя широким шарфом, который закреплялся булавками. Длинная бахрома шарфа свисала на плечи, заменяя рукава. Павлова, живая и очень нервная, любила играть, но, не полагаясь на свою память, просила двух друзей стоять возле нее и запоминать те номера, на которые она будет ставить. Ставила она очень быстро и по всему столу, а если номер был далеко и рукой она не могла его достать, то брала длинную лопатку и толкала свою ставку, сбивая по дороге чужие ставки со своих мест. Конечно, со всех сторон раздавались протесты и все оборачивались в ее сторону, но, узнав ее, тотчас успокаивались: «Да ведь это Павлова, знаменитая Павлова!» Она сконфуженно начинала извиняться и, желая поправить сдвинутые ставки, невольно бахромой своего шарфа сдвигала другие. Это продолжалось весь вечер, но игроки охотно ей помогали с улыбкой. К концу вечера она проигралась и попросила у меня в долг тысячу франков, которые она мне вернула потом в прелестном черном шелковом бумажнике с золотой застежкой».

Накануне отъезда Павловой в Лондон их обеих пригласил поужинать в «Отель де Пари» Рауль Гинцбург. Постаревший, с белым пушистым венчиком на лбу директор оперы Монте-Карло

не потерял с годами прежней прыти, был так же энергичен, шумен и говорлив. Срывался то и дело с места, бежал на кухню, чтобы проследить, как готовятся им самим придуманные блюда, возвращался довольный, отпивал из бокала, рассказывал красочно, с подробностями, как служил в войну санитаром в российском Красном Кресте, как, подбирая раненых под Никополем, заметил слабо охраняемый немцами редут, тут же закричал «ура!», бросился вперед, увлекая за собой боевую линию пехоты, после чего Никополь был взят.

Гости за столом иронически переглядывались.

– Все было именно так, господа! – заверял Гинцбург, кидаясь к телефону, чтобы передать в театр какое-то неотложное распоряжение.

В пору их знакомства, начинавшим карьеру молодым импресарио, он был горячо в нее влюблен. Привезя на первые заграничные гастроли во Францию, добивался взаимности, ходил ночами под окнами гостиничного номера с охапкой цветов, слал отчаянные письма. Пригласил недавно на помолвку дочери. Отозвал в разгар торжества в сторонку Андрея, сунул роскошную какую-то коробку, попросил вручить невесте подарок, якобы от их имени. Добавил деликатно, что хорошо понимает их нынешние обстоятельства, потому и отважился, пользуясь старинной дружбой, на подобный шаг.

За ужином он произнес взволнованную речь. Не исключено, – сказал, – что кто-нибудь из присутствующих напишет в будущем воспоминания. Пусть не забудет этот вечер, когда находился за одним столом… – Как опытный оратор он сделал паузу, обвел глазами гостей. – Нет, не находился! – поправил себя. – Дышал одним воздухом с двумя волшебницами танца, неподражаемыми, великими балеринами Матильдой Кшесинской и Надеждой Павловой!»

Она поймала выражение лица сидевшей напротив Аннушки. Давным-давно, в Петербурге, они танцевали вместе – она примадонна балета, Павлова начинающая солистка – в «Дочери фараона». Выбежав после финальной сцены на поклоны, засыпанная цветами, она преподнесла молодой подруге, исполнявшей эпизодическую роль, несколько роз из своего букета. Та взяла их, но как! – словно бы нехотя, покоряясь обстоятельствам, с надменной гримаской на губах.

То же самое выражение было у нее и сейчас. Что-то неслыханное! Имя Павловой называют в числе великих не первым, а вторым – после Кшесинской!

Настроение у нее явно испортилось. Сославшись на мигрень, она уехала в отель до окончания ужина.

3

Обворожительная княгиня Красинская – душа великосветского общества Ривьеры. Жадна чрезвычайно до удовольствий, порхает с цветка на цветок, готова устремиться по первому зову на очередное веселье. Что там у нас на сегодня? Ага: завтракаем у великой княгини Анастасии Михайловны в Эзе, вечером лаун-теннис на вилле Павла Александровича Демидова – дальний его родственник Миша Сумароков, бывший теннисный чемпион России, играет с каким-то англичанином на пари. После матча – ужин в саду, будут королева румынская Мария и княгиня Мария Радзивилл, урожденная Браницкая. В воскресенье поездка таксомотором в Ниццу: Иван Ильич Мозжухин пригласил на съемки эпизода из своего фильма «Пылающий костер». Можно, по слухам, увидеть среди участников массовки приехавшую из Ниццы давнюю его пассию, актрису Мину Овчинскую, у которой от него девятилетний сын. (Писатель, будущий дважды гонкуровский лауреат Ромен Гари. – *Г.С.*)

Вновь она – на стремнине жизни. Заводит знакомства, флиртует по привычке. Молва приписывает ей бесконечные «курортные романы». Называют нефтяного богача-американца, с которым она познакомилась в казино Монте-Карло. Были якобы очевидцы, видевшие их после этого вдвоем – одни в Ницце, отплывающих на яхте, другие – в Венеции, на выходе из отеля, когда они спускались по ступеням в приготовленную гондолу. Ходят разговоры о преследующем ее по пятам полковнике-конногвардейце, играющем успешно на скачках, о влюбленном соседе по даче, художнике из Испании, тайно, как утверждают, рисовавшем ее во время купаний на пляже, о возврате чувств к ней друга юности князя Никиты Трубецкого. Учившийся в балетной студии Л. Егоровой французский хореограф Пьер Лакотт вспоминает:

«Муж Любови Егоровой князь Трубецкой очень дружил с Матильдой Феликсовной. Когда он умер, Любовь Егоровна мне сказала: «Ты знаешь, Пьер, это ужасно. Я потеряла мужа, я так сокрушалась, но Кшесинская – она не только всю карьеру, но даже день похорон моего мужа умудрилась мне испортить. Пришла вся в черном и так плакала, так рыдала, так кричала, что люди, которые давно меня не видели, думая, что это я, подходили к ней и выражали соболезнования».

(Похожий эпизод произошел в свое время в Петрограде, на похоронах Александра Блока, когда пришедшие на Смоленское кладбище многочисленные почитатели приняли во время панихиды в небольшой кладбищенской часовне за вдову поэта не

скромно стоявшую у стенки Любовь Дмитриевну, а мраморно-бледную плачущую Ахматову в черном, которой приписывали воображаемый «роман» с Блоком. – *Г.С.*)

Актриса до кончика волос, привыкшая на сцене к деревянным замкам и нарисованным облакам, она свободно себя чувствует в обществе живописных личностей, напоминающих экспонаты музея восковых фигур. Всех этих Густавов Шведских, Альфонсов Испанских, принцев Йэльских, болгарских царей с накрашенными усами, траченных молью греческих королев, ставших неожиданно ее родственниками. Да и сами они, растерявшие в послевоенном хаосе троны и власть, мыкающиеся бесцельно по свету, смотрят снисходительно на очаровательную польку, лезущую с черного хода в их круг. Ничего не попишешь, времена меняются: в «Готский альманах» нынче заглядывают редко. С Малечкой, по крайней мере, хотя бы не скучно.

От рухнувшего под большевистским топором рода Романовых, к которому она косвенно теперь принадлежит, сохранились жалкие остатки. Избегла печальной участи сына живущая на родине в Дании вдовствующая императрица Мария Федоровна. Бежавшие вместе с ней из России на английском фрегате дочери Ксения и Ольга поселились – первая в Британии, вторая в Канаде. Стережет на всякий случай самое понятие «российский престол» (как покажет будущее, для себя самого) обосновавшийся в столице Франции ее деверь великий князь Кирилл Владимирович, тот самый, помчавшийся в семнадцатом кланяться новым властям, называющий себя теперь не иначе как с большой буквы – Местоблюститель.

«В Париже образовался «двор» нового «императора», б.в.к. Кирилла Владимировича, – с иронией замечает в статье «Об эмиграции» А.Н. Толстой. – Набран полный штат придворных, «двор» разъезжает между Парижем и Ниццей, устраиваются торжественные приемы, раздаются чины, ордена и титулы. Вся эта затея создана за счет бриллиантов умершей б.в. кн. Марии Павловны; после нее Романовым достались в наследство бриллианты на несколько сот миллионов франков».

Разбрелись по Франции, живут каждый сам по себе оставшиеся в живых члены императорской фамилии. Брат покойного Сережи великий князь Александр Михайлович, женатый на родной сестре Николая II Ксении, подторговывает антиквариатом. Ограниченный и серый Борис Владимирович (еще один деверь Кшесинской) пропадает то на лошадиных бегах, то в кабаках. Гавриил Константинович с супругой, бывшей ее камеристкой Антониной Нестеровской, после неудачи с открытием дома моды в Париже переселился в пригород, где

устраивает за умеренную плату партии в бридж для желающих. Держащийся особняком энергичный Николай Николаевич-младший готовит остатки русского воинства для победоносного похода на Москву. Мил-друг Димушка крутит очередной роман – на этот раз со знаменитой парижской модельершей Габриель Шанель. (Участие в убийстве Распутина спасло ему жизнь. Высланный Николаем в Персию, несмотря на ходатайства многочисленных родственников, Дмитрий Павлович избежал тем самым большевистской расправы, благополучно эмигрировал во Францию.)

Каким недоступным казался ей когда-то их мир! Как мечталось о нем в юные годы! Какое грустное зрелище он нынче собой являет!

Иллюзия, которой она тешила себя, будто удалось наконец обратить в явь чудесную папочкину сказку, околдовавшую ее в детстве: об ожидавшем славный польский род Кржезинских необыкновенном будущем, развеялась как дым. Да, она – княгиня, сын – законный наследник отца. А толку что? За душой ни гроша, одни долги. Проедено благополучно наследство свекрови, рухнула надежда выручить что-либо от продажи недвижимости мужа на территории Королевства Польского: при определении новых границ именно эта часть польских земель отошла к большевикам. Надежд на будущее – никаких. Впору на паперть идти с протянутой рукой.

Ходят слухи об обострившейся у нее в эту пору страсти к игре, просаженных в казино Монте-Карло сотнях тысяч франков, увлечении алкоголем. Внимательно следившая за жизнью балерины-эмигрантки советская печать не упустила случая позлословить на сей счет. В ленинградском журнале «Театры и зрелища» появилась заметка «Пуанты в монастыре» в форме объявления, которая сообщала: «Находящаяся сейчас в Париже балерина М.Ф. Кшесинская уходит в монастырь Шартрез. Так как в этом монастыре выделывается знаменитый ликер, то очевидно, что «сестра Матильда» и тут не будет скучать…»

Скучать она в самом деле не умела, находила в любых обстоятельствах повод развлечься, отвести душу.

«Я встретила Кшесинскую в 1922 году в Монте-Карло, – вспоминает Тамара Карсавина. – Она была тогда княгиней Красинской, женой великого князя Андрея Владимировича. Хотя она потеряла почти все состояние, но оставалась такой же жизнерадостной, как всегда, – ни единой морщинки, никакого следа беспокойства. К счастью для нее, когда разразилась революция, ее не было в Петербурге, она отдыхала в Крыму, вполне возможно, это спасло ее от гибели. Она рассказывала мне,

с каким смешанным чувством страха и надежды приехала в Кап д'Ай, не уверенная, существует ли еще вилла. Ее радость, когда она нашла дом в целости и сохранности, не знала границ. Она рассказала мне о своих скитаниях, при этом шутила, говоря о лишениях, и к своему теперешнему положению относилась с мужеством и философским спокойствием».

Весной 1926 года она устроила по случаю перехода в православную веру пышный пасхальный праздник, назвала гостей: Сергея Павловича Дягилева с новым любовником – Сержем Лифарем, Томочку Карсавину, Веру Немчинову, Петю и Федора Владимировых, графа С. Зубова с супругой, вдову адмирала Макарова – Капитолину Николаевну, ривьерских и парижских приятелей.

«Пасху мы встречали у Кшесинской, жившей в своем имении на Cap d'Ail, – вспоминает в книге «Дягилев и с Дягилевым» знаменитый впоследствии танцовщик и хореограф С. Лифарь. – К пасхальному столу – какому столу! – с детства я не помню такого царского стола, – было приглашено человек сорок. После заутрени в русской церкви в Ментоне все съехались на автомобилях на Cap d'Ail, где всех радушно встречала хозяйка. Я так усердно «разговлялся» за столом – весь стол был в розах, нарядный, радостный, праздничный, – что вино ударило мне в голову и я так «осмелел», что во время десерта оторвал розу, встал и, ко всеобщему удивлению, подошел к хозяйке: «Матильда Феликсовна, разрешите поднести вам розу!» Минута замешательства, потом крики: «Браво! Браво!» Кшесинская была тронута моим странным импровизационным приветствием и в награду открыла в паре со мной бал традиционным полонезом. Праздник продолжался. Как продолжался, я не только теперь не помню, но не помнил и тогда: я был слишком в «праздничном» настроении и ничего не замечал. Сам не знаю как, я оказался за диваном флиртующим с Карсавиной: она на полу расписывалась в золотой книге Кшесинской, а я перечеркивал ее подпись своею подписью. Все танцуют, веселятся, я не танцую, но мне весело, легко. И вдруг окрик, грозный, суровый, Сергея Павловича: «Что-то вы очень развеселились, молодой человек, не хотите ли домой?» И «молодого человека» против его воли увозят домой».

В ту пасхальную ночь ей приснился Петербург, театр. Она, одетая, в балетных туфельках, глядится в трюмо. В дверь уборной стучат, на пороге распорядитель, торопит к выходу. Она бежит по узкому коридору и с ужасом вдруг сознает: не помнит решительно, какой нынче день недели, что ей предстоит танцевать? Путь на сцену затруднен, на полу навалены как попало пыльные декорации, бутафорский какой-то хлам, она обо

что-то больно ударяется лодыжкой. Слышны вступительные аккорды ее вариации, она ускоряет бег – голубой бархатный занавес распахивается… Боже правый! – зрительного зала нет и в помине, на его месте вьюжная площадь в сугробах со смутно светящими по периметру фонарями. Тянет невыносимо холодом, тело ее заледенело, она не в состоянии сделать и шагу. «Видите, мадемуазель Кшесинская, что значит изменить католичеству? – желчно выговаривает ей из оркестровой ямы капельмейстер Дриго. – Не помолились перед спектаклем Пресвятой Деве и два такта уже пропустили!»

Она проснулась в выстудившейся спальне от боли в икроножной мышце правой ноги. Прибежавшая снизу Людмила вскипятила воду, накладывала одна за другой горячие салфетки на схваченное судорогой место. Боль медленно отступала.

– Перетанцевала дуреха, – самокритично призналась она.

– А то нет, – отзывалась ползавшая на четвереньках, подтирая пол, верная служанка – Не девочка, чать…

4

– Сначала, господа, закусить. По-русски, для разугреву, как говаривал наш дворник Евлампий. Милости прошу… чем Бог послал!

– Помилуйте, Владимир Пименович, часа не прошло, как из-за стола!

– И слушать не хочу! Пожалуйте в столовую!

Неделю как они с Андреем и Вовой в Париже. Живут в скромной гостинице, гуляют, ходят в театры, музеи. Заехали навестить давнего знакомого по Петербургу Владимира Пименовича Крымова, бывшего владельца «Товарищества Нового времени», издававшего до революции в числе прочего иллюстрированный журнал «Столица и усадьба». (В одном из его номеров был помещен пространный очерк с иллюстрациями, рассказывавший о каменноостровском ее особняке.)

Проницательный делец Крымов был в числе немногих, усмотревших в событиях февраля 1917 года близкую катастрофу. В дни праздничной беспробудной эйфории, произнесения свободолюбивых речей скоренько перевел капиталы в Швецию, собрал вещицы и покатил курьерским поездом вместе с женой Бертой Владимировной – не в опасном для перехода границы западном направлении, а в противоположном, восточном. Две недели спустя, наглядевшись из окошка на бескрайние просторы Сибири, супруги благополучно прибыли во Владивосток. Без промедления направились в морской порт, приобрели транзитные

билеты. Садясь на пароход решили не торопиться: путешествовать так путешествовать. Поплыли в Японию, оттуда в Китай, затем в Индию. Вошли, что называется, во вкус: завернули по дороге в Египет, осматривали пирамиды, ездили на верблюдах. Далее – Европа: Греция, Италия, Испания. Кругосветка затянулась на три года – до первого эмигрантского приюта в Берлине они добрались лишь к концу 1920 года. Не ужившись с немцами, двинули во Францию, присмотрели за полмиллиона франков трехэтажную виллу на берегу Сены, принадлежавшую когда-то знаменитой шпионке Мата Хари, обставили современной мебелью и зажили тихо-мирно жизнью парижских рантье.

– Ну что там наш приют скитальцев, – отзывался на ее восторги Крымов, когда они осматривали дом. – Вот ваше гнездышко на Каменноостровском, дражайшая Матильда Феликсовна, это был действительно Трианон. Недаром Александра Ивановича, если не изменяет память, удостоили медали за архитектуру интерьера…

– Лицевого фасада.

– Точно – фасада.

– Кстати о «Трианоне»! – воскликнула она. – Помните, я рассказывала вам когда-то про чекиста Агабабова, который командовал в семнадцатом году у меня в доме? Ну, этом? Вернуться еще уговаривал и жить с ним рядом, в смежной комнате? Вообразите: обретается нынче в Париже!..

– Быть не может!

– Еще как может! Вот, Андрюша с Вовой подтвердят. Третьего дня столкнулись в храме на Дарю. Выходил вместе с молящимися, узнал меня, поклонился издали… Господи, эти его ужасные глаза! Никогда не забуду!

– Молился подлец!

– Именно! Можете себе представить?..

– Ну, прохиндей! Это у них мода нынче такая. Перегрызлись как бешеные псы и драпают за кордон под видом политэмигрантов. А либеральная Европа их принимай… Агабабов ваш еще невинная овечка. Натуральный палач, убийца великого князя Михаила Александровича большевик Григорий Мясников – в затылок стрелял царскому брату и адъютанту его Джонсону до того, как в шахту сбросить! Тоже здесь!

– Ужас! – всплеснула она руками.

– То-то и оно. Живет сукин сын под чужим паспортом, работает электриком на каком-то заводе. Разошелся вроде бы по какому-то вопросу с Лениным, возглавил то ли рабочую, то ли крестьянскую оппозицию. Понял, что не сносить головы, и – в бега. Не в Африку, разумеется, к бушменам, – в страну

революционной «Марсельезы». Бонжур, граждане буржуи, встречайте невинную жертву политического террора. Кол им в дышла!

– Володя, пожалуйста!.. Ну, как можно! – картинно затыкала уши дородная, в небесно-голубом платье Берта Владимировна. – Не слушайте его, господа: он от этой политики сам не свой… Дождь, кажется, перестал, – глянула она в окно, – идемте на воздух кофе пить.

Сидели под маркизой на нижней веранде, любовались рекой с проплывавшими мимо белыми пароходиками, вереницей приземистых барж, следовавших за чумазым задымленным буксиром, фигурками неподвижно застывших у парапета удильщиков на том берегу. Удержаться от политики не удавалось. Андрюша поведал о встрече с приехавшим в Париж следователем по особо важным делам Н. Соколовым, привезшим материалы расследования убийства государя и великих князей. Обсуждали новости: продажу большевиками – за бесценок! – уникальных сокровищ Зимнего дворца, засуху в поволжской губернии, повлекшую за собой чудовищный голод. Вышвырнувшая их за порог страна не давала о себе забыть, волновала, мучила – как ампутированная нога в пустом галифе.

Голод в Поволжье был горячей темой дня, вызывал сострадание даже у наиболее непримиримых противников большевизма. Газеты печатали взволнованные призывы Максима Горького: «спасти миллионы русских жизней». Будущий президент Соединенных Штатов Герберт Кларк Гувер и исследователь Арктики норвежец Фритьоф Нансен, занимавший пост комиссара Лиги Наций по делам военнопленных и беженцев, возглавили специальный комитет по доставке в пострадавшие районы РСФСР продуктов питания и одежды – «АРА».

– Русские люди гибнут, о чем речь! – волнуясь, говорил Крымов. – Я прошлым месяцем на счет этой «АРА» десять тысяч франков перевел и еще переведу двадцать – не жалко! Жалко, если денежки мои окажутся в конечном счете в карманах у лениных и луначарских. Очень может быть! Слышали о выводах ревизорских комиссий, побывавших в районах бедствия? Разбой ведь форменный! До голодающих продовольствие доходит в самую последнюю очередь – львиная доля пожертвований разворовывается в пути, попадает к спекулянтам, присваивается партийными аппаратчиками. Выходит, что меценатствую я как Савва Морозов – в пользу чертовых этих безбожников!

– Ну, не так уж все мрачно, милый Владимир Пименович, – возражала она ему. – Сама я отправила в Петербург брату несколько посылок, и все дошли. У Гуверовского комитета нынче

правило: проводить доставку, минуя распределительную систему большевиков. Непосредственно адресатам, с собственноручной обратной распиской получателя.

– Эх-ма… Докатилась Россиюшка… – сокрушенно качал головой Крымов. – Крыс, говорят, жрут… Давайте еще по рюмочке бенедиктина перед фруктами.

5

Одной из причин, по которой они навестили Крымовых, был поиск подходящего помещения для жилья и балетной студии в связи с намечаемым переездом в Париж. В подобного рода вещах Владимир Пименович разбирался как никто.

«По поводу моего переезда в Париж, – писала она, – многие со злорадством утверждали, что я проиграла в Монте-Карло все свое состояние. Одно верно, и я это не отрицаю, я всю жизнь любила играть, но никогда не играла крупно, в особенности в казино, даже и ранее, когда я обладала средствами и могла себе это позволить. Как все игроки, я проиграла, но это были сравнительно пустяки, и далеко не те миллионы, как хотели утверждать и каких у меня не было».

Мысль найти работу, заняться репетиторством, чтобы, по собственным ее словам, «этим способом обеспечить нам всем кусок хлеба», зрела в ней день ото дня. Скромные их сбережения таяли на глазах, рассчитывать на чью-либо помощь не приходилось, жить становилось все труднее. Сын пробавлялся случайными заработками, сама она найти применение своим силам в Каннах не могла. Андрей ввязался, не подумав, в сомнительную акцию: взялся патронировать, неясно на что рассчитывая, открытую отцом Аркадием Яхонтовым школу для русских детей при православном храме в Ницце, которая из-за финансовых затруднений вскоре закрылась, оставив невыплаченные долги. И без того дорогое во всех отношениях проживание на Ривьере становилось бессмысленным. Столица казалась единственной надеждой хоть как-то поправить дела…

И вот он, наконец, Париж незабываемых двадцатых годов. Время кружения умов, возврата к нарушенным войной привычным устоям жизни. Время обретавшихся в веселых местах Монпарнаса живописных личностей – писателей, художников, музыкантов, эксцентричных женщин, не желавших подчиняться законам морали, живших по принципу: «Грех прекрасен! Обнажайтесь! Счастье любой ценой!» Время сюрреалистов, дадаистов, геев, лесбиянок, феминисток, шикарных борделей «де люкс», один из которых, на Рю Шабане, 12, неподалеку от

Национальной библиотеки, посещали, по слухам, депутаты парламента и министры. Время Джойса, Хемингуэя, Сальвадора Дали, любовных песенок выпускника Йельского университета, пьяницы и бисексуала Кола Портера, чернокожей секс-звезды эстрады Джозефины Бэйкер, модели-эксгибиционистки Кики, демонстрировавшей за несколько франков в публичных местах восхитительную грудь.

Кшесинская еще застала ненадолго этот Париж. Парады обнаженных, разрисованных абстрактными рисунками студентов на Елисейских Полях. Не уступавший в популярности Национальной Опере театр эротики и ужасов «Гранд Жиньон» с коронным номером, имитирующем оргазм. Ночные сборы садомазохистов у ворот Тюильрийского сада, коллективные оргии на дому: все спят со всеми. Гашиш, эфир, кокаин – на каждом углу. В молодости, оставленная Ники, она разрывалась между двумя любящими мужчинами, и вся Россия от мала до велика клеймила ее распутницей. В центре Парижа приехавшая из Америки хозяйка литературно-художественного салона Гертруда Стайн открыто жила с двумя молоденькими соотечественницами, и вся передовая Франция громко ей аплодировала: «Браво, мадам!»

Гедонистская эпоха «монпарно» оборвалась столь же стремительно, как и началась. Последовал невиданный по масштабу и последствиям обвал Нью-Йоркской фондовой биржи. В считаные дни сделались нищими получавшие из-за океана самую надежную в мире валюту зачинатели и финансисты французской эротической революции – американцы. Колония художественной богемы Монпарнаса редела на глазах. Кто-то из вчерашних бунтарей выбился в люди, остепенился, кто-то окончательно опустился на дно.

Всякое повидавший за многовековую историю город, вздохнув для приличия, вернулся к знакомому течению жизни. Молодое поколение французов, плюя на тяготы бытия, отдавалось простым человеческим радостям: влюблялось, веселилось, пело, танцевало. В ресторанах, джаз-клубах, на маленьких уютных площадях под луной влюбленные парочки отплясывали новомодные танцы – чарльстон, шимми и уанстеп. Вновь популярным сделался балет – как в лучшие годы Дягилевских сезонов. Девочки из состоятельных семей мечтали о карьере балетных звезд, поголовно записывались в танцклассы. Явилась нужда в танцевальных репетиторах. На родине классической хореографии таковых, к удивлению, не обнаружилось. Взоры обратились к мыкавшимся без работы русским экс-балеринам, упрашивать которых дважды не приходилось.

Первой среди эмигранток, организовавшей собственную хореографическую студию, была давняя «заклятая любовь» Кшесинской – Ольга Преображенская. Примеру ее последовали другие товарки по сцене – Вера Трефилова, Юлия Седова, Татьяна Николаева-Числова, Любовь Егорова, москвичка Александра Балашова. За балеринами потянулись мужчины – танцевавший с ней когда-то Николай Легат, бывший партнер Павловой Александр Волинин.

Им удалось, а ей – нет? Дочери знаменитого учителя танцев!

Она не была бы сама собой, не поставив целью переплюнуть конкурентов.

Балашова арендовала жалкий какой-то закуток в зале «Плейель», Преображенская трудилась едва ли не в мансарде под крышей. Кшесинская провела сбор пожертвований среди друзей и поклонников (в их числе были богач и меценат В. Фондаминский, певица Н. Ермоленко-Южина, скрипач И. Махонин). Собрав нужную сумму, отыскала на юго-западе столицы помещение в недостроенном доме, капитально его отремонтировала. Студия получилась на зависть: зал для репетиций с новым оборудованием, комнаты для отдыха, туалеты. На открытие наехала куча гостей, митрополит Евлогий отслужил торжественный молебен. Пили шампанское, звучали речи.

Послепраздничное похмелье не оставило следа от недавней эйфории. Благоприятный момент для набора группы она упустила, учебный сезон был на исходе, спрос на танцевальных педагогов упал. Пришла на запись единственная ученица, сестра ее петербургской знакомой, бывшей оперной певицы Мариинского театра Л. Липковской – Таня, записалось спустя какое-то время еще несколько девочек. Выручка – кот наплакал. Долго не удавалось найти подходящего жилья. От мысли соединить студию с комнатами для проживания пришлось отказаться: затея требовала серьезной реконструкции, была им не по карману. Искали что-нибудь поблизости, чтобы не пользоваться транспортом. Нашлась, к счастью, трехэтажная вилла в соседнем аррондисмане – достаточное количество жилых комнат, высокий подвал с кухней, помещения для прислуги, небольшой садик, где можно выгуливать собачек. Ее и арендовали, не торгуясь…

Несколько вечеров подряд она просидела за письменным столом, набрасывая в тетрадке план занятий. То, что казалось поначалу простым и понятным, вызывало сомнения, тревогу. С чего начать? Как задать нужный тон, не отпугнуть непривычных к системному труду кисейных барышень тягостной муштрой?

Мысли уносились в годы собственного ученичества.

Всплывали в памяти картины школьной жизни, лица педагогов. Сухой, педантичной Екатерины Оттовны Вазем, безжалостно вбивавшей в них классический балетный канон. («Поднимаемся на полупальцах, втянули коленки!.. Опять, мадемуазель, вы отрываете пятку от пола в приседании? Внимательней, пожалуйста!») Добродушного Льва Ивановича с неизменной скрипочкой под мышкой. Неподражаемого Христиана Ивановича Иогансона, последнего могиканина эстетики галантного века. Кем она была в сравнении с ними? Хореограф, ха! Оконфузится завтра, как пить дать!

Серым дождливым утром 6 апреля 1929 года, просидев дольше положенного времени за туалетом, она вошла в свежепокрашенный, светящийся электрическими огнями репетиционный зал, где ее дожидалась, толпясь за спиной аккомпаниаторши Е.Н. Васмундт, кучка голенастых взволнованных созданий в тренировочных костюмчиках. Голова горела, колотилось гулко в груди сердце…

«Когда М.Ф. Кшесинская, очутившись в положении беженки, открыла свою студию и из балетной «звезды» превратилась в профессора и воспитательницу, она поразила неожиданно обнаруженными ею педагогическими способностями. Преподавание обычно мало дается тому, кто им начинает заниматься в зрелом возрасте без тренировки. Это есть в известном смысле «новая жизнь», и требуется для нее особенный талант. Этот талант оказался присущ самой природе нашей балерины. Надо сказать, что среди наших балетных артисток Кшесинская сравнительно меньше других танцевала за границей, ее имя перешло границу в ореоле прошлого. Европа приняла ее скорее «на веру», чем на основании личного наблюдения, зато ее педагогическая деятельность, ее воспитательные достижения – это уже осязаемый факт, на глазах современников развернувшийся и завоевавший несомненное, своеобразное, очень индивидуальное и авторитетное место в балетном деле. Только тот, кто бывал в студии княгини Красинской, кто присутствовал на уроках, может оценить степень той воспитательной работы, которую вкладывает она в свое дело. Больше всего поражало меня параллельное развитие техники и индивидуального ощущения красоты. Ни одно из упражнений не ограничивается сухим воспроизведением гимнастически технической задачи: в самом, казалось бы, бездушном есть место чувству, грации, личной прелести. Как лепестки цветка раскрываются те стороны природы, которыми один характер не похож на другой. Не в этом ли истинная ценность исполнительского искусства – когда то же самое производится по-разному? Технике можно научить (этим в

наши дни не удивишь), но выявить природное, направить чужое, внутреннее по тому пути, который каждому по-своему свойствен, – это тот педагогический дар, которому тоже научить нельзя…»

Сказанное принадлежит человеку, на чьи комплименты, казалось, она меньше всего могла рассчитывать, – бывшему директору императорских театров князю С.М. Волконскому. Театральному деятелю, режиссеру, критику. Тому самому, вступившему с ней когда-то в конфликт из-за злосчастных фижм в балете «Комарго», поплатившемуся за это крушением карьеры. Четверть века спустя он преподнес ей урок благородства – первым протянул руку для примирения. Явился в качестве театрального рецензента «Последних новостей», чтобы написать о работе ее студии, привел очаровательного молодого англичанина, страстного балетомана Арнольда Хаскелла, с которым ее познакомил когда-то Дягилев.

Воистину, ей везло на мужскую привязанность! Волконский с тех пор сделался ревностным помощником в делах, другом дома. Хаскелл – в будущем авторитетнейший историк и теоретик балета – летописцем и исследователем ее творчества. В фундаментальном труде «Балетомания» он приводит стенографию одной из бесед с Кшесинской, в которой говорится, в частности, о первых ее шагах на ниве балетной педагогики.

«Класс Кшесинской, – предваряет интервью Хаскелл, – один из самых замечательных среди тех, что мне приходилось видеть: очень индивидуальный и вдохновенный. Кшесинская отдает себя работе с огромным энтузиазмом, танцуя со своими учениками иногда по восемь часов в день».

А. Хаскелл: Ваш класс не похож ни на один другой. У вас есть собственный метод преподавания?

М. Кшесинская: Я стремлюсь делать каждый урок новым и увлекательным. Я хочу учить самому танцу, а не только тем движениям, из которых он состоит, и стараюсь включать традиционный экзерсис в комбинации и па, которые развивают воображение. Таким образом, когда придет время, танцовщики смогут легко и быстро понять хореографа. Вы могли заметить, что я никогда не считаю вслух: это точно так же портит урок, как испортило бы представление. Прежде чем начать танцевать, ученики должны мысленно держать ритм, а пока этого нет, танцевать просто бессмысленно.

А. Хаскелл: Не получится ли, что все ваши ученицы будут просто маленькими Кшесинскими?

М. Кшесинская: Я стараюсь воспитывать в них индивидуальность. Все должны изучить основную технику, но

когда они уже достаточно подготовлены, я даю им те упражнения, которые каждой из них больше подходят. Я считаю, что урок Чекетти не годится для продолжительных занятий. Я нахожу, что он иссушает воображение слишком однообразным классом, в то время как совершенно необходимо развивать художественную гибкость. Чекетти научил меня фуэте, и я навсегда осталась ему благодарна за то, что он сделал для меня. Но самым великим учителем я считаю Иогансона – он создатель русской балерины. Он был одним из очень немногих, кто мог научить, как нужно танцевать. За исключением этих нескольких оговорок, я согласна с вами, что балет сегодня замечателен и что так или иначе танцовщики все же смогут развиваться. Ко мне мастерство пришло к тридцати годам. Как легко мне было тогда танцевать, я делала это почти без усилий! До того и после мне иногда приходилось делать усилия, чтобы быть в нужном настроении…

А. Хаскелл: Артистизму можно научить?

М. Кшесинская: До определенной степени можно. Внутренняя артистичность нашей великой танцовщицы Павловой – это другое дело, но я знаю многих танцовщиков, которые развивали в себе это свойство постепенно. Время – самая важная вещь при ответе на подобные вопросы. Мы долго учились, прежде чем взяться за трудные роли, и хотя сегодняшняя техника оправдывает более короткий срок обучения, но души еще не готовы для серьезных ролей. Нужно наблюдать за великими артистами, чтобы со временем стать такими же. В те годы у нас было достаточно времени, чтобы наблюдать. Я помню, как, когда мне было двадцать лет, я попросила Петипа дать мне танцевать Эсмеральду. «Не теперь, – ответил он, – вы недостаточно страдали». И он был прав. Старые балеты, возможно, были во многом смешными, но исполнять их эмоционально была непростая задача. Я так сильно чувствовала Эсмеральду, что когда, наконец, стала ее танцевать, то часто должна была сдерживать слезы перед выходом. И здесь опять время играет очень большую роль. Эти балеты были длинными и шли долго – у нас была возможность совершенствовать роль или же учиться, наблюдая, как ее совершенствуют другие.

Я поражаюсь современным молодым артистам, но часто спрашиваю себя, хватит ли их так надолго, как нас? Будут ли они такими же свежими в зрелые годы, какой осталась Анна Павлова? Это снова вопрос времени. Они танцуют каждый вечер, мы выходили на сцену с перерывами. Невозможно каждый вечер быть в нужном расположении духа, а насильно вызывать в себе желание танцевать очень вредно для молодого человека. Впрочем, время покажет.

А. Хаскелл: Чем отличаются артисты вашего поколения от современных молодых артистов? Лучше вас никто не сможет ответить на этот вопрос.

М. Кшесинская: Многое кажется мне забавным, когда я думаю о знаменитых артистах прошлого, особенно моих школьных лет. Большинство из тех, кого восторженно принимала публика, сегодня всем своим стилем вызвали бы смех. Гердт, например, был великим артистом, но его невозможно представить на сегодняшней сцене. Другие, быть может, имели бы такой же выдающийся успех, как и прежде. Вирджиния Цукки была замечательной артисткой, величайшей среди всех, кого мне приходилось видеть. Бывают артисты, которые вызывают восхищение, но ничего не оставляют в душе, но после стольких лет я все еще вижу Цукки. Современные танцовщики технически гораздо более развиты, они сильнее даже знаменитой своей техникой Леньяни. Но с развитием артистической индивидуальности все обстоит не так просто…

«Подумать только! – не уставал повторять Хаскелл. – Это говорила балерина, танцевавшая еще при свечах! Ничего похожего на: «Ах, в наше время все было так прекрасно!», ничего от «бабушки русского балета». Трезвая, мужественная оценка прошлого и настоящего. Поразительная женщина!»

Через год после открытия студии в гости к ней приехала гастролировавшая в Париже Анна Павлова. Сидела в кресле во время занятий, наблюдала с интересом за выступлениями воспитанниц, изо всех сил старавшихся произвести впечатление на легендарную звезду. Поманила пальцем понравившуюся ей Ниночку Прихненко:

– Подойти, детка!

Погладила по головке светловолосую очаровательную девчушку, произнесла ласково:

– Продолжай танцевать. У тебя хорошее будущее.

«Она просидела весь урок, – вспоминает Кшесинская, – а когда урок кончился, она меня расцеловала и сказала: «А я думала, что вы неспособны работать, что это только одно воображение, но теперь я вижу, что действительно можете преподавать».

Глава вторая

1

На парижских улицах свеженаклеенные афиши – гастроли московского Театра Революции. «Ревизор» Гоголя, «Лес» Островского, «Мнимый рогоносец» Мольера. Главный режиссер и постановщик Всеволод Мейерхольд. Глазам не верится!

Обстановка в мире менялась. Советская Россия выходила мало-помалу из международной изоляции, боролась за общественное признание Европы. В белокаменном дворце д'Эстре на улице Гренелль прекрасно образованный русский посол Леонид Красин устраивал приемы для видных представителей эмиграции – политиков, писателей, художников, артистов. Под водку и икру велась полемика, высказывались крайние взгляды.

Мейерхольд был выигрышной картой в проводимой большевиками кампании культурного проникновения на Запад. Личность театрального якобинца вызывала у обожавших пикантную новизну европейцев необычайный интерес. Еще бы! – режиссер императорских театров, получивший некогда из рук монарха золотой портсигар с бриллиантовым орлом за постановку оперы «Жизнь за царя» с коленопреклоненным Шаляпиным. Сделался глашатаем нового революционного искусства: железной метлой выметает со сцены реалистический хлам, собственноручно переписывает классику. Отбил у какого-то забулдыги-поэта обворожительную жену Зинаиду Райх, сделал ведущей актрисой театра. Не хочешь, а побежишь в кассу за билетом…

Сидевшая с мужем и сыном в забитом до отказа зале театра «Монпарнас» Кшесинская с изумлением глядела на сцену, где разворачивался смутно угадываемый сюжет «Ревизора». Сцены и картины, похоже, шли в обратном порядке, текст узнавался с трудом. К рампе то подплывала, то отъезжала напоминавшая гигантский поднос платформа, заполненная вперемежку актерами и реквизитом. Казалось: зрителям преподносят всякий раз какое-то новое экзотическое блюдо. Во втором акте прозвучал исключенный в свое время Гоголем, а Мейерхольдом восстановленный монолог Анны Андреевны, в котором она делится с дочерью амурными переживаниями:

«– Все, бывало, в один голос: «С вами, Анна Андреевна, довольно позабыть все обстоятельства!» А стоявший в это время штаб-ротмистр Старокопытов? Красавец! Лицо свежее, как я не

знаю что, глаза черные-черные, а воротнички рубашки его – это батист такой, какого никогда еще купцы наши не подносили нам. Он мне несколько раз говорил: «Клянусь вам, Анна Андреевна, что не только не видал, не начитывал даже таких глаз; я не знаю, что со мною делается, когда гляжу на вас». На мне еще тогда была тюлевая пелеринка, вышитая виноградными листьями с колосьями и вся обложенная блондочкой, тонкою, не больше, как в палец, – это просто было обворожение! Так говорит, бывало: «Я, Анна Андреевна, такое чувствую удовольствие, когда гляжу на вас, что мое сердце говорит». Я уж не могу теперь припомнить, что он мне говорил. Куда же! Он после такую поднял историю: хотел непременно застрелиться, да как-то пистолеты куда-то запропастились, а случись пистолеты, его бы давно уже не было на свете».

На протяжении проходившей в роскошном будуаре сцены Анна Андреевна полулежала на канапе среди разбросанных подушек, а вокруг нее выскакивали – то из-под стола, то из-за комода – живописные молодые военные и мимически объяснялись ей в любви. Один и впрямь, приставив ко лбу пистолет, застрелился у нее на глазах…

Кшесинская зажимала платком рот, чтобы не расхохотаться. По дороге домой и за ужином они с сыном не переставая спорили по поводу увиденного (Андрей молчал: был нездоров, рано ушел из-за стола).

– Не понимаю – возмущалась она, – зачем надо было приплетать ко всему этому Гоголя? Написали бы на афише: «цирк-шапито». Было бы, по крайней мере, ясно.

– Муся милая, ну что вы такое говорите? – Сын умоляюще разводил руками. – Кому, скажите, интересно сегодня в России, как одурачили городничего? Кто это поймет? Рабочий? Красноармеец?

– Прости, но Мейерхольд показывает свои гимнастические кувыркания в Париже, не в московском клубе для пролетариев! Мне, парижанке, смотреть на эту клоунаду? В варьете лучше пойти! Там, по крайней мере, не прикрываются Гоголем и Мольером… Пожалуйста, сдай сегодня же билеты в кассу. Слышишь! Недоставало еще смотреть бегущего по трапеции Сганареля…

Они едва не поссорились. С некоторых пор в его присутствии невозможно было сказать что-либо нелестное, касающееся России, – тут же выходил из себя. Признался однажды в порыве откровенности: в кругу его друзей из аристократической молодежи крепнет убеждение, что каждый из них причастен к происходящему на Родине – как бы она сегодня ни называлась и

кем ни управлялась. «Преступно, – говорил, – махнуть рукой на землю отцов, отмежеваться от ее судьбы, забыть ее историю, великую культуру. Татаро-монголы, триста лет владевшие Русью, сгинули в конце концов, ушли в небытие. Постигнет рано или поздно та же участь и большевиков. Нельзя, чтобы после них осталось Мертвое Поле. Сам Господь Бог благословляет молодых русских патриотов на подвиг по бескровному христианскому возрождению отчизны».

Она не придала тогда серьезного значения его словам. «Блажит по молодости лет, – подумала, – никак не найдет себе дела по душе. То в массоны записался, теперь вот возрождение России. А на поверку вышло – еще как серьезно». В Париже заговорили о молодежном движении «Союз младороссов», руководимом А.Л. Казем-Беком, ядро которого составили отпрыски аристократических фамилий – Сергей Оболенский, Владимир Красинский, Воронцов-Вельяминов, Карузо. Ни дать ни взять – пятая колонна большевиков. Заявляют во всеуслышание, что революция оказала обновляющее влияние на ход русской истории, придумали смехотворные какие-то лозунги: «Через великие потрясения – к великой России!», «Русский царь – во главе Советов!». Превозносят на все лады со страниц своих изданий – «Бодрости», «Младоросской искры», «Нового пути» франко-советский союз, зовут эмигрантскую молодежь к деятельному просветительскому труду во имя светлого будущего Родины, всерьез готовят молодые кадры для грядущей обновленной России. Получают со стороны непримиримых противников большевизма проклятия, плевки в лицо, кличку «комсомольцы». Страшно этим гордятся…

Спор о мейерхольдовском «Ревизоре» завершился в тот вечер миром: выручил отходчивый характер сына. В ответ на очередной ее выпад он неожиданно смешно набычился, заревел свирепо:

– У-уу, забодаю!

Пошел на нее тараном, ткнулся лицом в грудь.

Она поцеловала его в редеющую макушку, пахнущую одеколоном, пригрозила пальцем:

– Не смей перечить мамочке, негодный мальчишка! Отправлю во двор гусей пасти!

«Мальчишка! – подумала. – Тридцатилетие нынешним летом справили! На голову ее выше, верста коломенская, весь в отца. Курит ужасно».

– Билеты сдать? – примирительно спросил он.

– Оставь, пожалуй. – Захватив со стола журнал мод, она направилась в спальню. – Может, хотя бы Счастливцев с Несчастливцевым в «Лесе» не будут кувыркаться…

2

Исправно служившее ей рабочим инструментом тело начало сдавать. Как она себя в свое время ни берегла, какой щадящий режим в течение тридцатилетней балетной карьеры ни соблюдала, полученных травм, как у любой отработавшей срок профессиональной танцовщицы, накопилось у нее достаточно: порванные связки, поломанные пальцы ног, разбитые стопы, вывихи, ушибы.

В разгар учебного года, показывая на занятиях двойной пируэт, она ощутила неожиданно резкую боль в правом бедре. Охнула, не в состоянии разогнуться, схватилась за станочный брус. Домашний доктор Залевский заподозрил воспаление седалищного нерва, назначил курс лечения – толку не было никакого, боли ее не оставляли. После проведенного сеанса радиологии и изучения полученного снимка консилиум врачей, возглавляемый хирургом Гаттелье, вынес вердикт: работа ее в студии не только нежелательна, но и опасна для жизни – любое резкое движение может привести к непоправимым последствиям.

Диагноз был равносилен смертному приговору. Дела ее наконец пошли в гору, студия окончательно встала на ноги, приносила доход. В третьем по счету учебном году число занимающихся перевалило за сотню. На подобное количество она не рассчитывала – помещение стало тесным, срочно требовалась дополнительная площадь. Освободилась, к счастью, соседняя квартира. Знавшая толк в строительстве, она немедленно ее арендовала, провела перепланировку: пробила новый вход, убрала ненужную лестницу. Прибавилось в результате еще две уборные, поместительный салон. Денег в надежде на скорый заработок она не жалела, тратилась не считая, и – нате вам! – сюрприз…

В дверь постучалась банальная нищета. Источников существования не было никаких, работником в семье была она одна, оба ее мужчины жили исключительно за ее счет – болели, лечились, отдыхали на курортах, выполняли светские обязанности. Надеяться кроме как на самою себя было не на кого.

Она срочно отправила радиографию бедра в Ниццу, травматологу Кожину, услугами которого пользовалась еще в России. Пусть посоветует, что делать?

Ответ последовал неожиданный. Внимательно изучив снимок, Кожин пришел к прямо противоположному выводу. Что, наоборот, характер травмы таков, что только физическая подвижность, постоянная работа сухожилий и мышц предотвратят нежелательное развитие процесса. «Покой, Малечка, для вас

безусловно вреден», – было его заключение.

Ей и в голову не пришло усомниться в его выводе, допустить, что в несовпадении врачебных оценок ошибся именно он, а не столичные светила медицины, что, положившись на его мнение, она рискует стать инвалидом. Шанс продолжить полноценную жизнь превысил доводы рассудка. «Я поехала в студию, – пишет она, – и первым делом поставила больную ногу на палку. Было больно, но я перетерпела…»

Ученицы в ней не чаяли души. Проходившая у нее стажировку будущая прима-балерина лондонского Королевского балета Марго Фонтейн признавалась: Кшесинская поощряла их к труду скорее эмоционально, личным обаянием, нежели педагогическими приемами. «Я очень хорошо понимаю влюблявшихся в нее мужчин и женщин, – писала она Арнольду Хаскеллу, – в этой женщине присутствует какая-то удивительная магия». Учившиеся у нее дочери Ф.И. Шаляпина Дасия и Марианна пускались на любые уловки, чтобы остаться у нее переночевать – таким было счастьем оказаться в атмосфере дома обожаемой Матильды Феликсовны, видеть ее в роли радушной хозяйки. Играли в карты, слушали граммофон, танцевали до упаду – «шерочка с машерочкой». В сумерках, перед ужином, спускались в садик – выгулять бородатенького фоксика Риччи. Собачонка немедленно валилась на траву, принималась кувыркаться.

– Господи, – всплескивала руками Кшесинская, – вчера только искупали! Опять наберется всякой гадости!

Ужинали основательно, в одиннадцатом часу.

– Диета, конечно, важная вещь, – говорила за столом хозяйка, запивая тушеную баранину с фасолью красным вином. – Но вот была у нас в театре танцовщица Бакеркина. Чего только не делала, чтобы не располнеть. Неделями сидела на морковке и капусте, уксус пила. Представляете! А все равно выглядела как бочка… Ешьте, деточки. И побольше двигайтесь.

Дружба их в эмиграции с Шаляпиным не прервалась. Звонили попеременно, встречались на приемах, за кулисами «Шанз-Элизе», где он выступал. «Зайдешь к нему в уборную после окончания спектакля его поздравить с успехом, он тут же непременно пригласит поужинать запросто». Вместе с женой Марией Валентиновной он захаживал к ней на студию – посмотреть, как занимаются дочки.

После Октябрьского переворота Федор Иванович из России не уехал. Выступал в неотапливаемых рабочих клубах, заводских цехах, стал народным артистом РСФСР. Когда в 1922 году, разуверившись окончательно в новой власти, не вернулся из

заграничных гастролей, Всерабис лишил его почетного звания, а правительство большевиков – советского паспорта. Певец кипел от возмущения: «Стало быть, Шаляпин не народный артист? А кому же Шаляпин пел, как не народу? Лошадям, что ли? Паспорта меня лишат? Ну, а кровь-то подменить нельзя, кровь у меня русская. Паспорт – что? Не только паспорт отобрать, но и одежду с меня снять можно. Снимали. В России я пять лет пел за сахар и муку…»

Паспорт он принципиально не вернул, и – напрасно: через год-другой после эмиграции в поместительных его апартаментах неподалеку от площади Трокадеро появился служащий советского посольства, напомнивший, что по соглашению с Наркомпросом Федор Иванович обязан выплачивать проценты с заработков в государственную казну. Долг, мол, накопился изрядный, а долг, как известно («Хе-хе!») платежом красен.

Шаляпин, не перебивая, слушал, кивал головой: «Совершенно справедливо… Конечно, оплачу… какой разговор!» Вышел в соседнюю комнату, порылся в столе, нашел старую чековую книжку Петербургского Международного банка, которую хранил как реликвию. Выписал чек на шестизначную сумму в рублях, вынес торжественно представителю советской власти: «Пожалуйста. В Петербурге и получите с моего счета. У меня там несколько миллионов рублей осталось».

В годы налаживания отношений с Советами с ним снова стали заигрывать, звать обратно. Максим Горький говорил якобы по этому поводу со Сталиным, тот ответил: «Захочет, пусть приезжает. Препятствий чинить не будем». Слова большевистского вождя ему передали, он ответил неопределенно: завязан по горло контрактами, то да се, поживем – увидим…

Общаться с ним было редкое удовольствие. Чего только не перевидал на своем веку этот удивительный человек! Жизнь его напоминала приключенческий роман, который он к тому же мастерски украшал талантливыми выдумками. Рассказчиком был непревзойденным. Увлекательно, глубоко рассуждал о театре, музыке, тонкостях оперного исполнительства.

– Голос, маленькая, – говорил, – ничто, если слово в горле плутает, как курица в крапиве. Фразировка – вот основа сценического пения. Уразумел я истину сию в церковных хорах благодаря первым своим учителям по вокалу, регентам, которые кулаками выбивали из нас, балбесов, словесную невнятицу. А завершил науку незабвенный друг мой Мамонт Дальский, лучший из поэтов-декламаторов, учивший меня за рюмкой водки не петь, а выпевать слово. Чувствуете разницу? Вы-ии-пе-е-ваааать… Мы, русские, – продолжал, – умеем учиться. Оперный жанр постигали

крупицами. Ария, дуэт, камерный ансамбль – тут мы были профаны, в рот когда-то глядели поющим со сцены итальянцам и французам. И правильно делали – в этом искусстве равных им не было. Касаемо же хорового исполнительства – извините: здесь мы сами с усами, хоры у нас сызмальства на слуху… Помню, попал я впервые в «Ла Скала» на вердиевскую «Аиду». Благолепие! Зал битком, солисты – звери, душу переворачивают. Сижу, наслаждаюсь, жду, когда наконец хор в дело вступит. У Верди ведь хоры чудо как хороши – вершина многоголосия! А вышли, простите, шаромыжники какие-то из-за кулис в кривых париках, запели кто в лес кто по дрова. Ни намека на полифонию, горланят, как пьяные гости на свадьбе… Я все потом допытывался у знакомых артистов, отчего такой разнобой? С одной стороны, Джильи, Тито Скипа, а с другой – охламоны эти? А мне объясняют: «Чего ж тут непонятного, господин Шаляпин? Постоянных хоров у нас в операх держать не принято: публика наша к хоровому пению равнодушна, ходит в основном на солистов. Берясь за новую вещь, режиссеры нанимают хористов-любителей с улицы, знающих толк в нотной грамоте, благо их – половина Италии. Отсюда и результат…» Сейчас европейцы этот пробел ликвидируют, наверстывают упущенное. Хотя до наших хоров – Николая Афонского, допустим, или казачьего Платовского им еще ой как далеко…

– Хочу поставить оперу, – признался как-то. – Материал подходящий подвернулся: «Алеко» Рахманинова. Ни разу, представьте, не шла на сцене. Вещь замечательная, свежести и силы необыкновенной. Алеко ведь – это сам Пушкин, влюбленный в Земфиру! Уже и либреттиста нашел, литератора Дон-Аминадо. Слыхали небось? К осени обещает представить текст. Эх, руки чешутся – поскорее начать! Запалим небеса!..

Позвонил однажды на студию, пригласил на обед.

– Княгинюшка, – пел в трубку, – сделайте мне подарок: станцуйте, золотко мое, «Русскую». Страсть как хочется гостей удивить.

Она давно положила за правило не участвовать в домашних концертах, отказывалась от любых гонораров. Но попробуй откажи Шаляпину?

– Хорошо, – ответила, – только у меня условие.

– Заранее согласен.

– Вы нам споете.

– Что именно, очаровательная? Заказывайте!

– На ваше усмотрение, Федор Иванович.

– Договорились!

Шестиэтажный дом на рю д’Эйло, 22, куда они прибыли в

оговоренный час с Андреем, можно было без преувеличения назвать шаляпинским, хотя сам Федор Иванович с семьей занимал в нем одну поместительную квартиру.

(«Купил я для Марии Валентиновны и детей дом в Париже, – сообщал он в одном из писем Горькому. – Не дворец, конечно, как описывают и говорят разные люди, но, однако, живу в хорошей квартире, в какой никогда еще в жизни не жил».)

В доме на разных этажах проживали (за счет Шаляпина, разумеется) многочисленные близкие и дальние родственники певца – престарелая теща («бабаня», как звали ее дети), ее сиделка Карина Карловна, взрослая дочь Марии Валентиновны от первого брака Стелла, дети от первого и второго брака сестры Марии Валентиновны Терезы – Вера, Лена и Таня, камердинер Михаил со звучной театральной фамилией – Шестокрыл-Коваленко, шофер-итальянец Винченцо, гувернер старших девочек Марианны и Марфы мистер Клеридж, воспитательница детей Анна Ивановна Страхова, учительница пения младшей дочери Дасии Варвара Эрманс с мужем, повар-грузин, горничная-эстонка. «Шаляпинская коммуна» – как называли дом приятели Федора Ивановича.

Трапезничали в тот день, как обычно, в просторной столовой. Большой компанией, основательно, по-русски. Гостей обслуживали двое молчаливых вышколенных слуг. Много смеялись за столом, спорили, шутили. После десерта перешли в соседний салон, заняли места в креслах перед раскрытым роялем. По уговору она выступала в концерте после пианистки, исполнившей несколько этюдов Шопена. Коронный ее танец под мелодию знаменитой песни «Ой, полным-полна коробушка» был встречен восторженно, гости долго ей аплодировали. Вслед за ней к роялю подошел Шаляпин. Поправил бутоньерку в петлице фрака, вскинул все еще красивую, скульптурной лепки голову со взбитой прядью подкрашенных волос, сделал знак аккомпаниатору.

«Уймитесь, волнение, страсти! Засни, безнадежное сердце!» – понесся, резонируя под лепными сводами музыкального салона, обволакивающий душу шаляпинский неповторимый бас…

Ей бросилось в глаза, как он сдал за последнее время. Усталое, с желтизной, лицо, вяло повисшие руки. Закончив номер, коротко поклонился, пошел, тяжело ступая, к дверям. Следом в кабинет побежала взволнованная Мария Валентиновна…

Вечер был скомкан. Гости спускались по лестнице, стараясь не шуметь, озабоченно переглядывались.

Домой по настоянию хозяев их отвозил в просторной «Изотта-

Фраскини» итальянец-шофер. Шел второй час ночи, на улице только что отшумел короткий летний дождь. Они устраивались в салоне машины, когда наверху громко стукнула ставня. Отворилось окно, высунувшийся по пояс Федор Иванович в халате, простирая картинно в их сторону руки, пропел на весь ночной Париж:

– «Мы-и-и сноо-о-ва обнии-име-ем друг друу-у-гаа!»

В этом был он весь.

3

Уходили из жизни друзья. В августе 1929 года в номере венецианского «Отель ле Бэн» скоропостижно скончался Сергей Павлович Дягилев.

Ничто не предвещало печального конца. Стареющий Чичиков был полон энергии и сил: ставил балеты, менял любовников, очаровывал женщин. Вращался по преимуществу в обществе знаменитостей, был на «ты» с Равелем, Дебюсси, Сен-Сансом, Пикассо, Роденом.

Внешний блеск, однако, не мог скрыть очевидного факта: лучшие художественные достижения Дягилева были позади, повторить феерический успех «Русских сезонов в Париже» он уже не мог. Растерял из-за разногласий и невозможного характера большинство соратников, столкнулся с конкуренцией – многие его солисты сами теперь руководили труппами, гастролировали по миру, имели успех.

Верный правилу нести знамя единолично, он предпринимал отчаянные усилия в борьбе за зрительский успех, шел на рискованные эксперименты. По словам Александра Бенуа, «Дягилев стал все круче изменять тому направлению, которое легло в основание всего дела русских спектаклей за границей. Новое направление, заключавшееся в том, чтобы во что бы то ни стало эпатировать «буржуа» и угнаться за последним словом модернизма, в высшей степени претило Баксту. Но и мне такой поворот в деле, которое когда-то было моим, казался возмутительным…»

Кшесинская разделяла точку зрения разошедшихся с Дягилевым сподвижников.

«Вначале, – пишет она, – С.П. Дягилев действительно показал Европе настоящий Русский балет, точнее говоря, Императорский русский балет, так как он повез в Париж труппу, набранную исключительно из артистов Императорских театров с декорациями и костюмами также Императорских театров – роскошь, которую не могла бы себе позволить не одна частная

антреприза. Первым его балетмейстером был М.М. Фокин, чудные постановки которого останутся в истории балета как выдающиеся произведения в области искусства. Но постепенно репертуар Дягилева стал заметно меняться. Продолжая ставить балеты классического характера, он одновременно стал ставить новые, фокинские. Он ставил и такие балеты, которым не было бы места ни на Императорской сцене, ни даже в частном русском балете и о чьих достоинствах было много споров, продолжающихся до сих пор. Число русских артистов стало после Первой мировой войны постепенно уменьшаться, состав труппы пополнялся иностранными артистами, но чтобы спасти, как говорится, «фасад», им давали русские фамилии. Балет перестал быть русским, осталось лишь название. Незадолго до его кончины я спросила как-то Дягилева, как он, такой тонкий знаток и любитель настоящего русского балета, мог дойти до таких постановок, на мой взгляд, безобразных, какие он ставил за последнее время. Ответ Дягилева я не хочу предавать гласности. Наш разговор был совершенно частным и интимным. Дягилев дал мне совершенно ясно понять, почему он пошел по этому пути, отступив от традиций русского классического балета. Это не зависит ни от его вкуса, который не изменился, ни от его желания, а от совершенно иных соображений. Я была счастлива убедиться, что мой старый друг не изменил своего взгляда на искусство, но должен был давать и другие балеты…»

Разговор состоялся у нее дома, на Вилла Молитор. За два месяца до смерти, проводя в театре Сары Бернар свой последний парижский сезон, Дягилев заглянул к ней однажды на огонек – безупречно одетый, благоухая духами, с ореховой тростью в руке.

– Бонсуар! – простонал на пороге. – Если бы кто-нибудь знал, как хочется чаю с вареньем!

Им было интересно вдвоем. Познакомившиеся в незапамятную пору, знавшие друг о друге едва ли не все, схожие во многом характерами, они могли позволить себе в общении редкое удовольствие – быть самими собой. В душный тот июньский вечер засиделись в садовой беседке допоздна.

– Я слишком долго и упорно искал новизны, – говорил он невесело, – и, кажется, растерял что-то важное по пути. Счастье, как говорил Шатобриан, можно найти лишь на проторенных дорогах. – Помолчал, задумавшись, глядя на свежепромытые после дождя, остро мигавшие сквозь листву звезды… – Живем мы, – произнес, – в страшную пору перелома. Нам суждено исчезнуть без следа, чтобы дать воскреснуть новой культуре, которая возьмет от нас то, что сохранится от нашей усталой мудрости…

– Бог мой, что это с вами, милый Сергей Павлович? – не на шутку взволновалась она. – Откуда эти черные мысли?

– Все оттуда же. Из бедной истомленной головушки.

– Ну-ну, пожалуйста, без меланхолии!

Разговор вернулся в привычное русло. Болтали о разных разностях, спорили, шутили. Вспомнили в числе прочего бедного Вацу, ужасную его болезнь.

Давно покинувший сцену Нижинский кочевал из одной психиатрической клиники в другую, надежд на его выздоровление не было никаких. Как-то ей позвонила Бронислава (балерина и хореограф, родная сестра В. Нижинского. – *Г.С.*), попросила об услуге: приехать в Оперу на представление «Петрушки». Лечащие врачи с согласия родных задумали эксперимент: привезти пациента в театр на прославивший его когда-то балет, окружить танцевавшими с ним в разное время артистами. Эмоциональная встряска, по расчетам медиков, должна была положительно сказаться на психике больного, вернуть ему хотя бы частично память.

Затея себя не оправдала. На протяжении всего спектакля сидевший в ложе Нижинский упорно смотрел в пол. Когда по окончании балета его повели за кулисы, он не узнал среди окруживших его сподвижников никого – даже бросившуюся на шею, сдерживая рыдания, любимую партнершу Тамару Карсавину…

– Видит Бог, дорогая, – говорил с печалью в голосе Дягилев, – что бы между нами в свое время ни происходило, подобной участи я ему не желал никогда.

Каких только небылиц не слышала она впоследствии об их романе, начинавшемся у нее на глазах! Утверждали, будто опытный селадон Дягилев увлек на путь разврата невинного юношу, исковеркал ему жизнь. Приписывали крепостнику-импрессарио психическое расстройство Нижинского. Люди понятия не имели, что к моменту их знакомства «невинный юноша», заканчивавший балетное училище, знал дорогу в публичные дома, переболел сифилисом, был на содержании у богатого петербургского балетомана князя Львова. Что душевная болезнь у Нижинских была в роду – ею страдал и бросивший семью отец танцора Томаш, и умерший в психиатрической лечебнице старший брат Станислав.

Дягилева она не выгораживала – слишком хорошо знала светлые и темные стороны его личности.

За душу «шиншиллы» неустанно боролись Бог и сатана. Он мог быть каким угодно: великодушным и мелочным, открытым и лживым, мужественным и слабым. Не мучился угрызениями

совести, совершая неблаговидные поступки. Обирал беззастенчиво артистов, включая Вацлава, понятия не имевшего, сколько хотя бы приблизительно стоит железнодорожный билет, смеялся за глаза над ходившими за ним стаями дамами-меценатками, жертвовавшими немалые суммы на его постановки.

Собственной труппой Дягилев руководил подобно дрессировщику: невидимый хлыст так и мелькал в холеных его руках.

Дрессура присутствовала и в его отношениях с сожителями – благо балетные подмостки и постель занимали у него одни и те же лица.

Нижинский был единственным среди обитателей дягилевского гарема, кто, не выдержав рабства, восстал против господина. Сбежал из золотой клетки, денно и нощно охраняемой верным камердинером последнего Василием Зуйковым, женился на поклоннице, балерине-любительнице Ромоле Пульской, родил детей. Гастролировал, пока позволяло здоровье, по миру с собственной труппой, подавал большие надежды как хореограф. (Четыре осуществленных им постановки: «Игры» и «Послеполуденный отдых фавна» К. Дебюсси, «Весна священная» С. Рахманинова и «Тиль Уленшпигель» на музыку Р. Штрауса превзошли во многом лучшие в те годы работы Михаила Фокина.)

Годы разрыва вчерашних любовников были омрачены взаимными обвинениями, судебными процессами, откровенной враждой. Кукловода уже не было на свете, когда на книжных прилавках появились воспоминания полубезумного Петрушки. Слава богу, Сергей Павлович не мог их прочесть.

«Дягилев хочет попасть в историю. Дягилев обманывает людей, думая, что никто не знает о его цели… Я хочу доказать, что все дягилевское искусство есть сущая глупость, – читаем наугад в беспорядочной, напоминающей поток сознания исповеди великого танцовщика… – Я не любил Дягилева за его воспитание любить мальчиков… Дягилев хотел иметь двух мальчиков. Он мне не раз говорил об этой цели, но я ему показал зубы… Я знаю все его хитрости и привычки… Я знаю улыбки Дягилева. Все улыбки Дягилева деланые… Дягилев человек злой, но я знаю способ беречься от его злой полемики… Дягилев любил показать, что Нижинский его ученик во всем… Я не верил ему ни в чем и стал развиваться один, притворяясь, что я его ученик. Дягилев почувствовал мое притворство и меня не любил, но он знал, что он тоже притворяется, а поэтому оставлял меня. Я его стал ненавидеть открыто и один раз его толкнул на улице в Париже… Дягилев есть должник. Дягилев мне должен деньги… Я судился с Дягилевым. Я выигрывал процессы, будучи прав…»

В пику скандально-разоблачительному «Дневнику» Нижинского вышла десятилетие спустя полная преклонения и любовной экзальтации книга последнего дягилевского премьера и возлюбленного Сергея Лифаря – «Дягилев и с Дягилевым». Читавшая того и другого Кшесинская говорила друзьям, что зареклась после этого писать мемуары:

– Впечатление, будто бегаешь от одного кривого зеркала к другому. Ну их к богу, этих мемуаристов!

4

Один раз в полгода, не чаще, приходили из СССР письма от брата – скупые, осторожные, словно бы писавшиеся под чью-то диктовку. Живы-здоровы, чего и вам желаем, спасибо за посылку, пишите, не забывайте. Перечитывая лишенные какого-либо чувства выхолощенные строки, она искала в них скрытый смысл, несуществующие намеки.

Большевистский режим, похоже, простил Иосифу Кшесинскому родство с балериной-монархисткой – его не расстреляли, не засадили за решетку. После неизбежного «уплотнения» позволили жить в одной из комнат принадлежавшей ему поместительной квартиры на улице Рылеева (бывшей – Спасской), оставили работать в театре.

Причиной столь удивительного расположения властей послужил, скорее всего, эпизод из биографии танцовщика, когда, войдя в группу актеров-«бунтовщиков», требовавших в дни революции 1905 года участия коллектива в делах управления театром, темпераментный поляк дал в пылу полемики пощечину оппоненту из противного лагеря «консерваторов», за что с треском был уволен с должности и восстановлен в правах, несмотря на ходатайства всесильной сестры лишь спустя девять лет, накануне Первой мировой войны. Не исключено, что по обнаружении в архиве театра «дела Кшесинского» смутьяна причислили к пострадавшим от рук царских сатрапов борцам за дело трудового народа. Выдали, говоря иначе, характеристику на безусловную лояльность советской власти, причислили к так называемым «попутчикам революции», что и определило в дальнейшем его судьбу.

В театре Иосиф Феликсович прослужил до 1928 года. Был первым исполнителем партий Панталоне и Фаворита в постановках Ф.П. Лопухова («Пульчинелла», 1926 г. и «Крепостная балерина», 1927 г.), преподавал в ЛХУ пантомиму, ставил танцевальные номера в оперных спектаклях, опереттах, концертах, возглавил им же созданную передвижную балетную

труппу, опиравшуюся на классический репертуар. В числе его артистов были такие ставшие впоследствии знаменитыми мастера, как Ф. Балабина, К. Сергеев, Р. Гербек, В. Чабукиани. По достижении шестидесятилетия неутомимый труженик искусства удостоился почетного звания – заслуженный артист республики.

В одном из полученных от него писем она обнаружила фотографию: Юзя с семьей перед зданием ленинградского Академического театра оперы и балета имени С.М. Кирова. Обнимает одной рукой супругу, другой очаровательных детей – Ромуальда и Целиночку. У всех счастливые лица, улыбаются в объектив.

Она вытирала платочком глаза. Господи, какая несправедливость судьбы! Быть разлученной с родными людьми, любимым городом, боготворимым театром. Потерять навеки родину. За что, спрашивается? За какие прегрешения?

«Не могу тебе передать, милая Симуля, – писала первой жене брата Симе Астафьевой в Лондон, – испытанных мною чувств, когда я глядела на этот снимок. Пережила, кажется, заново всю нашу прежнюю жизнь. Как мало ценили мы счастье, которым владели! Потеряли безвозвратно, теперь локти себе кусаем. Целый день не нахожу себе места. Занятия провела кое-как, с пустой головой. Ноет беспрестанно сердце…»

Чем, непонятно, она так насолила большевикам, но на родине делали все возможное, чтобы вытравить о ней любую память. Оседали на архивных полках запечатлевшие ее ленты кинохроник. Упрятывались в «спецхраны» библиотек театральные ежегодники, подшивки журналов и газет с материалами о ее жизни и творчестве. Вырезались изображения, замазывались чернилами абзацы с ее фамилией в печатных изданиях. Опасно было держать в домах копии статуэток балерины работы Паоло Трубецкого, хранить в альбомах ее фотопортреты. Строжайше запрещалось упоминание о ней в лекциях, докладах, искусствоведческих трудах. Не осталось следа от четвертьвекового ее присутствия в Мариинском театре, славу и гордость которого она составляла, – ни мемориальной доски не было у входа, ни фотографии в вестибюле, ни хотя бы крохотной, петитом, сноски внизу театральной афиши: там-то и тогда-то названный балет впервые исполнила балерина имя рек. Молодое поколение россиян, включая автора этих строк, знало о ней лишь по названию особняка в Ленинграде, «за дрыгоножество подаренный», по словам В. Маяковского, с балкона которого, выходившего на Кронверкский, толкал в 1917 году свои исторические речуги картавый вождь мирового пролетариата в рабочем картузе.

(История дома столь же пестра и запутанна, как жизнь его хозяйки. До октября 1917 года владельцами его оставались солдаты-«самокатчики». После большевистского переворота особняк поступил в распоряжение Петросовета. Принадлежал впоследствии: Пролеткульту, Дому политпросвещения Петроградского района, Детскому дому для умственно отсталых детей, Институту общественного питания с диетической столовой, Обществу старых большевиков, Музею С.М. Кирова, Музею Революции. С 1991 года здесь помещается Государственный музей политической истории России.)

Исковерканную свою судьбу она большевикам не простила. Отвергнувшую ее страну продолжала называть отечеством.

Не умолкавший в доме радиоприемник ловил ежесуточно новости из Москвы – оптимистичные, наполненные пафосом. Советские люди строили электростанции и железные дороги, прокладывали каналы, варили чугун и сталь, выращивали высокие урожаи, единодушно голосовали за народных избранников в Верховный Совет – под бодрые звуки маршей, жизнерадостные песни. Летом 1937 года в Париже открылась очередная Всемирная промышленная выставка с участием СССР. Они с Вовой были на торжественном открытии в Большом выставочном дворце Шайо, бродили по залам, осматривали экспонаты бесчисленных павильонов. Убожество советской экспозиции бросалось в глаза: уродливые какие-то автомобили и сельскохозяйственные машины, рулоны пестрых тканей, макет нефтяной вышки. Не в состоянии продемонстрировать что-либо впечатляющее из промышленного производства, большевики сделали упор на кустарные народные промыслы – и попали в точку: посетители толпились возле стендов с русскими матрешками, балалайками, деревянными ложками-поварешками, азиатскими расписными блюдами, коврами ручной работы, пуховыми оренбургскими платками. Экзотичный товар бойко раскупался – к ларькам невозможно было подступиться, консультанты соседних павильонов удручающе переглядывались между собой: надо же, черт их дери, так взбудоражить публику! Чем, спрашивается?

В разгар распродажи на небольшую эстрадку выскочили смуглолицые артисты: мужчина в полосатом восточном халате, жонглировавший на ходу кожаным бубном, и босоногая девчушка-танцовщица в шальварах, шелковом цветастом платье и золототканой шапочке, из-под которой выбивались тонко завитые косички. Диковатая плясунья-узбечка была восхитительна. Кружилась, изгибая стан, под неумолчное грохотанье бубна, грациозно поводила изящными руками с гирляндой медных

браслетов, делала выразительные движения насурмленными бровями в сторону зрителей.

– Не правда ли, замечательно? – послышалось у них за спиной.

Обернувшись, она похолодела.

Приветливо улыбаясь, в двух шагах от нее стоял чернобородый, с изрытым оспой лицом Агабабов.

(Так называет она его в «Воспоминаниях». Речь, по всей видимости, идет о Г.С. Агабекове, занимавшем с 1920 года руководящие должности в ВЧК-ОГПУ, начальнике восточного сектора иностранного отдела ОГПУ, главе советской резидентуры в Турции, бежавшем в июне 1930 года из Константинополя в Париж, где он получил политическое убежище, публично заявив о разрыве с большевистским режимом. Работал непродолжительное время в канцелярии П.Н. Милюкова. Автор мемуаров «ГПУ. Записки чекиста» и «ЧК за работой». – *Г.С.*)

5

– Прошу вас, господа, уделить мне несколько минут. Только по возможности не здесь.

Если бы не опередивший ее Вова, поинтересовавшийся, с кем, собственно говоря, они имеют честь, она бы не задумываясь позвала полицию. Момент, однако, был упущен: Агабабов извлекал из бумажника визитку, протягивал сыну. Вова, внимательно прочтя, молвил:

– Так вы, стало быть, сотрудник «Последних новостей»? Работаете консультантом у господина Милюкова?

Они двигались в толпе по направлению к выходу: мужчины впереди, она на шаг сзади.

– Точно так. Помогаю Павлу Николаевичу в сборе материалов по российской истории последнего времени. В частности, о видных представителях русской культуры в эмиграции. Надеюсь получить сведения и о вас, княгиня тоже, – обернулся он в ее сторону.

– Ку-ультуры? – ядовито переспросила она.

Наглость этого типа не имела границ!

– Совершенно верно. В досье у меня в настоящее время больше ста имен.

Спустившись со ступеней Дворца, они шли вдоль садовой ограды в сторону метро. Ноги у нее после напряженного дня гудели, тянуло плюхнуться на ближайшую скамейку.

– Давайте, господа, присядем на минуту, – предложил он возле углового кафе.

Этот человек с лицом театрального злодея умел, по всей видимости, читать чужие мысли.

Сели за столик под тентом, спросили оранжаду. Во время разговора она демонстративно смотрела в сторону, постукивала в нетерпении каблучком.

– Прежде всего я хотел бы развеять, княгиня, неблагоприятное впечатление, которое в свое время на вас произвел, – говорил с печалью в голосе Агабабов. – Господину графу эта история, скорее всего, неизвестна – вы были тогда ребенок… – Он помедлил минуту. – Я говорю сейчас вещи, о которых в силу обстоятельств не должен распространяться… откровенность может серьезно мне навредить… Комендант, как вы считали, петербургского вашего особняка, княгиня, выглядевший в ваших глазах бандитом и грабителем, выполнял особую миссию Временного правительства… всего, к сожалению, я раскрыть не вправе. Факт этот, если потребуется, подтвердят пользующиеся общественным доверием лица… Скажу больше: я делал все от меня зависящее, чтобы помочь великому князю Сергею Михайловичу вывезти в Финляндию часть принадлежавших вам драгоценностей, которые хранились в доме. Останься он в живых, вы смотрели бы на меня сейчас другими глазами… – Он покосился на компанию весело о чем-то щебечущих мидинеток, выскочивших в обеденный перерыв проглотить круассан с кофе, понизил голос: – Супруг ваш и вы, княгиня, если не ошибаюсь, давали недавно показания следователю Соколову по делу об убийстве царской семьи и великих князей. Если вы поможете мне устроить встречу с господином Соколовым, я предоставлю ему – но только из рук в руки, без посредников! – имеющиеся у меня важные документы по этому делу… Бога ради, поверьте! – Он прижал выразительно руки к груди. – Никакой личной выгоды я не преследую. Сделаю это исключительно только из уважения к памяти Сергея Михайловича, которого ценил как выдающегося военного инженера и строителя. Профессия моя, кстати, – архитектура, я закончил инженерно-архитектурный факультет Петербургского университета. Могу диплом показать, если желаете…

Туману он тогда напустил – дальше некуда. Вова глядел ему в рот. Да и она вдруг засомневалась: а что как не врет? Волновался так искренно, голос дрожал. Визитку уходя оставил.

Дома спорили втроем до хрипоты: как быть? Ни до чего в результате не договорились. В одиннадцатом часу вечера, когда мужчины ушли к себе, она набрала телефон Крымовых…

6

Редактор парижской газеты «Общее дело» Владимир Львович Бурцев бродил в унынии по рабочему кабинету на втором этаже типографского полуразоренного здания в Отей. Мысли, бродившие в голове, были самого радикального свойства: выброситься из окна на тротуар, утопиться в Сене, застрелиться. Мутило от валявшихся в беспорядке на столе рукописей, которые он незадолго до этого энергично правил. Какой дурак, спрашивается, станет все это читать? Безыдейщина, банальщина, зеленая тоска! Тираж наверняка вернется в редакцию непроданным. Впрочем, скорее всего, не будет и самого тиража – в типографии внизу ясным французским языком заявили: печатание приостанавливается до полного погашения долга. Хватит пустых обещаний, месье! Деньги, деньги на стол!

При воспоминании о долге Владимир Львович замычал, как от зубной боли. Рушится на глазах дело, которому отдана жизнь. Выхода никакого, конец всему…

Неподкупный либеральный публицист, боровшийся за идеалы свободы сначала против царизма, а теперь против ненавистных большевиков, Владимир Львович Бурцев был в эмиграции фигурой колоритнейшей. Идеалист и бессребреник, он шел на бесчисленных врагов подобно Дон-Кихоту: не соразмеряя с опасностью собственные силы. И на удивление, нередко выигрывал.

Его сочли сумасшедшим, когда со страниц редактируемой им газеты он обвинил руководителя боевой организации эсеров Азефа в сотрудничестве с царской охранкой. Партия возбудила против него судебный процесс за клевету. В защиту Азефа с трибуны суда выступали легендарные эсеровские «бомбисты» В. Фигнер, С. Лопатин, Б. Савинков, М. Чернов. Судебные слушания продолжались целый месяц, за их ходом следил в напряжении весь Париж. Номера «Общего дела» раскупались с раннего утра на корню…

В разгар процесса Азеф сбежал, бросив жену и детей. Суд против Бурцева и его газеты приостановили, ответчику выплатили солидную сумму отступного. Владимир Львович перестал ходить на работу пешком, купил взамен дырявых башмаков новые. Профессиональное самолюбие его, однако, не было удовлетворено: «дело Азефа» прервалось на самом интересном месте, провокатор не был юридически изобличен, а главное, наказан.

Собрав остатки денег, Бурцев отправился на поиски беглеца. Объездил пол-Европы. Зная о преследовании, опытный конспиратор Азеф искусно заметал следы, но был в конце концов изловлен – неузнаваемый, с наклеенной бородкой и усами, – за

бутылкой мозельвейна в одном из кафе Берлина.

– Ну, вы и фрукт, Владимир Львович, – заметил он, когда Бурцев окликнув его по имени-отчеству (Евно Фишелевич), не без ехидства поздоровался. – Садитесь, прошу, – указал на стул. – Кельнер! – крикнул. – Еще бутылку.

Щуплый, с цыплячьей грудью редактор-либерал в пенсне, которого ему ничего не стоило прихлопнуть как муху за соседним углом, по-настоящему его восхитил. Умение ходить на острие ножа матерому волку Азефу было по душе. Откровенно рисуясь, он поведал непрошеному гостю свою подноготную. Подтвердил участие в убийстве Плеве, в покушении на Николая Второго. О связях с охранкой предпочел умолчать. На прямой вопрос захмелевшего от стакана вина Бурцева ответил:

– Пишите, что хотите. Ни подтверждать, ни отрицать не буду. Ферштее, герр Пинкертон?

Времечко то славное давно минуло. Азеф был осужден на смерть партийным судом и то ли казнен тайно соратниками, то ли сгинул окончательно в неизвестности. История с ним мало-помалу забылась. Бурцев вернулся в прежнее свое состояние – бичевал в гневных передовицах злодеев-большевиков, занимал где мог деньги на издание газеты, продолжал верить в торжество светлых либеральных идей. Достойных его пера событий в мире становилось все меньше: идеи мельчали, девальвировали и не занимали более человечество, питаться же пошлыми сплетнями, разводить на страницах незапятнанного издания порнографию Владимир Львович категорически отказывался. «Общее дело» дышало на ладан.

Сидя в мучительных раздумьях за столом, он разглядывал сюрреалистический рисунок на подтекавшем потолке, когда затренькал молчавший всю прошедшую неделю телефонный аппарат.

– Да, да, слушаю! – схватил трубку. – Кто звонит? Крымов? («Вот у кого денег занять!» – разом мелькнуло в голове.) Весь внимание, дорогой Владимир Пименович!.. Спасибо, слава богу, на ногах. Тружусь, как обычно… Принять вашу добрую знакомую для конфиденциального разговора? Разумеется, приму… Как ее имя, скажите? Княгиня Красинская? Ах, да, та самая… хм… Вы же знаете, мой дорогой, как я отношусь к этой публике… Понимаю, понимаю, исключительный случай… Хорошо, Владимир Пименович. Единственно из дружеского к вам расположения. Пусть приходит… Завтра, допустим… в одиннадцать утра.

7

Немыслимое в других обстоятельствах свидание социал-демократического редактора с благоухавшей «шанелью» дамой-монархисткой в модной шляпке положило начало не менее громкому, чем «дело Азефа», журналистскому расследованию Бурцева. Неутомимый охотник за черепами получил от Кшесинской сенсационные сведения о личности, на которую у него давно чесались руки. Опубликованная на страницах «Общего дела» статья о поменявшем шкуру лжеконсультанте по эмигрантской культуре, служившем большевикам, грабившем в семнадцатом году чужие особняки, вышла за рамки внутриобщинных русских склок, на которые власти смотрели сквозь пальцы, вызвала горячую дискуссию в печатных изданиях, всерьез обратила на себя внимание полиции.

Чутьем журналиста Бурцев уловил актуальную тему, занимавшую в те дни общественное мнение Франции: советский шпионаж.

Гостеприимная, с либеральными иммиграционными законами страна, разместившая у себя десятки международных учреждений, включая Лигу Наций, кишела в промежутке между двумя мировыми войнами иностранными агентами. Особенно вольготно чувствовала себя на территории государства-союзника советская разведка, поражавшая разбойничьими методами даже видавших виды мастеров шпионского ремесла. В один из дней исчез бесследно в центре Парижа, точно в воду канул, председатель Русского общевойскового союза А.П. Кутепов. Через некоторое время стало известно: генерал похищен, вывезен за пределы страны агентами ОГПУ и скончался, не добравшись до большевистских застенков, в корабельной каюте по пути в Новороссийск. История повторилась спустя несколько лет с преемником Кутепова генералом Миллером. Снова – дерзкое похищение, вывоз через третьи страны на территорию СССР, скорый суд, расстрел. Предпринятая властями широкомасштабная полицейская акция по распутыванию шпионского клубка привела к ошеломляющему открытию. В похищениях людей, активном шпионаже в пользу СССР участвовали в роли идейных, а иные и платных агентов такие заметные фигуры белой эмиграции, как автор «Истории русской литературы» профессор Д. Святополк-Мирский, генерал Н. Скоблин, супруга последнего, знаменитая исполнительница народных песен и романсов Н. Плевицкая, известный в прошлом российский промышленник С. Третьяков, муж поэтессы Марины Цветаевой С. Эфрон.

В серии разоблачительных материалов об Агабекове редактор «Общего дела» прямо назвал раскаявшегося чекиста матерым

советским шпионом, работавшим одновременно на две разведки – ОГПУ и румынскую «Сигуранцу», которой он поставлял регулярно информацию о деятельности расквартированного в Париже Коминтерна. В задачи агента-оборотня, утверждал Бурцев, входило физическое устранение императора всероссийского в изгнании Кирилла Первого, следователя по особо важным делам Н. Соколова, бывшей прима-балерины Мариинского театра княгини Марии Федоровны Красинской.

Довести до суда «дело Агабекова» Владимиру Львовичу, как и в случае с Азефом, не удалось. «Засветившегося» шпиона, уже имевшего на руках подписку о невыезде, нашли на полу гостиничного номера с простреленной головой. Лежавшая на видном месте записка: «Ухожу из жизни добровольно, в смерти моей прошу никого не винить» была, разумеется, фальшивкой…

(Смертный приговор, вынесенный НКВД незадачливому резиденту, исполнил сотрудник советской разведки А.М. Коротков. – *Г.С.*)

Глава третья

1

– Затея твоя, милый друг, наверняка не понравится брату, – озабоченно говорил Андрей, расхаживая по комнате. – Ты ведь знаешь: Двор с самого начала уклоняется от участия в балах господина Миронова. Нас, кстати, никогда на них и не звали…

Он присел рядом на диван.

– Раньше не звали, теперь зовут, – заметила она.

– Позвали тебя.

– Тебя тоже! Взгляни на пригласительный билет!

– Меня в качестве сопровождающего.

– А почему не мужа?

Битый час они проспорили: идти или нет на бал, устраиваемый в пользу инвалидов Первой мировой войны еженедельником «Иллюстрированная Россия» С. Миронова. Обратились в конце концов за советом в канцелярию Местоблюстителя. Ответ был положительным: участвовать можно, но только в качестве приватных лиц. От официальных речей и заявлений во время церемонии желательно воздерживаться.

Ежегодный благотворительный бал с танцами до утра в столичном «Гранд-Отеле» был своеобразным смотром сил русского землячества, участия в нем удостаивались наиболее значительные фигуры из числа эмигрантов. Сам факт присутствия новоиспеченной княгини Красинской среди гостей говорил о многом. Отношение к ней демократических кругов общины в значительной мере изменилось. Европейски известного балетного педагога, даму-труженицу простили, надо полагать, за прошлые грехи, признали за свою.

Повидавшая на своем веку и не такие торжества, она была приятно удивлена, оказавшись в заполненном толпой беломраморном зале ресторана. Великосветский раут, да и только! Мужчины – во фраках и визитках, на дамах модные туалеты, золото, меха, бриллианты. Слава богу, она не послушалась Андрея, советовавшего одеться поскромнее, выбрала в гардеробе необычайно ее молодившее открытое платье от Молине, голову украсила бриллиантовой диадемой, полученной в подарок от мужа и сына к шестидесятилетию. На нее обращали внимание, пробегавший мимо юноша-распорядитель со значком на лацкане сюртука вручил, поклонившись, белую розу.

Щурясь от ослепительного света, она разглядывала гудевшую

вокруг нарядную толпу.

– Княгиня Мария Федоровна, дорогая!

Из-за колонны, окруженный молодыми женщинами, ей махал рукой Александр Николаевич Вертинский.

– Как замечательно, что вы здесь! – целовал он ей через мгновение руку (элегантный, как всегда, благоухавший приятно цветным одеколоном). – Добрый вечер, князь! – поклонился Андрею. – Какой у вас номер столика? – Он заглянул мельком в протянутый ему пригласительный билет. – Хотите, можем сесть вместе? Да? Великолепно!

Он в два счета обо всем договорился с тем же юношей-распорядителем. Засмеялся довольный:

– В ресторанах я свой человек. Чего хочешь добьюсь.

Познакомились они в пору бешеной его популярности на родине. Не было, кажется, российского дома с патефоном и набором пластинок на полке буфета, где бы не крутили сутки напролет написанных и исполненных знаменитым уже тогда киноартистом Александром Вертинским песен «Маленький креольчик» и «Ваши пальцы пахнут ладаном», посвященных Вере Холодной.

Горячий его поклонник Петя Владимиров затащил ее однажды в кабаре «Павильон де Пари», где Вертинский выступал по воскресеньям с сольной программой. К началу вечера они опоздали, пробирались, стараясь не шуметь, к своему месту неподалеку от эстрады в сопровождении метрдотеля. Певший под аккомпанемент рояля томный исполнитель в гриме и костюме Пьеро провожал их внимательным взглядом… Прозвучал заключительный фортепианный аккорд, публика шумно зааплодировала. Она тянула с плеч меховую накидку, усаживаясь за накрытый столик (душно было неимоверно), когда певец с густо подведенными глазами на выбеленном лице объявил следующий номер.

– «Я – маленькая балерина»! – услышала она его очаровательно грассирующий голос, глянула с изумлением…

– С вашего позволения, господа, я исполню эту песню в честь присутствующей здесь, – он наклонил голову в ее сторону, – королевы русского балета, неповторимой Матильды Кшесинской!

Они стали с того вечера приятелями. Несколько раз он заезжал к ней на Каменноостровский и на дачу в Стрельне, познакомился в один из визитов с обедавшей у нее в тот день Аннушкой Павловой, которую тут же начал учить по ее просьбе танцевать правильно танго.

Жизнь его была сплошь – испытания, падения, взлеты. В войну был военным санитаром. Вращался в кругу художественной

богемы Петербурга, пробовал писать. Страстно стремился попасть на сцену, добился в Москве встречи со Станиславским, сказавшим ему после короткого просмотра: «Простите меня, господин Вертинский, но русский актер обязан иметь отточенную дикцию и не имеет права грассировать. У нас с вами ничего не получится».

В эмиграции, как многие знаменитости, он жил на дивиденды от прошлой славы. Гастролировал со скромным успехом, участвовал в благотворительных вечерах. Публики на его концертах становилось год от году все меньше. Он пробовал выступать перед французами – из затеи ничего не вышло. Перебрался мало-помалу в русские кабаки на Монмартре, пел захмелевшим посетителям «Хорошо мне в степи молдаванской», «И слишком устали и слишком мы стары», «Танго», «Теплый грех».

– Часто вспоминаю начало нашего знакомства, – говорил он, уютно расположившись в кресле, кланяясь попеременно соседям. – Каким волшебным сном видится тот вечер!

– Представьте, я подумала сейчас именно об этом! – всплеснула она руками. – Признайтесь, Александр Николаевич, – прибавила с притворной строгостью, – совесть вас с тех пор не мучает? Не забыли, надеюсь, как напоили тогда даму до неприличия?

– Помилуйте, Мария Федоровна! – Он изобразил на лице крайний ужас. – Что подумает о нас князь? Богом клянусь! – воскликнул, повернувшись к Андрею. – Полдюжины какие-нибудь венгерского распили на четверых. Включая аккомпаниатора…

– «Полдюжины», – передразнила она его. – Знали бы, каково мне было на другой день танцевать.

Бал шел своим чередом. Произносились речи, звучали тосты, публика бесцельно фланировала в проходах. В соседнем зале танцевали под музыку эстрадного оркестра, в вестибюле дамы-волонтерки в кокошниках торговали за прилавками благотворительного базара сувенирами, безделушками и шампанским.

– Сюда бы сейчас нашу Бакеркину, – заметила она, прогуливаясь под руку с Вертинским среди толпы. – В два счета бы прилавок опустел. Помните небось милую эту особу?

Сожительствовавшая с московским генерал-губернатором П.П. Дурново танцовщица Большого театра Надежда Бакеркина, переведенная на службу в Петербург, славилась умением торговать шампанским на благотворительных балах. Бесцеремонная и настырная, она хватала за рукава проходивших мимо гостей, чтобы непременно осушили у ее столика бокальчик-другой. Вернуть при этом сдачу, как правило, «забывала».

– Бакеркину? – весело отозвался Вертинский. – Как не помнить! Четвертной выудила однажды за какую-то кислятину. До сих пор жалко.

Он показал ей глазами на стоявшего у стены в компании бурно о чем-то спорящих мужчин и женщин элегантного господина с надменным выражением серо-стальных холодных глаз.

– Бунин, – произнес вполголоса.

– Да-да, – отозвалась она, – кажется, я его где-то уже встречала. – Усмехнулась про себя. Сын как-то влетел в разгар дня в танцевальную залу, прокричал восторженно: по радио только что передали – писателю Бунину присуждена Нобелевская премия.

Она была несказанно удивлена.

«Как! – воскликнула. – Разве он еще жив? Поразительно! Я всегда считала, что он ровесник Толстого и давно умер».

Публика эта не занимала ее ни в той жизни, ни в этой. С Буниным столкнулась как-то на обеде у Крымовых, которые те устраивали по средам для эмигрантских знаменитостей. Обратила внимание на лауреата исключительно только из-за сидевшей с ним по соседству холеной красавицы в модном платье «электрик» – знаменитой фельетонистки «Последних новостей» Надежды Тэффи, чьи остроты повторял весь читающий Париж.

(Одна из них касалась Нобелевской премии Бунина. Став лауреатом, Иван Алексеевич проявил свойственное ему благородство души: выделил на нужды голодных собратьев-литераторов четвертую часть денежного эквивалента премии – 100 тысяч шведских гульденов. Заниматься распределением денег решительно отказался, доверил хлопотное дело специально созданному общественному комитету. Собратья-литераторы, как водится, при дележе дармовых гульденов смертельно друг с дружкой перегрызлись. В случившемся немедленно обвинили Бунина: какого, мол, черта сам не возглавил комитет? Тэффи тут же сострила по этому поводу: «Нам не хватает еще одной эмигрантской организации: «Объединение людей, обиженных Нобелевской премией Бунина».)

…Вечер в конце концов ее утомил. Два раза они вставали с Вертинским и шли танцевать – Андрей, перенесший в очередной раз легочное воспаление, в кавалеры не годился. Вид у него был неважный, она видела, каких ему стоило усилий казаться веселым, поддерживать беседу. Не было еще и двенадцати, когда она решительно поднялась из-за стола.

– Спасибо за компанию, милый Александр Николаевич, – проговорила с чувством, – нам пора. День завтра тяжелый. И на

метро надо успеть…

2

Привычка – вторая натура. Ограбленная до нитки беженка с драным чемоданом, она привезла во Францию двух российских слуг: горничную Людмилу Румянцеву, бывшую когда-то ее театральной костюмершей, и ходившего за сыном человека, отставного солдата Ивана Курносова. Третий слуга, швейцарский подданный Арнольд Шеро, выехавший из России в конце войны по иностранному паспорту, ждал их приезда на ривьерской вилле.

Все трое, не задумываясь, последовали за ней в неизвестность, стали на чужбине близкими людьми. Жили интересами дома, работали не покладая рук, помогали чем могли.

Она могла быть спокойна за неприспособленного сына: будет накормлен, сменит вовремя белье, не опоздает на прием к дантисту. Дотошный «дядька» Иван ничего не забудет, за всем проследит.

Арнольд помимо обязанностей камердинера заведовал светской частью: составлял распорядок визитов, принимал звонки и телеграммы, держал картотеку неотложных дел – приемы, обеды, именины, свадьбы, похороны. Фигаро здесь, Фигаро там. Знал через знакомых торговцев, когда дешевеет на рынках из-за большого наплыва рыба или зелень, находил сомнительные цифры в присылаемых налоговых декларациях, муниципальных счетах за свет, отопление, воду, ездил в конторы, добивался снижения выплат.

Незаменимым человеком была Людочка – востроносенькая, прыткая, через год уже сносно говорившая по-французски, хлопотунья и труженица, в пять утра бывшая на ногах, не горничная – наперсница, сестра, пожертвовавшая ради нее личной жизнью, так никогда и не вышедшая замуж. Талантлива была необыкновенно. Перекраивала играючи старые вещи – не узнаешь. Там вставочку придумает, тут рюши, опушечку, воланчик, кружевной воротничок – хоть на выставку неси. В два счета решила загвоздку с платьем и кокошником, из-за чего чуть было не сорвалось летом 1936 года ее выступление в Лондоне на открытии нового театрального сезона.

Затея с поездкой в Англию принадлежала Василию Григорьевичу Базилю (Colonel de Basil, как величали его французы), руководившему вместе Р. Блюмом «Русским балетом Монте-Карло». Знавший толк в рекламе оборотистый директор посчитал, что имя Кшесинской на афише придаст гастролям

труппы недостающий размах, привлечет дополнительное количество зрителей.

Муж и сын всячески отговаривали ее от сомнительного предприятия. Говорили про здоровье, возраст. Ссылались на двух других экс-балерин Мариинского театра – О. Преображенскую и Л. Егорову, отклонивших аналогичное предложение де Базиля.

Она не знала, как быть. Отпал в последнюю минуту предназначавшийся ей в партнеры бывший танцовщик Мариинки А. Волинин, запросивший чрезмерный гонорар за участие в концерте. Единственным выходом из положения было – танцевать «соло». Выигрышный номер такого рода был у нее один – «Русская», подходивший в качестве дивертисмента в намечаемый гала-спектакль «Ballet Russe de Monte Carlo». Но где было сыскать в Париже для прославившего ее танца костюм? Головной убор? Никакой модельер, будь им даже Пату, не смог бы выполнить подобный заказ в считаные дни.

С неразрешимой задачей справилась Людмила. В записной ее книжечке значился адрес подруги по театральной костюмерной Барбары Каринской, содержавшей в Париже собственную мастерскую. Услышав о просьбе, та развела руками:

– Миленькая, ты в своем уме. Это ж тебе не перчатки кроить? Там же деталей невпроворот! Где, скажи, я тебе выкройки найду? Рисунок хотя бы можешь показать?

– Не шуми, Варя, – остановила ее гостья. – Будет тебе рисунок. Завтра утречком и получишь.

За ночь по памяти она восстановила – скрупулезно, в деталях – форму и аксессуары русского сарафана, передала Каринской. Обегала лавки букинистов на набережной, перелистала десятки старых художественных журналов, нашла, наконец, то, что искала: репродукцию картины художника Соломко с изображением празднично одетой крестьянки с кокошником на лбу. Купила за двадцать франков журнал, дома скопировала на вощеную бумагу кокошник. Вылепила по рисунку, вспомнив, как это делали в театральных мастерских, форму из вымоченного картона, закрепила мучным клейстером. Примеряли несколько раз с Матильдой Феликсовной слепок, подогнали идеально по форме головы. Ювелир, изготовлявший кокошник, получив готовую копию, топорщил в удивлении усы: «Parfait! Parfait!» («Прекрасно! Прекрасно!»)

Тринадцатого июля скоростным экспрессом «Голден-Арро» шестидесятитрехлетняя Кшесинская отправилась во второй раз завоевывать лондонскую публику – четверть века спустя после дягилевских гастролей 1911 года.

Зачем, спрашивается, ей это было нужно? За каким рожном? Что мог прибавить к ее славе минутный успех? Гонорар был мизерным, поездка утомительной. В проливе качало, пароход прибыл в Кале с часовым опозданием. После лондонского поезда, встречи с прессой в «Уолдорф-отеле» галопом помчались на примерку к прибывшей раньше них в английскую столицу Каринской. Костюм лежал на раскроечном столе едва намеченным на живую нитку. Наутро следующего дня она репетировала на сцене Covent Garden с оркестром. По окончании снова понеслась к Каринской.

Послушаем с ее слов, как развивались дальше события:

«…Я пришла в ужас: костюм был совершенно не готов, только сшит, ни рисунки на нем не были выведены, ни вышивки не закончены, а вечером мне надо было в нем выступать. Но Каринская меня успокаивала, что к вечеру костюм будет готов и что она никогда меня не подведет. Я все же попросила Андрея днем заехать к Каринской и посмотреть, в каком положении мой костюм. Он вернулся и уверял меня, что костюм уже почти готов, заканчивают последние мелочи, тогда как на самом деле он мало подвинулся с утра, но этого он мне тогда не сказал, чтобы не расстраивать. Золотой рисунок по сарафану даже и не начинали выводить, но сын Каринской сказал, что это пустяки, и в каких-нибудь десять минут набросал рисунок, перевел его на парчу, вырезал рисунок и горячим утюгом приклеил его к сарафану. Каринская сдержала слово – к моему приезду в театр костюм меня уже ждал совершенно готовый. Как она успела закончить костюм в такой короткий срок, я до сих пор не понимаю».

В Лондоне к началу ее выступления собралось немало коллег по сцене, друзей, знакомых. Были Фокин с Верой, Сергей Лифарь, великий князь Дмитрий Павлович в обществе американской невесты, вчерашние ученицы и стажеры, успешно делавшие карьеру в труппах Старого и Нового Света. Все ужасно за нее переживали. Ясно было как божий день: затея «колонеля» – коммерческий трюк. Художественная сторона дела, качество исполняемого престарелой балериной дивертисмента занимали его в последнюю очередь – целью был кассовый успех. Не искушенная в балете лондонская публика валом валила в Covent Garden в надежде увидеть возлюбленную последнего русского царя. Танец Кшесинской занимал ее в последнюю очередь.

Ни о чем подобном она не задумывалась. Не замечала озабоченности близких, шушуканий, ухмылок за спиной. Глазам мерещился Театр. Лабиринт кулис, знакомые звуки, запахи, вид

утонувшего в полумраке зрительского зала с рядами пустых кресел, который через час-другой зашумит, заполнится возбужденной праздничной толпой. Она хорошо знала этот мир, переменчивую натуру театральной публики, ее вкусы, капризы. Знала, как взорвать ее скепсис, стереть холодную чопорность с лиц, заставить высокомерных мужчин и женщин кричать от восторга, бросать на сцену цветы. За одно только это мгновение абсолютного могущества, власти над людьми можно было стерпеть что угодно.

«Ковент-Гарденский театр был переполнен до отказа, – вспоминает она. – Был вывешен по обычаю, принятому в Англии, красный аншлаг с надписью «Все билеты проданы». Василий Григорьевич Базиль позаботился относительно прессы, и о моем выступлении писалось во всех газетах. Прием был мне оказан колоссальный, вызывали восемнадцать раз, что редко встречается в Англии, где публика более сдержанная, нежели в России и во Франции. Цветов я получила уйму, вся сцена была ими заставлена как ковром».

Ожидаемый аттракцион она превратила в художественное событие сезона. Знатоки, многократно видевшие ее бесшабашно-раздольную «Русскую», почувствовали на этот раз в танце Кшесинской меланхолическую ноту. Неосознанно, внезапно вспыхнувшим озарением она сменила, как выражаются мореходы, «галс». Внесла в исполняемую вариацию скрытую боль, улыбнулась сквозь слезы, передала в танцевальных движениях, позах, искусной пантомиме опыт прожитой жизни – ее беды и печали, радости и надежды. Наслаждаясь красотой деревенского танца славян, чудной грацией танцующей балерины, зал ощутил мурашками по коже этот ее внутренний душевный посыл.

Как уже не раз случалось в жизни, она сыграла «ва-банк» и победила. Помолодевшая, возбужденная, меняя на ходу туалеты, носилась из конца в конец по Лондону. Была в «Альгамбре» на балете Блюма, участвовала в приемах, чаепитиях, ужинала, обедала – с родственниками, поклонниками, Хаскеллом, Фокиными, Таней Рябушинской и ее мужем Давидом Лишиным, мил-другом Димушкой с его американкой. Выкроила время для серьезных дел: побывала в школе классического танца, руководимой Дам Нинет де Валуа, провела показательный урок с питомцами студии Мари Рамбер. В балетной школе обратила внимание на темпераментную светловолосую девочку, исполнившую для гостьи короткий этюд под аккомпанемент шопеновского вальса.

– Замечательно, – произнесла по окончании танца. – Как вас зовут, мадемуазель?

– Марго Фонтейн, – присела та в изящном книксене.

– У вас были хорошие учителя.

– Да, мадам. Госпожа Серафима Астафьева…

– Симочка! – всплеснула она руками. – Так вы занимались в ее студии? Ну, тогда все понятно. У вас несомненный талант, дитя, не растеряйте его, работайте над собой. Уверена, что со временем вы станете украшением отечественного балета.

Британия, по ее мнению, одолела, наконец, непростительное для культурной нации снисходительное отношение к сценическому танцу, признала его полноценным искусством. Свидетельством тому были заполненные залы на выступлениях гастролеров, зачастивших в последние годы на берега Темзы: «Русского балета Монте-Карло», театра танца Александра и Клотильды Сахаровых, классических и современных трупп из Европы и Америки, возглавляемых Тамарой Карсавиной, Верой Каралли, Михаилом Фокиным, Джорджем Баланчиным. Становилась на ноги, заявляла о себе все уверенней британская школа хореографии – благодаря главным образом притоку выпускников русских студий Парижа, наиболее успешной из которых, воспитавшей наибольшее число иностранных танцовщиц, была, по мнению балетных авторитетов, студия Матильды Кшесинской в Пасси.

Высоко ценившие ее преподавательский талант пионеры английского классического балета Арнольд Хаскелл и Дам Нинет де Валуа направляли к ней все новых и новых учеников и стажеров. Когда год спустя после ее прощального выступления перед публикой на сцене Covent Garden в Париж для участия в культурной программе Всемирной промышленной выставки 1937 года приехала первая на Британских островах отечественная балетная труппа «Вик-Уэллс балле», выяснилось, что все солистки – Марго Фонтэйн, Памелла Мэй, Джун Браэ, Мери Хонер, Молли Браун, Гвинет Мэтью, Энн Спайсер, Элизабет Миллер – или ее ученицы или стажеры руководимой ею студии.

«Пятнадцатого июня состоялось открытие Английского балета в присутствии Президента Республики, английского посла и всей английской колонии, – пишет она. – Зал был переполнен самой элегантной публикой Парижа. Мне хотелось выразить труппе свое внимание, и я пригласила 19 июня почти всех к себе на ужин. Было около тридцати человек, среди которых многие, кого я хорошо знала, и те артистки, которые у меня занимались за эти годы… На ужин я пригласила Сережу Лифаря. Я всех рассадила по маленьким столам, и вечер прошел очень оживленно и весело».

Среди привлекательных молодых женщин, украшавших в тот вечер гостиную Кшесинской, выделялась сидевшая рядом с хозяйкой тоненькая блондинка с головкой боттичеллиевской «Весны» – выдающаяся ее ученица, восходящая звезда балета Татьяна Рябушинская.

Когда тринадцатилетнюю Таню привели к ней заниматься, первое, на что она обратила внимание, – лиризм, одухотворенность, врожденная грация девочки-подростка. Необычайно собранная, она на удивление твердо стояла на пальцах, принимала правильно позы, неплохо делала арабески. Из беседы выяснилось: танцует будущая ее питомица с пятилетнего возраста, училась на первых порах, как и она в свое время, у матери, профессиональной балерины, потом у Александра Волинина в парижской его студии.

Наследница миллионов купцов-меценатов Рябушинских с юных лет дышала искусством. Дед, Фома Примаков, служил капельмейстером в Большом театре, мать в этом театре много лет танцевала, банкир-отец слыл заядлым меломаном, собирателем живописи. В роскошном родительском особняке на Спиридоновке висели по стенам картины старых мастеров, работы импрессионистов, по вечерам в гостиной с роялем собирались гости, устраивались концерты, читались стихи.

Все в одночасье оборвалось после большевистского переворота. Сказанные в сердцах, вырванные из контекста слова одного из братьев, Павла: «Необходимо задушить костлявою рукою голода революцию и весь пролетариат» – стали причиной бешеной травли членов семьи и, как следствие, бегства Рябушинских за границу.

С самого начала занятий с Таней Кшесинская решила: не следует переиначивать по-своему наметившийся почерк ученицы. У девочки хороший прыжок, напористость в турах. Надо выявить в полной мере ее индивидуальность, поставить на службу молодое ее честолюбие, темперамент, заставить служить танцу. Бережно, без нажима отшлифовать неяркий еще алмаз, убрать лишнее, добиться, чтобы засверкала в полную силу каждая его грань.

Спустя только год после прихода в студию княгини Красинской начинающую балерину было не узнать. Птица расправила крылья, обрела вкус к полету. После дебюта на профессиональных подмостках Рябушинской заинтересовались антрепренеры. Четырнадцатилетней девочкой она привела в восторг Джорджа Баланчина, увидевшего ее в Лондоне, где она выступала в парижском ревью «Летучая мышь». Входивший в моду балетмейстер пригласил питомицу Кшесинской в только что

созданный им «Русский балет Монте-Карло», где она блистала с двумя другими балеринами-«babies» – Ириной Бароновой и Тамарой Тумановой. Дебютировала Рябушинская партией Девочки в балете «Детские игры» на музыку Ж. Бизе. Для нее и танцевавшего в паре с ней Давида Лишина хореограф сочинил романтическое па-де-де, словно бы предугадав тем самым будущую семейную пару. Одна за другой следуют роли в мясинских балетах: «Предзнаменование», «Прекрасный Дунай», «Хореартиум», в баланчинском «Котильоне», в постановках других балетмейстеров. Михаил Фокин поручил ей исполнение прелюда в «Шопениане», следом за ней партию Девушки в «Видении розы» (блестяще исполненную когда-то Кшесинской), Бабочки и Коломбины в «Карнавале». Наступило время и для ролей классического репертуара. Она станцевала Жизель, Одетту, Сильфиду, принцессу Флориу. Слава Рябушинской растет, о ней пишут газеты, наперебой приглашают на ангажемент ведущие балетные театры мира.

А.Н. Вертинский пишет в книге воспоминаний:

«Кшесинская создала изумительную Татьяну Рябушинскую, легкую, эфемерную, «танцующий дух», как ее называла публика. Я помню, например, премьеру балета «Монте-Карло» в Париже, где мое место случайно оказалось рядом с Кшесинской и князем Андреем Владимировичем, ее мужем. Спектакль был большой художественной радостью. Начиная с декораций и костюмов, написанных гениальным Пикассо, до музыки Равеля, Стравинского и Прокофьева, – все было необычайно. Когда на сцене появилась юная Рябушинская в светло-серой длинной классической пачке, с розовым венчиком на голове, легкая, бестелесная, неземная, воистину какой-то «дух божий», а не балерина, у меня захватило дыхание. Она танцевала «Голубой Дунай». Когда она кончила и зал задрожал от аплодисментов, я обернулся.

Кшесинская плакала, зажав рот платком. Ее плечи содрогались.

Я взял ее за руку.

– Что с вами? – спросил я.

– Ах, милый Вертинский! Ведь это же моя юность танцует! Моя жизнь! Мои ушедшие годы! Все, что я умела и чего не смогла, я вложила в эту девочку. Всю себя. Понимаете? У меня больше ничего не осталось.

В антракте за кулисами она сидела в кресле и гладила свою ученицу по голове. А Таня Рябушинская, присев на полу, целовала ей руки.

– Вы правы, милый! – как-то сказала она на одном из моих

концертов. – «Надо жить, не надо вспоминать!»

«Телесное воплощение скерцо», как окрестил Рябушинскую кто-то из балетных критиков, была благодарным человеком. В многочисленных интервью не переставала повторять: вершинам мастерства, счастливо сложившейся профессиональной карьере она и муж всецело обязаны любимому педагогу Матильде Феликсовне. Они регулярно переписывались, звонили друг дружке по праздникам и юбилеям. Перед войной, после окончательного развала труппы в Монте-Карло Рябушинская с Давидом Лишиным уехали в Америку. Здесь она снималась в кино, выступала в мюзик-холлах, сотрудничала со многими послевоенными труппами Старого и Нового Света. Стала примадонной первого в США национального балетного театра – «Ballet Theater» (впоследствии – АВТ). В середине сороковых годов приехала ненадолго в Париж, работала с Роланом Пети над созданием авангардного балета, танцевала в первых его экспериментальных постановках. Вернувшись в Соединенные Штаты и поселившись в Лос-Анджелесе, организовала вместе с мужем первую на американском континенте балетную компанию, а впоследствии студию сценического танца в Беверли-Хиллс, где преподавала практически до самой кончины.

Курьезы судьбы. Мировую славу питомице Кшесинской принесло не ее замечательное мастерство, а роль, к которой она не имела никакого отношения: симпатичного и смешного рисованного гиппопотамчика из знаменитого мультфильма Уолта Диснея «Фантазия». Вариацию забавной толстушки в юбочке диснеевские аниматоры списали с танцев Рябушинской, сделав множество зарисовок для готовившейся картины на ее репетициях в студии. «Да-да, это та самая балерина, на которую так похож гиппопотамчик Диснея», – говорили впоследствии.

В конце 2008 года в Париже открылись рождественские аукционы, на которых традиционно формируются коллекции русского искусства. Отличающиеся от Sotheby и Christie сравнительно невысокими ценами, они привлекают большое число коллекционеров со всего света. На одном из них, Tajan, выставлены были, в числе прочего, вещи скончавшейся незадолго до этого в Америке в возрасте 84 лет Татьяны Рябушинской, и среди них – письма к ней Матильды Кшесинской, оцененные в три тысячи евро. Самым дорогим из лотов оказался костюм прославленной балерины, в котором она танцевала Жизель, купленный кем-то из любителей балета за семь тысяч евро.

C’est la vie, господа!

Гражданкой Франции Кшесинской суждено было пережить вторую в жизни мировую войну. Совсем не так, как когда-то на родине, когда они колесили по прифронтовой полосе с Петей Владимировым в генеральских машинах, окруженные конвоем, и их выступления перед солдатами в замаскированных лесочках Белоруссии, под отдаленную артиллерийскую канонаду, казались ей волнующим романтическим приключением. Новая мировая бойня прошлась тяжелым катком по ее судьбе, оставила глубокий след в душе.

Последнее мирное лето она много трудилась, устала предельно, не чаяла, как дотянуть до конца занятий. Сезон 1938–39 годов был у нее на редкость удачным – сто пятьдесят учеников, два десятка из которых, проходивших стажировку, профессиональные танцовщицы, работавшие в балетных труппах Старого и Нового Света, эстрадных театриках, в дансингах, кабаре. Маячил впереди желанный отдых, отпускные денечки, праздное ничегонеделанье. Экспресс Париж – Лион мчал их на Юг, в затерявшийся среди горных лесов Савойи курортный Экс-ле-Бен. К привычным посещениям врачей, бальнеологическим процедурам. Прогулкам по озерной набережной в толпе отдыхающих, с рвущимся на поводке Риччи, ошалевшим от нахлынувшей свободы. Встречам с друзьями за столиками кафе, танцулькам под заезжий американский джаз-банд.

Андрей, придвинувшись к окну, читал парижские газеты. Новости были невеселыми, вызывали беспокойство, тревогу. Гитлер вел секретные переговоры с СССР, предостерегал от недружественных шагов Францию, грозил кулаком Англии. Дипломаты, политики, общественные деятели наперебой советовали, как избежать кризиса в отношениях между противоборствующими блоками. На всем пространстве Европы шли военные учения; армии стран-союзниц спешно перевооружались.

Как можно было выбросить такое из головы? Даже укрывшись за снежными хребтами Альп, среди идиллических пейзажей, напоминавших рождественские открытки, в окружении беззаботно веселящихся, праздных людей…

Дурные предчувствия не оставляли ее ни на минуту.

Завершив курс лечения в Экс-ле-Бен, надышавшись горным воздухом, накупавшись в богатых серой и йодом горячих источниках, они перекочевали («лечиться так лечиться!») на очередной курорт со знаменитой водолечебницей – Эвиан, куда были приглашены родителями одного из бывших ее студийцев. Поселились в богатом особняке на берегу Женевского озера. Гуляли, загорали, пили лечебную водичку. Ездили вместе с

присоединившимся к ним сыном на экскурсии, несколько дней провели в Берне.

Все рухнуло в одночасье после экстренного сообщения по радио: немцы не сегодня-завтра пересекут польскую границу; предыдущие соглашения по этому вопросу Гитлер порвал в клочья.

Паника на женевском вокзале была невообразимой: отходившие поезда брались с боя. Ехали в переполненном вагоне, сидели на полке по очереди, меняясь местами.

Оставленный полтора месяца назад Париж был неузнаваем. Пустующие кафе, закрытые магазины, озабоченные лица прохожих.

«Как и в прошлом году, – читаем у нее, – когда Гитлер обрушился на Чехословакию, все было переведено на военное положение, на улицах стало темно, сирены постоянно гудели, приучая население к различным сигналам. Запасные были частично призваны, повсюду чувствовался недостаток людей. Почти что прекратилось движение автобусов, метро стало ходить реже. Население было предупреждено, что с началом военных действий следует ожидать военных налетов и бомбардировок удушливыми газами. Советовали обзавестись противогазными масками. Нашли мы их нелегко. Если не двигаешься, то дышать в них еще было возможно, а при ходьбе чуть не задыхались. Домашних животных же советовали сажать в ведра и покрывать их мокрыми тряпками. Населению было предложено покидать столицу».

За два дня до вступления Франции в войну последовал приказ о светомаскировке. В Городе Света, как называли Париж, погасли огни реклам, электрики завешивали лампы на уличных фонарях. Парижане срочно закупали в магазинах синие полоски бумаги, заклеивали окна. За обеденным столом на Вилла Молитор с горячностью обсуждался вопрос: уезжать или оставаться? Если ехать, то куда?

Третьего сентября, в день объявления войны и всеобщей мобилизации, погрузив под проливным дождем на два таксомотора чемоданы, Риччи, беременную кошку и клетки с канарейками, Красинские всем семейством, включая прислугу, отбыли в городок Везине неподалеку от Парижа, где счастливо удалось арендовать на паях с друзьями благоустроенную дачу.

«На следующий день по нашем прибытии в Везине рано утром загудели сирены, – пишет она. – Мы быстро оделись и спустились в погреб, как полагалось, где просидели целых три часа. Но никакой бомбардировки не было, был дан отбой, и мы снова пошли спать. Много еще было тревог, но всегда ложных, и

постепенно мы к ним привыкли».

Потянулись недели и месяцы, которые историки назовут впоследствии «странной войной», а простые французы – «странной войнишкой». Немцы, похоже, играли с унизившей их когда-то страной-победительницей, присвоившей по Версальскому договору Эльзас-Лотарингию, в кошки-мышки. Держали в состоянии постоянного напряжения: вот-вот начнут штурмовать 380-километровый железный пояс линии Мажино, прикрывавший северо-восточные рубежи Франции – от Бельфора до Лонгюйона, и, конечно же, сломают себе шею. Тут-то и устроить бошам веселенький праздник…

Боши, однако, лезть на Мажино не торопились. Наполняли радиоэфир ложной информацией, высаживали там и тут разведывательные отряды, поднимали в воздух и возвращали с полпути на аэродромы бомбовые эскадрильи. В небе французских городов висели день и ночь заградительные воздушные шары, звучали сирены начала и отбоя тревог. Каких-либо существенных сдвигов в силовом противостоянии сторон не наблюдалось.

«Через три-четыре недели после начала войны, – продолжает она, – я стала подумывать об открытии студии. Ведь надо было начать работать, так как жить было не на что. Первое время ученицы, конечно, разбежались, как и большинство парижан, но постепенно все стали возвращаться обратно. Я почти каждый день ездила в Париж по железной дороге, а там в метро, и к вечеру возвращалась в Везине, часто по глубокому снегу. Как назло зима была суровой, а уголь было доставать все труднее и труднее… На фронте было совершенно спокойно, и мы решили, прожив в Везине четыре с половиной месяца, вернуться к себе в Париж. Мы переехали обратно 19 января».

Лучше бы, добавим от себя, они этого не делали. «Странная войнишка», судя по всему, подходила к концу, начиналась настоящая война.

В апреле 1940 года Гитлер захватил Норвегию. Через месяц, не встретив сопротивления, оккупировал Голландию. Следом – Бельгию, Люксембург. Поступили первые сообщения о поражении войск союзников на побережье Атлантики, близ Дюнкерка. 10 мая над Парижем показалась армада тяжелых «Фокке-Вульфов» в сопровождении истребителей. На город посыпались бомбы, начались пожары. В экстренных выпусках по радио и в газетах сообщалось: разрушены и повреждены десятки зданий, убито и ранено около ста горожан, в их числе – дети.

Продолжим с ее слов рассказ о событиях тех дней.

«Хотя настоящее положение вещей тщательно скрывалось, сразу же почти что почувствовалось, что творится что-то

неладное, а к концу месяца стало ясно, что катастрофа неминуема. Всех охватила паника, и началось бегство из Парижа. Оставаться в Париже не только не было никакого смысла, но и становилось опасным, и мы решили уехать к Великому Князю Борису Владимировичу и его жене Зине (рожденной Рашевской, дочери героя Порт-Артура полковника Рашевского) в Биарриц, куда они нас уже давно приглашали. Но уехать было не так-то легко. Как отправить багаж, как достать билеты и, главное, как попасть в поезд? Вокзалы и площади вокруг были запружены десятками тысяч людей. После неимоверных хлопот нам удалось справиться со всеми затруднениями и получить два купе в спальных вагонах. Лучше и не вспоминать, как мы добрались до вагона. У проводника мы нашли бутылку шампанского, и с какою радостью мы ее выпили после всего пережитого за день. Уехали мы 11 июня и на следующий день с большим опозданием прибыли в Биарриц. Когда я вспоминаю о том ужасе, который творился в те дни, я благодарю Бога, что мы избежали того кошмара, который выпал на долю миллионов людей, бежавших со своих насиженных мест под постоянным обстрелом вражеских авиаций…»

Воздушные налеты стали прелюдией к переходу немцами франко-германской границы. Обойдя стороной укрепленную по всем правилам фортификационного искусства линию Мажино и выйдя в тыл оборонявшимся через Арденнские горы, моторизованные танковые и пехотные колонны вермахта устремились на юг – к Парижу. 16 июня столица Франции сдалась без боя врагу. Неделю спустя глава французского правительства маршал Анри Филипп Петэн подписал в Компьенском лесу (том самом, где скрепил двадцать лет назад подписью победу над кайзеровской Германией) акт о перемирии, ставящий по сути Французскую Республику на положение оккупированной страны.

5

– Это выше всяких сил! На каждой странице они у него едят!

Она в сердцах захлопнула книгу, бросила на валик дивана.

– Что именно едят, муся? – Сыну, похоже, надоело разгадывание крестословицы в журнале. Сонно зевнув, он поднялся с кресла, извлек из портсигара на столике папиросу, постучал по крышке. – Вкусненькое что-нибудь, вероятно? Присел рядом, поцеловал в висок.

– То-то и оно. – Она поскребла машинально ногтем пятнышко на рукаве его халата. – То суп «потофэ», то говядину по-бургундски с грибами, то поджаренную кровяную колбасу, то

пулярку. Пьют исключительно «Beaujolais nouveau». Представляешь!

– А на десерт, муся?

В глазах у него загорелись огоньки.

– Ладно, ладно, дразнилка! – Она хлопнула его притворно-сердито по колену. – Тебе бы только матушку поддеть.

– В самом деле, что там у них затевалось на десерт? – откликнулся из своего угла Андрей, посвятивший субботний вечер склеиванию полуразвалившегося сафьянового фотоальбома.

– Нэгр ан шмиз, черти вы полосатые! – вскричала она. – Пирожные от Фошона! Мало вам? Хотите еще? – Она загибала пальцы на руке. – Бенедиктин… мороженое…

– …свежие фрукты, – подхватил радостно Вова.

– …шесть сортов сыра не забудьте, – поддержал его Андрей.

Всех неожиданно развеселила игра. Закатывая от мнимого восторга глаза, перебивая друг друга, они сыпали названиями любимых яств, от которых остались одни лишь воспоминания. Делали вид, что снимают воображаемые крышки с супниц и судков, любезно передавали соседу по столу закуски: икру, заливное, паштеты, салаты, нюхали сладострастно воздух с невообразимыми ароматами, откупоривали шампанское. Близкое к истерике состояние воцарилось в гостиной, когда из-за портьеры, бочком, появилась словно по заказу Людмила с подносом в руках, пропевшая сладенько:

– Репочка вареная на ужин, господа, с маисом. Садитесь, пока не остыло…

Вновь они были дома. Насиделись несколько месяцев в оккупированном немцами Биаррице, проелись до последнего и решили: будь что будет, возвращаемся!

По обезлюдевшему Парижу носились мотоциклетки с немецкими патрулями, проходили группами жандармы. Шагу нельзя было ступить без проверки «аусвайса»: солдаты долго разглядывали пропуск, сверяли, бегая глазами по лицу, подлинность фотокарточки. В одиннадцать вечера наступал комендантский час. Незадолго до этого город сходил с ума: по тротуарам, уличным обочинам, сквозь газоны, перепрыгивая через штакетники, неслись как угорелые толпы людей, стремясь успеть на последний поезд метро. Всякий, застигнутый вне дома после одиннадцати, подлежал аресту, сурово наказывался.

Чудом каким-то они избежали печально знакомого по окаянному семнадцатому году «уплотнения». В соседних домах, на виллах поселились, потеснив хозяев, немецкие развязные офицеры, водившие к себе на мужские вечеринки оголодавших парижанок. Она бегала несколько раз с Арнольдом, вооружась

справками о служебном назначении жилплощади, в городскую комендатуру на угол авеню Опера и улицы 4 сентября.

– Поверьте, герр капитан, – горячо втолковывал вислоусому дежурному со свастикой на рукаве Арнольд, – у нас совершенно невыносимые условия для проживания. Вообразите: с утра до вечера – топот и музыка! Пыль столбом, на вешалках – потные полотенца! Господам военным с их напряженной работой такое вряд ли может подойти…

Что на самом деле повлияло на решение немцев неясно, но их, слава богу, оставили в покое.

Почти никто не верил, что немцев удастся разбить, у многих стало складываться впечатление, что с ними можно неплохо ужиться. Устроить так, чтобы Франция могла побыстрее перейти из стана побежденных в стан победителей.

Францию, по выражению Жана-Луи Барро, разрезали надвое во всех смыслах этого слова: свободная зона, оккупированная зона, лояльные граждане, нелояльные. На одной и той же улице, в соседних домах, знавшие друг друга с детства люди оказались по разные стороны баррикад. Одни поддерживали коллаборационистское правительство Виши, вешали на стены домов нацистские флаги, кричали при виде топающих по тротуару жизнерадостных бошей «Хайль Гитлер!», доносили в комендатуры о подозрительных лицах, вступали в фашистскую милицию, в Легион французских добровольцев, отправлявшийся на Восточный фронт. Другие (их было крайне мало, и силы их были разобщены) создавали ячейки Сопротивления, расклеивали по ночам антифашистские листовки, благословляли сыновей, уходивших сражаться с врагом в отряды Franc-tireur et Partisans, действовавшие во Французских Альпах, совершали нападения на нацистов и их прихвостней. Одной из первых значительных акций боевого подполья, имевшей, несмотря на наудачу громкий резонанс, было покушение на марионеточного «премьера» Пьера Лаваля 27 августа 1941 года в Версале.

Большая часть французов не ломала себе голову трудным выбором – предпочла пассивный нейтралитет. Добывала хлеб насущный. Страдала, любила, веселилась. Уповала на светлое будущее. Чтобы получать зарплату выше средней, около полумиллиона французов пошли на службу в организацию Тодта, строили на побережье Франции под руководством немецких инженеров «Атлантический вал» – систему укреплений, которую впоследствии с большими потерями штурмовали при высадке союзные войска.

Выйдя однажды поутру выгулять Риччи, она увидела по обе стороны тротуара цепочки патрулей с собаками. Улица была

перегорожена металлическими надолбами. Позже стало известно: подчеркнуть стремление Рейха видеть в оккупированной Франции союзника в Париж на несколько часов прилетал Геббельс. Позировал кинооператорам и фотографам на фоне исторических памятников, полюбовался со Старого моста панорамой города, видом текущей Сены, постоял в задумчивости у Триумфальной арки на площади Звезды. Пожелал посетить Opera de Paris. Прошел в сопровождении генеральской свиты в зал, уселся в кресло первого ряда, слушал, разглядывая красно-золотую барочную лепнину ярусов, пояснения руководившего в то время Оперой Сержа Лифаря. Произнес на выходе, стоя у подножия скульптурной группы Карпо (окружавшие лихорадочно писали в блокноты):

– Несомненно, это лучший театр в красивейшем городе мира!

Лифарь, долгое время считавшийся другом дома, жестоко ее разочаровал: не скрывая демонстрировал лояльность к оккупантам, делал на коллаборационизме карьеру. В 1941 году, узнав, что немцы захватили его родной город Киев, послал приветственную телеграмму Гитлеру. Год спустя посетил несколько раз Германию, был тепло принят верхушкой Рейха. Считался завсегдатаем гнезда парижских коллаборационистов «Дейче Институт», красовался на фотографиях в журнале «Сигналь», считавшемся официозом министерства пропаганды.

Знакомый оркестрант рассказал ей со смехом анекдотическую историю. В разгар депортации из страны евреев на Лифаря, русского по происхождению человека, поступил донос: свеженазначенный руководитель Opera – скрытый еврей. Если его фамилию прочесть наоборот, получится «Рафил». Последовал вызов в немецкую комендатуру, неприятный разговор. Чтобы доказать свою непричастность к неполноценной нации, вконец растерявшийся Лифарь решил продемонстрировать допрашивавшему его офицеру физическую «ненарушимость» детородного органа, что вызвало истерический хохот у присутствовавших на допросе военных.

(В похожей ситуации оказалась писательница Симона де Бовуар. Через много лет, уже будучи мировой знаменитостью, она чистосердечно рассказала об этом читателям. Ей, преподавателю французского лицея, во что бы то ни стало надо было сохранить при оккупантах должность. Не без колебаний написала она в анкете напротив графы «национальность» не «еврейка», как следовало бы, а «француженка».

«Я считала отвратительным то, что пришлось это подписать, – вспоминала писательница, – но никто не отказался: ведь у большинства из моих коллег, так же, как и у меня, не было

альтернативы».)

В один из дней на Вилла Молитор неожиданно появились по дорожному одетые Крымовы: пришли попрощаться. Владимир Пименович раздобыл через каких-то сотрудничавших с немцами знакомых «коллабо» разрешение для себя и Берты Владимировны на переезд в свободную зону. Назавтра они уезжали в Тулон.

– Бурцев скончался, – сообщил невесело Крымов. – Узнал случайно от бывшего его метранпажа. Бедствовал невероятно, голодал, жил на птичьих правах у какого приятеля в Пасси. Напоролся на улице дырявой подметкой на ржавый гвоздь. Воспаление, гангрена. В больнице, говорят, перед самой кончиной, поднялся с койки, пошел, шатаясь, к выходу. Ему: «Куда вы, Владимир Львович?» А он – всклокоченный, худой, страшный: «Домой». Pauvre! [2]Редкой души был человек, царство ему небесное!

Слушая Крымова, она испытала острое чувство стыда. Ни разу не поинтересовалась после памятного знакомства с Бурцевым и последовавшими за этим разоблачительными его статьями о большевистском агенте-оборотне судьбой человека, спасшего ей фактически жизнь. Ах, как же все это было нехорошо! Как неловко, не по-людски!

Она собралась на другой день в православный храм на рю Дарю. Зажгла поминальную свечу, молилась, стоя на коленях у алтаря, за упокой души раба Божьего Владимира. Легче сделалось на душе.

Тянулись нескончаемо оккупационные будни. Полицейские облавы, свистки жандармов при малейшем проблеске света в занавешенных окнах. Продовольственные карточки, талоны на товары. Многочасовые стояния в очередях возле магазинов. Древесные опилки в печках вместо угля, карбид для ацетиленовых ламп взамен электричества. Сахарин, кофе-эрзац из жареных каштанов.

По карточкам первой категории для стариков и детей можно было получить крупу, молоко, сахар, шоколад. Скудный паек выдавался в первых числах месяца, строго в руки обладателя документа. В километровых очередях у дверей распределителя творилось в дни получек что-то невообразимое: толкотня, крики, рукоприкладство. Сопровождавшая ее в походах за стариковским пайком Людмила пристраивалась сзади, помогала, крепко держа за плечи, не выпасть из очереди, подталкивала грудью к полуотворенным дверям. Зная о бедственном их положении, Зина с Борисом посылали им время от времени небольшие продовольственные посылки: килограмм-другой картошки,

зелень, вяленое мясо, сыр, разливное вино. Приезд нарочного из Биаррица с коробкой съестного становился событием. В гостиной накрывался праздничный стол, доставались остатки парадной посуды. Андрюша садился после ужина за фортепиано, они с Вовой вальсировали – из комнаты в комнату.

От потерянности, тяжких мыслей спасала работа. Учениц в студии осталось считаное число. Заниматься в такое время балетом, мечтать об искусстве, стоять полуголодной на пальцах у стенки, бить батманы в неотапливаемом классе – на такое способны были немногие. Случалось, она хлопала в ладоши, останавливая урок, произносила: «У кого-то из присутствующих, по-моему, поет в желудке. Перерыв, мадемуазель!» Вела девчушек к себе наверх, кормила, к неудовольствию Людмилы, из скудных домашних запасов – чем Бог послал.

Миновала ледяная, с двадцатиградусными морозами, зима сорокового года. Пролились мартовские ливни. Зеленела на парковых газонах молодая трава, выпрастывались на ветках каштанов вдоль бульваров бледно-зеленые клейкие листочки, орали на задворках особняка ошалевшие от любовной истомы коты.

Весна бушевала в природе, но не в душе.

Немцы оставили, наконец, игру в гуманных завоевателей, безжалостно закручивали гайки «нового порядка». Шли повальные аресты подозрительных лиц. Стены домов пестрели объявлениями гауляйтера оккупационной зоны Генриха фон Штюльпнагеля: за каждого убитого немецкого офицера или солдата будет немедленно расстреляно сто заложников. В начале лета началась депортация евреев. За несколько недель из Парижа были отправлены в концентрационный лагерь в Дранси тридцать тысяч человек, в их числе – добрый их знакомый, главный жертвователь на создание балетной студии Илья Исидорович Фондаминский. Богач, меценат, вдохновитель многих замечательных театральных и художественных проектов русской эмиграции, кормилец голодных писателей, художников, музыкантов, личность, о которой избегавший каких бы то ни было комплиментов в адрес земляков Владимир Набоков написал впоследствии в «Других берегах»: «Попав в сияние этого человечнейшего человека, всякий проникался к нему редкой нежностью и уважением».

Никто не мог поручиться, что завтра участь Ильи Исидоровича не разделит он сам, его семья. Навесив засовы на входные ворота, опустив жалюзи, помолившись на ночь, они лежали без сна в постелях, цепенея от приближавшегося звука автомобильного мотора, стука каблуков на тротуаре, взлая

соседской собаки. Ждали в тревоге, мучительных раздумьях наступления неведомого дня.

6

«Двадцать второго июня 1941 года немцы вторглись в пределы нашей родины, – читаем на страницах «Воспоминаний». – Об этом мы узнали за утренним кофе. Мы были подавлены. Что будет с нашей несчастной родиной, что будет с нами? Уже давно Вова считал русско-германскую войну неизбежной и отлично отдавал себе отчет в том, что ожидает Россию, если немцы, не дай Бог, победят. Ни своей точки зрения, ни своего отношения к немцам он не скрывал и знал, что его ожидает в случае войны».

Тридцатидевятилетний сын жил в родительском доме, так и не обзавелся семьей. Не затворник вовсе, любитель общества, красивый, приветливый, жизнерадостный, имел, по слухам, даму сердца на стороне. Мог выгодно жениться на очаровательной молодой женщине своего круга, снимавшей у них комнату, – шведской графине Лилиан Аллефельд. Сам факт появления в особняке на Вилла Молитор квартирантки, которая могла себе позволить жить в дорогой гостинице или снимать апартаменты в любом из престижных кварталов Парижа, дает пищу для размышлений. Упоминавшаяся уже в тексте ученица Кшесинской Нина Константиновна Прихненко уверяет, что влюбленная в Вову шведка, вышедшая впоследствии замуж за Сержа Лифаря, попросту «гонялась» за очаровательным светлейшим князем, но ответного чувства с его стороны так и не дождалась.

Обстоятельства появления на свет дорогого сыночка, тяжкие роды, едва не стоившие обоим жизни, отчаянная борьба, которую вела Кшесинская на протяжении стольких лет, чтобы смыть клеймо незаконнорожденности с любимого чада, горы своротить, чтобы сделать Вовочку счастливым, по-особому окрашивали их отношения.

В детстве она не отпускала его от себя ни на шаг. Возила, рискуя простудить, на гастроли, курорты, в увеселительные вояжи. Окружила воспитателями, гувернерами, лакеями, домашними учителями, не знала, как угодить, чем порадовать. Опекаемый со всех сторон подросток, не знавший разве что вкуса птичьего молока, удостоившийся в десять лет императорским указом потомственного дворянства, обязан был по всем статьям стать оранжерейным маменькиным сынком. А вырос здоровый мальчишка с живым, общительным характером. Водил в дом уличных ребят, дрался на пустырях со сверстниками, фехтовал,

ездил отлично верхом, обожал морские прогулки.

Последнее увлечение едва не стоило ему однажды жизни.

«Стоял чудный летний день, – вспоминает Кшесинская, – тишина полная кругом, ни малейшего ветра, море как зеркало (дело происходило на ее даче в Стрельне. – *Г.С.*). Мой сын со своим воспитателем Шердленом решили воспользоваться исключительно прекрасной погодой, чтобы покататься по морю на нашей плоскодонной лодке, к которой снаружи прикреплялся позади небольшой мотор. Мой электротехник, который ведал мотором и хранил его у себя на электрической станции, установил его на лодке, и все они втроем отправились на прогулку, которая обещала быть чудесной. Мотор зашумел, и лодка медленно поплыла по морю. Проводив их, я пошла домой. Меня ждала массажистка. Только что начался массаж, и я лежала на кушетке в спальне, как вдруг все потемнело, поднялся сильнейший ветер, налетел жуткий шквал: деревья под напором ветра гнулись, в воздухе летали сорванные ветром с деревьев листья, ломались сучья. Вова был на лодке в море! Я не знала, что с ним будет. Эти молниеносные шквалы так опасны на Балтийском море, столько несчастных случаев сообщалось в газетах каждое лето. Я бросила массаж и побежала на берег, на мою дамбу, откуда можно было видеть, что делается в море. Ветер вдруг стих, наступила жуткая тишина, солнце вновь засияло, море, как зеркало, гладко, но в какую сторону я бы ни глядела, я ничего не могла заметить. Меня охватил ужас, они, наверное, погибли, иначе лодку было бы видно, они выехали в море не так давно. Стали телефонировать в Стрельнинский порт, где была спасательная станция и откуда во время бурь наблюдали за морем, чтобы оказать помощь, но оттуда ответили, что они не видели никакой лодки в море. Я была одна дома, в полном отчаянии, не зная, что же мне предпринять, где узнать, что с ними случилось, к кому обратиться за помощью. Я бросилась на колени и, вся в слезах, стала молиться, чтобы Господь сохранил моего сына… В таком ужасном, беспомощном состоянии я оставалась довольно долго. Когда мое отчаяние дошло до пределов, вдруг раздался телефонный звонок. Это звонил воспитатель моего сына Шердлен, чтобы сообщить, что они все живы и здоровы и он сейчас находится с Вовой на Михайловской даче и только ждут, чтобы им подали экипаж для возвращения домой. Резкий переход от полного отчаяния к безграничной радости был так силен, что я только могла плакать, и плакать от радости, и благодарить Бога, что он услышал мою молитву. Они благополучно катались по морю, когда налетел шквал. Они были сравнительно далеко от берега и решили скорее вернуться домой,

но, на их горе, мотор испортился, и пока его чинили, их стало относить ветром все дальше и дальше от берега. Тогда они взялись за весла, стараясь грести к берегу, но силою ветра их относило в другую сторону. В этот момент они увидели огромный пароход и направились к нему. Это оказался не простой пароход, как они думали, а по морской терминологии «бранд-вахта», то есть военный корабль, закрепленный на якорях для охраны Царского дворца с моря. К этому времени мотор был исправлен, море утихло, и они направились к берегу напротив Михайловской дачи, где Вова со своим воспитателем вылезли и пешком добрались до дворца, а лодка пошла домой. Из дворца они и звонили мне. Все это быстро рассказывается, но на самом деле в общем прошло около двух часов, двух часов моих ужасных страданий».

Во время трехлетнего пребывания в эвакуации, – в условиях не менее экстремальных, чем летний шквал на море, – сын окончил с отличием кисловодскую гимназию. Много читал, увлекался российской историей. Как большинство молодых эмигрантов-аристократов, места своего во Франции не нашел. В годы проживания на Кап д'Ай дома бывал наездами, разъезжал по Лазурному Берегу, гостевал у приятелей. Пробовал стать актером, но дальше участия в массовке у Ганса Абеля в киноленте «Наполеон», где переодетый жандармом он гнался в составе отряда преследователей за бежавшим на Корсику императором, дело не пошло. После переезда в Париж работал недолгое время репортером уголовной хроники в небольшой газете, был коммивояжером винодельческой фирмы. Увлечение философией и политикой привело его в зрелые годы в ряды возглавляемого Александром Казем-Беком Союза младороссов, ставившем целью сплочение патриотически мыслящей прослойки соотечественников, верящих в неизбежное возрождение России, пусть даже порабощенной временно сталинским режимом.

С большой долей вероятности можно предположить: досье на русского масона и националиста попало в период оккупации в руки нацистов. Понятным станет в связи с этим, почему сутки спустя после нападения немцев на СССР проживавший по адресу № 10, Вилла Молитор, 16-й аррондисмант Парижа светлейший князь Владимир Романовский-Красинский в срочном порядке был вызван в отделение гестапо, взят под стражу и вывезен в числе многих сотен русских парижан (среди которых был и Казем-Бек) в концентрационный лагерь под Компьеном.

Он мог по получению повестки бежать в свободную зону, перебраться оттуда с помощью друзей в нейтральную Швейцарию.

– Чтобы узнать потом, что вас расстреляли из-за меня как

заложников? – возмутился он, выслушав доводы родителей, настаивавших на побеге.

«Удрученные, с тяжелым предчувствием, мы провожали его взглядом и крестили, покуда он не скрылся», – вспоминает она.

В течение нескольких дней они ничего не знали о его судьбе. Метались по городу в надежде получить хоть какую-либо информацию, обзванивали знакомых. На их счастье, освободили из-под стражи случайно арестованного русского, сидевшего вместе с Вовой в одном бараке. Сын, по его словам, чувствовал себя хорошо, просил прислать, если можно, белье и туалетные принадлежности.

Они наконец вздохнули с облегчением…

«Свидания были разрешены лишь с 1 августа, и мы несколько раз ездили его навещать. Он был бодр и уверял меня, что им всем хорошо живется, что беспокоиться за него нам не следует. Все возвращавшиеся из лагеря единодушно утверждали, что Вова держал себя выше похвал и с огромным достоинством и нравственно поддерживал остальных заключенных. Но время проходило, многих заключенных освобождали, в начале октября освободили несколько сот человек, но несмотря на обещания, на все предпринимаемые нами шаги, Вову все не освобождали. Почему? С мыслью, что его не освободят, Вова примирился, и вообще он не верил в свое освобождение, но нас это угнетало. Мы боялись, и не без основания, что его оставят заложником и отправят в Германию, тем более, что он не скрывал своего отношения к войне. Много позже мы узнали, что арест многих русских был вызван опасением, чтобы они и руководимые ими круги и организации не присоединились с первого же дня вторжения немцев в Россию к французскому Сопротивлению».

Не следует делать вывода из слов Кшесинской, будто вся русская эмиграция кинулась сломя голову сражаться с нацистами. Как это сделали княгиня Вера Аполлоновна Оболенская и ее муж Николай Оболенский, мать Мария (Е.Ю. Кузьмина-Караваева), Борис Вильде, сын писателя Леонида Андреева В.Л. Андреев, сын царского министра Кривошеина – И.А. Кривошеин, «красная княгиня» Т.А. Волконская. Эти и другие герои Резистанса, равно как и «пассивный сопротивленец» Владимир Красинский-Романовский, оказались в меньшинстве. По свидетельству историка К.Н. Александрова, общая численность русских эмигрантов, участвовавших в европейском движении Сопротивления, не превышала четырехсот человек, призванных в армии стран-союзниц – пять тысяч. В то же время в вооруженных формированиях, действовавших на стороне Германии, насчитывалось от 20 до 25 тысяч участников Белого движения из

представителей эмигрантской молодежи. И тут, как видим, налицо раскол, малая гражданская война – на этот раз за пределами родины, на чужбине, но с теми же проклятыми вопросами во главе: с кем вы, русские люди? против кого?

Ее мальчик остался жив. Четыре месяца спустя после ареста в квартире раздался звонок телефона. Вовочкин радостный голос сообщил: он в Париже, звонит с Гар дю Нор, через полчаса будет дома.

«По чьему приказу и почему его освободили, для нас так и осталось навсегда загадкой».

Лагерь не прошел бесследно для его здоровья. В начале 1944 года он перенес тяжелую операцию, пролежал месяц в клинике. Поездки к нему в Нейи были для нее нелегким испытанием: транспорт работал нерегулярно, ждать автобуса на пронизываемой холодным ветром остановке приходилось часами, болели невыносимо из-за обострившегося артрита ноги.

Наступила новая весна. Дни напролет они ловили, прильнув к старенькому приемнику, сообщения западных станций: Соттанс, Би-Би-Си, швейцарского радио. Слышимость была плохой, эфир наполняли обрывки музыки, посторонние шумы, немецкая лающая речь. Пойманный с трудом канал прерывался то и дело тирадами диктора коллаборационистского радиожурнала Жана-Эрольда Паки, завершавшего каждую очередную передачу традиционной фразой: «Англия, как Карфаген, будет разрушена!»

Режиму оккупации, похоже, наступал конец. Немцы терпели одно поражение за другим, откатывались под натиском Советской Армии на запад. Летом произошла долгожданная высадка союзных войск в Нормандии. Русские и американцы встретились на Эльбе. В экстренном выпуске радионовостей «Свободной Франции» сообщалось: на Гитлера совершено покушение, фюрер чудом уцелел, видные нацисты бегут из рейхсканцелярии.

Русские армии неудержимо продвигались к Берлину.

Среди немецкого гарнизона во Франции царила паника. Чуя близкий конец, боши запустили на полную мощь машину террора. Стены домов пестрели свеженаклеенными листовками подпольных типографий Сопротивления: «Орадур взывает к мести!» – с ужасающими подробностями уничтожения фашистами деревни Орадур-сюр-Глан в Верхней Вьенне со всеми ее жителями, включая стариков и детей. По улицам провозили на грузовиках все новые группы арестованных. Увели ночью без формального объяснения причин ареста, посадили за решетку в «Шерш Миди» бывшего посла Временного правительства во Франции Василия Алексеевича Маклакова, руководившего многие годы Комитетом по делам русских беженцев. Голодом и пытками

вынудили выброситься с шестого этажа здания гестапо бывшего депутата-социалиста Национального собрания Пьера Броссолетта. Арестовали и отправили в Освенцим поэта и художника Макса Жакоба.

Вновь начались аресты русских. Многих забирали по второму разу – после освобождения из концлагерей и тюрем. Предъявляли стандартное обвинение: «шпионаж и диверсионная деятельность в пользу врага». В течение суток выносился смертный приговор.

«По всей Франции шли массовые аресты и расстрелы заложников, и мы прямо тряслись за нашего Вову», – вспоминает она.

В Париже не переставая звучали сирены. В их душераздирающую какофонию включался нараставший над головами рев авиационных моторов. Город бомбардировала авиация союзников. Прятавшихся в подвалах, под мостами, в наспех вырытых во дворах траншеях людей волновал вопрос: будут немцы обороняться, предстоят или нет уличные бои?

Забили тревогу, заметались в поисках выхода из положения вчерашние приспешники оккупантов – «коллабо». Дружки по «Дойче Институт» обращались с подчеркнутым сочувствием к Лифарю: «Как вы себя чувствуете, Серж? Готовитесь постоять за себя?» Художественный директор Опера не нашел ничего лучшего, как найти убежище под дамской юбкой – нашел приют и моральную поддержку у близкого человека, Габриэллы (Коко) Шанель.

Законодательница высокой моды делила в годы войны с немецким офицером роскошные апартаменты в отеле «Ритц». Не ограничивалась произнесением антисемитских реплик на всевозможных приемах – вступила в прямое сотрудничество с гестапо, добровольно брала на себя тайные поручения нацистов, одно из которых имело словно в насмешку кодовое название «Model Hut» – «Модная шляпа». В 1943-м Шанель была направлена гестаповским руководством в Испанию, чтобы нащупать через светских знакомых контакты с представителями правящих кругах Великобритании – для переговоров о сепаратном мире. О проделанной работе она отчитывалась в Берлине перед самим Вальтером Шелленбергом. Весной 1945 Шанель арестовали за пособничество врагу, но через несколько часов отпустили, дав возможность ускользнуть в Швейцарию, где у нее была роскошная дача. Там она и приютила явившегося пересидеть тревожные времена Сержа Лифаря.

…Бесстрашная Людмила, предпринявшая в одну из коротких передышек вылазку на улицу, прокричала на пороге: фрицы покидают город! С крыш, из подъездов домов стреляют! Она

видела собственными глазами нескольких французов, бежавших с автоматами в руках по тротуару.

Вечером двадцать второго августа они услышали по радио: части освободительной армии – на окраине Парижа, фашистский гарнизон генерала Шолтица капитулировал на Монпарнасском вокзале.

«Сразу во всех церквах зазвонили колокола, жители высыпали на улицу, поздравляя и обнимая друг друга. Повсюду было слышно пение «Марсельезы». Мы переживали незабываемые минуты. На следующий день мимо нас по улице Мишель-Анж в город вошла одна из колонн знаменитой блиндированной дивизии маршала Леклерка. Нельзя описать, что делалось на улицах! Солдатам бросали цветы, угощали шампанским, более предприимчивые влезали на танки целоваться с освободителями».

Париж ликовал. Приветствуемый праздничной толпой прошел пешком, направляясь в Ратушу, высокий как жердь генерал де Голль, возглавлявший правительство Франции в изгнании. Прокатили по свежеполитой эспланаде Елисейских Полей колонны «Студебеккеров» и «Фордов» с американскими пехотинцами, посылавшими воздушные поцелуи хорошеньким парижанкам. Над Эйфелевой башней поднялся, грузно раскачиваясь на ветру, пузатый воздушный шар с сине-бело-красным флагом.

Апофеозом праздника, вспоминает она, стали нагрянувшие в дом гости – прибывшая из Лондона с собственной небольшой труппой и знаменитым мужем скрипачом Иегуди Менухиным очаровательная ее ученица Диана Гульд. Следом другая ученица, из Америки – Ширли Бридж. А несколько месяцев спустя – глазам не верилось! – подкатил к воротам зеленый грузовик, из которого высыпали одетые в армейскую форму танцовщики «Сэдлерс-Уэллс балле», возглавляемые Нинет де Валуа, – военная походная группа, как оказалось, прибывшая в Париж для развлечения солдат.

Люди снова наслаждались искусством, смотрели балет. Какие нужны были еще доказательства, что на земле действительно наступил мир!

Глава четвертая

1

Кто только не писал о ней на протяжении жизни! Балетные критики, светские и бульварные репортеры, мемуаристы. Профессионалы, дилетанты.

После войны один ее знакомый принес однажды стопку исписанных листов, говоря, что вычитал в них связанный с ней давний какой-то эпизод. Листы, по его словам, составляли часть обширных записок, которые его матушка получила от жившей по соседству дамы, а та в свою очередь от некоего доморощенного автора, обретавшегося где-то в окрестностях Дижона.

Пробегая глазами текст, она качала в изумлении головой: неужели – Марр? Тот самый! Провинциальный поручик-балетоман, с которым она познакомилась бог весть в каком году на полуночном маскараде в фойе театра. Служил, кажется, где-то на Дальнем Востоке, в столицу приехал к родному дяде на побывку.

Всплывали из глубин памяти картины… Петербург, зима… Гремящий музыкой вестибюль театра, скопище людей в масках… Как она интриговала встреченного в толпе смешного офицерика, отказывалась, несмотря на настойчивые его просьбы, назвать имя. Как он ждал ее на другой день у заваленного снегом служебного входа, не зная в лицо, как был изумлен, взволнован, обнаружив по голубому банту на ее ротонде, что встреченная им давеча незнакомка в черном «домино» – Кшесинская.

Она пригласила его тогда в гости на Каменноостровский. Напоила чаем, расспрашивала о службе, увлечениях, продемонстрировала способности любимого фоксика Джиби, прыгавшего по ее команде через стулья. Подарила книгу Плещеева «Наш балет», несколько своих фотографий. Хлопотала впоследствии перед Ники за какого-то армейского его товарища, осужденного на несколько лет в крепость за участие в дуэли и убийство обидчика жены…

Все это он красочно, эмоционально описал в воспоминаниях, не упустил ни малейшей подробности.

«Считаю своим нравственным долгом сказать, – читала она, – М.Ф. Кшесинская была не только добрым гением для бедных, для несчастных, заступницей за угнетенных – она была добрым гением и для «великих». Она была настолько чиста, что никакая клевета не могла коснуться ее. Все отметается от ее высокой,

светлой личности, как отлетает от чистого кристалла пылинка, несомая ветром. Она была выше всего».

Растроганная, она тут же написала ему по обратному адресу:

«Вы будете удивлены, дорогой Генрих Людвигович, получив письмо от «черной маски с голубым бантом». Неожиданно мне передали часть Ваших записок, где Вы описываете встречу со мною в маскараде. Эти записки, написанные так просто, так жизненно, перенесли меня в мое далекое, счастливое прошлое. Я буду рада Вас встретить – если будете в Париже, заезжайте ко мне. Больше не зовут «карету Кшесинской», сама бегаю в метро, и уже двадцать лет у меня студия, и я работаю с утра до вечера.

Повторяю, буду рада Вас видеть.

Сердечный привет,

Княгиня М. Красинская.

10, Вилла Молитор – Париж (16). Тел. 34–38».

Он немедленно ей ответил – взволнованный случившимся, необыкновенно счастливый, благодарный за память. Какое-то время они обменивались короткими посланиями, пока летом 1950 года не повстречались, наконец, в курортном Пломбиере, где они с Андреем в то время лечились и отдыхали и куда пригласили жившего в соседнем Фаверне Марра на завтрак в «Отель де Бен».

«Я приоделась к этому случаю, – пишет она, – чтобы показаться ему в наилучшем виде, ведь я его ровно пятьдесят лет не видала и не имела никакого понятия, на что он похож. Когда я спустилась перед завтраком в гостиную, я видела, как сидящий в углу господин моментально встал и пошел мне навстречу, я поняла, что это был Марр. Небольшого роста, пожилой, с по-старинному расчесанными надвое бачками, аккуратно, но скромно одетый, он с глубоким волнением подошел ко мне, чтобы поздороваться, и с самым почтительным видом поцеловал мне руку. От волнения он почти не мог говорить, он только смотрел на меня с умилением, видимо, вспоминая нашу первую встречу на маскараде полвека назад. За завтраком он рассказал про свою жизнь, как попал в эмиграцию, какие перенес мытарства и как наконец ему дали место в Семинарии без жалованья. Он жил на старческой своей пенсии и был более нежели доволен своей судьбой… Я проводила Марра после завтрака на вокзал, и когда я с ним простилась и пошла обратно домой, то, оглянувшись назад видела, что он все стоял на том же месте. Увидав, что я обернулась, стал крестить меня. Потом я получала от него письма с поздравлениями по разным случаям, всегда

очень трогательные и сердечные. Я все мечтала опять его увидеть в следующем году, когда попаду в Пломбиер. Но в последующих своих письмах Марр стал жаловаться на состояние своего здоровья, на то, что он очень ослабел, уже не может разносить тяжелые почтовые посылки по Семинарии, как раньше, и с трудом уже прислуживает в церкви. К лету он писал, что в этом году он уже не сможет приехать в Пломбиер из-за слабости и недомогания, и выражал опасения, что он меня не увидит».

«Когда я была в Пломбиере в августе 1951 года, – читаем в продолжении, – одна знакомая предложила свезти меня в Фаверне на своем автомобиле и предупредила Марра о часе моего приезда в Фаверне, и когда мы подъехали на автомобиле к воротам Семинарии, я увидела его стоящим у ворот в ожидании меня. За год, что я его не видела, он очень изменился, осунулся, и не было той бодрости в нем, как в предыдущем году.

Он очень обрадовался меня снова увидеть и повел меня посмотреть его комнатку. Комнатка была расположена над входными воротами, как это часто делается, сводчатый низкий потолок, полукруглое окно до пола и почти что никакой обстановки, кроме кресла и стола, маленький железный, на трех ножках, умывальник и самое примитивное ложе вместо постели; комнатка напоминала, скорее, келью в монастыре. Несколько образов были единственными украшениями на стенах. Но он был доволен, больше ему ничего не надо было. Питался он у себя в комнате, а пищу получал с общей кухни, куда ходил со своей посудой; кормили, как он говорил, хорошо и сытно, за все он благодарил Бога. Он попросил меня сесть в его кресло хоть на минуточку, чтобы потом вспоминать, что я посетила его комнатку и сидела в его кресле.

Он хотел нам показать Семинарию, но я видела, что старику уже не под силу подыматься по огромным и бесконечным лестницам. Мы вышли только в сад, чтобы полюбоваться нынешним видом Семинарии, и заглянули в ту часовню, где он по утрам прислуживал при ранней обедне. Мы прошлись немного по городу в поисках кафе, и по дороге все встречные кланялись Марру и приветствовали его: «Бонжур, мсье Марр!» На прощанье мы ему подарили коробку папирос, он любил покурить, и пакет «ваганина», так как он жаловался на нестерпимые боли в руках, и я ему посоветовала это средство, которое мне очень помогает. Тут, у кафе, мы с ним простились, как оказалось, навсегда, и уехали домой в Пломбиер, это было 5 (18) августа 1951 года, в субботу. По возвращении в Пломбиер я послала ему пакет с бумагой и конвертами для писем и, кажется, еще сладости. Несколько дней спустя я получила от него открытку, но не его

рукой написанную, а по его поручению аббатом Монере:

«Княгине Красинской, «отель де Бэн», Пломбиер, 27 августа 1951 года

Благодарю за подарок. Я не могу писать сам, так как я болен. Привет всем. Целую Ваши руки. Преданный Вам, Генри Марр.

Написано аббатом Монере, семинария Фаверне».

Потом аббат сообщил мне, что Марра перевезли в Везуль, в госпиталь. Вскоре вслед за этим я получила от директора семинарии печальное известие о кончине Г.Л. Марра:

«Аббат Эмэ Амбер, Директор Большой Семинарии Фаверне

Сообщаю Вам о кончине г-на Генри Марра, произошедшей в пятницу, 21 сентября, в госпитале Везуль. Г-н Марр очень страдал в последние дни».

Такое же извещение я получила от директора госпиталя, где Марр скончался, «по поручению самого Марра», что меня глубоко тронуло:

«Центральный госпиталь Везуль. 23 сентября 1951 года. Г-же княгине Красинской, 10, Вилла Молитор, Париж (16)

Мадам, согласно последней воле г-на Генри Марра, я имею честь сообщить Вам, что он скончался 21 сентября 1951 года. Похороны состоялись 23 сентября 1951 года.

Мадам, примите мои искренние приветствия. Директор».

«Итак, – заключает она, – не стало моего дорогого Г.Л. Марра. Но я была счастлива, что судьба дала мне возможность хоть два раза его повидать перед его кончиной и хоть немного утешить его старость и согреть его сердце добрым словом, по письмам я знаю, он очень ценил мое внимание к нему. – Царствие ему Небесное, милый Марр».

2

Не все писавшие о ней в разное время восторгались ею, как «милый Марр». Не все причисляли к когорте великих танцовщиц современности, как Арнольд Хаскелл.

В 1950 году она получила по почте только что вышедшую в Париже «Историю русского балета со дня его основания до наших дней» Сергея Лифаря с дарственной надписью автора. Кусала губы, переворачивая страницы: история, называется! Сплошные

домыслы, предположения, натяжки. Имя ее называлось непременно рядом с именем Преображенской, словно речь шла о сиамских близнецах, а не об отличных друг от друга балетных индивидуальностях, занимавших, к тому же, разные ступени в театральной «табели о рангах». Автор прозрачно намекал, что уже в начале своей карьеры молодые Павлова и Карсавина грозили оттеснить ее на второй план – препятствием было лишь ее исключительное влияние в театре. Что заграничный ее успех был достаточно скромен в сравнении с успехом Павловой, которую Европа носила буквально на руках. И так далее – в том же духе. Милый Серж оказался настолько неделикатным, что не посчитал необходимым поместить ее фотографию на отдельном листе. Друг дома, называется, «матушкой» зовет!

Не исключено, что именно тогда, черкая карандашом страницы «Истории» (книги на самом деле вовсе не исторической, глубоко личной, неудачно просто названной), пришла она к мысли: довольно спорить с недобросовестными мемуаристами, терпеть оценки со стороны! Пора рассказать о себе самой.

Не последним аргументом в пользу такого решения мог послужить читательский и, как следствие, коммерческий успех вышедших при ней воспоминаний М. Фокина, А. Бенуа, В. Нижинского, Ф. Шаляпина, Т. Карсавиной. Если книгой мемуаров можно возбудить к себе общественный интерес и к тому же заработать, подсказывал здравый смысл, почему, собственно говоря, не попробовать?

Сама она объясняет причину, толкнувшую ее взяться за перо и бумагу, туманно-мистически. Как, убкрашая под Рождество елку, неудачно поскользнулась, зацепившись за ковер, сломала ногу. Как после тяжелой операции в госпитале услышала голоса во сне – догадалась: к ней взывают с небес души убиенных членов царской семьи. Как, пробудившись, в слезах, грезила до рассвета, вспоминая прожитую жизнь.

«Какая-то неведомая сила толкнула меня на этот шаг, как бы все время подсказывая, что я должна это сделать».

Книга далась ей нелегко, потребовала немало душевных сил. Перед началом работы, разбирая сохранившиеся в доме бумаги, пришла она к неутешительному выводу: письменных свидетельств – кот наплакал. Не существовало более семейного архива, начатого еще прадедом, Войцехом Кржесинским. Остался в России девичий ее дневник, фотографии, черновики, записки. Пропали во время революции бесценные для нее письма наследника престола. Рассчитывать приходилось по большей части на собственную память.

Наивно полагать, что уселась она за стол с желанием

говорить правду, одну только правду и ничего кроме правды. Даже если на минуту предположить, что дело обстояло именно так, из затеи ее ровным счетом ничего бы не вышло. Намерению публично исповедаться воспрепятствовал бы в первую очередь сам избранный ею жанр, сущностную природу которого – лгать, излагая истину, – замечательно подметил едва ли не самый искренний в истории мемуаристики автор (исключая разве что протопопа Аввакума) – Жан-Жак-Руссо:

«Никто не может описать жизнь человека лучше, чем он сам. Его внутреннее состояние, его подлинная жизнь известны только ему. Но, описывая их, он их скрывает: рисуя свою жизнь, он занимается самооправданием, показывая себя таким, каким он хочет казаться, но отнюдь не таким, каков он есть. Наиболее искренние люди правдивы, особенно в том, что они говорят, но они лгут в том, что замалчивают; и то, что они скрывают, изменяет таким образом значение того, в чем они лицемерно признаются. Говоря только часть правды, они не говорят ничего».

Мемуаристке с древнегерманским именем Матильда, обозначающем «опасная красота», было что скрывать, что замалчивать. Было на кого оглядываться, когда дело касалось сомнительных сторон своей жизни. Не будем забывать: во все время работы над книгой за спиной ее стояли многочисленные цензоры. Родственники, друзья, коллеги по сцене. Императорский Двор в изгнании, озабоченный возможностью обнародования фактов, бросающих тень на память покойного монарха. Собственный супруг, фактически – соавтор, менее всего расположенный ворошить сомнительные моменты из бурного прошлого театральной жены. Сын, считавший маменьку идеальной женщиной. Каждый вольно или невольно подталкивал в сторону ее перо.

И все же главным цензором «Воспоминаний» была, вне всякого сомнения, она сама. Самолюбивая девочка из многодетной семьи польских эмигрантов, сделавшая одну из головокружительнейших карьер в истории русской сцены, ставшая под конец жизни светлейшей княгиней, породнившаяся (неважно, когда и при каких обстоятельствах) с царским домом Романовых.

Ни о каком публичном вывешивании исподнего белья взявшаяся за сочинительство восьмидесятилетняя экс-примадонна русского императорского балета – такая демократичная, открытая, такая искренняя, – не помышляла. Задуманная на излете дней книга, напротив, должна была стать ее последним блистательным выходом на публику, победной кодой, венчающей прекрасный и трагический спектакль ее жизни.

Простим ей великодушно стремление предстать перед потомками в наилучшем свете. Натяжки, украшательства. Неоправданную хулу в чужой адрес. Бог ей судья! – не она первая, не она последняя. Скажем спасибо за великолепные картины детства и юности, годы балетного ученичества, описание Петербурга конца девятнадцатого – начала двадцатого века, выразительные портреты современников, с которыми она дружила или враждовала (середины у нее не было – или – или), за беспощадный по искренности изложения рассказ о русской кровавой революции, разрушившей до основания, растоптавшей ее мир.

«Я сделала что могла, – вправе повторить она латинскую поговорку. – Кто может, пусть сделает лучше».

3

Вчитаемся поглубже в текст «Воспоминаний». Занятие это подчас не менее занимательно, чем разгадывание крестословиц (простите, кроссвордов) или шарад.

Мелькает на страницах книги имя – Ольга Преображенская.

Вот неразлучные подружки с училищных еще времен Маля и Оля, недавно принятые в театр, едут кататься в свободный день на санях по набережной Невы. Обгоняют идущую строем роту гвардейцев с оркестром, когда раздаются внезапно звуки музыки. Испуганная лошадь шарахается, несется прочь, сани переворачиваются. Итог прогулки – синяки и шишки, но кто, скажите, в молодые годы обращает внимание на такие пустяки? Вот эпизод более поздней поры. Начинающую балерину Мариинского театра Кшесинскую приглашают на гастроли в Монте-Карло. В поездке ее сопровождают брат Юзя, Бекефи, Кякшт и Олечка Преображенская. Вот воспоминание о том, как, исполняя в течение нескольких лет заглавную партию в «Коппелии», она решает передать ее кому-либо из солисток. Выбор падает на Оляшу, недавно удостоенную звания балерины. Вот, задумав объединить в гран-па балета «Пахита» ведущих танцовщиц театра, она намечает список участниц феерического представления: она сама, А. Павлова, Т. Карсавина, О. Преображенская, В. Трефилова…

И сразу – стоп! Имя подруги бесследно исчезает со страниц воспоминаний. Появляется в образовавшейся лакуне некое безымянное лицо женского пола – то, что в старинных романах обозначали заглавной буквой «N». Лицо откровенно антипатичное, с ворохом омерзительных свойств: и сплетница, и интриганка, и рецензентов бессовестно подкупает, и собственных

поклонников провоцирует на хулиганские выходки во время ее выступлений, – ничего общего с чудесной-расчудесной Оленькой, хотя речь, вне всякого сомнения, идет именно о ней…

Дружба их была типично девчоночья – союз красотки и дурнушки. Как и почему выделявшаяся среди массы учениц императорского училища высокомерная экстерница Кшесинская обратила внимание на учившуюся классом выше рыжеватую корявенькую пепиньерку Преображенскую, можно только гадать.

Видеть их вдвоем было странно. Стоят, тесно прижавшись, у окна во время перемены, о чем-то взволнованно шушукаются, – хорошенькая, в модном костюмчике, похожая на порхающую бабочку Маля, а рядом – ни вида, ни прелести – серая мышь в интернатовской полотняной униформе. Влюблены друг в дружку до невозможности, водой не разольешь…

Ах, эти подростковые привязанности, сколько в них всего намешано! Наивной экзальтации, готовности не задумываясь отдать за дорогое тебе существо жизнь. Нетерпимости, холодного эгоизма, жестокости.

Неравный их альянс таил в зародыше будущую вражду. Самолюбиво-капризной Матильде не приходило в голову, что рядом с ней – живой, ранимый человек, личность не менее одаренная, чем она. Что лишенной привлекательности Оляше вовсе не безразличен ее успех у мужчин, постоянные измены. Что неимущая подруга не в восторге, когда у нее на глазах щеголяют в парижских нарядах, сорят деньгами, получают дорогие подарки от поклонников.

Трещина в их отношениях углубилась с приходом обеих в театр. Театральное закулисье с его нравами: делением на враждующие лагери, борьбой за роли, гонорары, бенефисы, внимание прессы – окончательно отдалило их друг от друга, сделало непримиримыми антагонистками.

«Мне пришлось испытать и другие неприятности от товарок по сцене, – читаем в «Воспоминаниях». – Одна из танцовщиц, впоследствии занявшая видное место в труппе, ничего из себя не представляла при выпуске из училища и добилась результатов только трудом и неимоверной настойчивостью. С первых шагов ее на сцене я всячески старалась ей помочь и много раз за нее хлопотала у того же всесильного Петипа. Но за это она мне заплатила неблагодарностью и интригами против меня. В этом она, несомненно, пользовалась советами одного очень влиятельного в то время журналиста, который был с виду милым и симпатичным человеком, но на самом деле был способен на самые невероятные поступки». (Речь идет, по всей видимости, о балетном критике Н. Безобразове. – *Г.С.*)

В словах Кшесинской – и правда, и неправда.

Неправда, что блестяще проявившая себя во время учебы в балетной школе Преображенская «ничего из себя не представляла при выпуске». Правда то, что, делая стремительно карьеру, сметая преграды на своем пути, Кшесинская не забывала о прежней дружбе, оказывала при случае подруге необходимое покровительство. Что на каком-то этапе последняя ощутила себя достаточно уверенно, чтобы освободиться, наконец, от тесных Малечкиных объятий, заявить о себе в полный голос.

Истины ради следует заметить: выдающуюся впоследствии балерину и педагога Ольгу Иосифовну (Осиповну) Преображенскую менее всего можно было назвать тихой овечкой. Простолюдинка, закаленная в жестоком мирке балетного пансиона, острая на язык любимица публики кусаться умела не хуже Кшесинской.

«Нелегким был ее путь к успеху, – пишет о ней в воспоминаниях Тамара Карсавина. – Она начинала как танцовщица кордебалета и постепенно, шаг за шагом поднималась к вершине. Своей виртуозностью танцовщица была обязана своему учителю Чекетти, а возможно, в еще большей мере своему непоколебимому мужеству. Чекетти по утрам был занят в училище, Преображенская днем репетировала, а вечерами выступала в театре, принимая участие не только во всех балетах, но и почти в каждой опере, где присутствовали танцевальные дивертисменты. И только по окончании спектакля она шла на урок к маэстро, заканчивавшийся поздно ночью. Артисты очень уважали ее за настойчивость и любили за мягкий характер. Всех радовали ее успехи».

Противостояние вчерашних подруг носило по большей части мелочной характер, крови соперницы ни та ни другая, слава богу, не жаждали. Старожилы Мариинки с удовольствием вспоминали комический эпизод, происшедший на первом представлении балета «Тщетная предосторожность». На сцене в числе театрального реквизита находилась клетка с живыми курами, открывшаяся почему-то именно в тот момент, когда из-за кулис вылетела со своим танцем Преображенская. Обезумевшие куры метались по помосту, растерянная исполнительница – между ними; в зале стоял гомерический хохот. «Подставку», разумеется, приписали Кшесинской, хотя за полгода до этого та уехала из-за тревожных событий 1905 года из России и жила в это время в Каннах.

Их обросшая легендами вражда продолжилась по-своему в период эмиграции, когда обе занялись балетным преподаванием. Лечивший ту и другую муж ученицы Кшесинской Нины

Прихненко доктор С.Г. Авакянц (сам он в молодости занимался в студии Преображенской) со смехом рассказывал, как обе попеременно выпытывали у него разного рода секреты, касающиеся друг дружки, умоляя при этом всякий раз не проговориться «на той стороне».

«Следы прежней Кшесинской я вижу в продолжающемся, несмотря на преклонные годы обеих, соперничестве с Преображенской, – пишет в «Балетомании» хорошо знавший обеих А. Хаскелл. – Кшесинская принимала больше иностранцев и молодых танцовщиков, хотя и вырастила таких артистов, как Рябушинская, Лишин, Тараканова. Преображенская воспитала большинство «babies» Базиля во главе с Бароновой и Тумановой. Третий великий педагог из Мариинки, балерина Любовь Егорова, вышедшая замуж за великосветского друга Кшесинской (князя Никиту Трубецкого. – *Г.С.*), сохраняла нейтралитет».

Заочно их примирила смерть.

Пережившей на десять лет «заклятую подругу» Кшесинской достало благородства воздать должное сопернице, написать в заключительной главе «Воспоминаний»:

«Современные танцовщицы много сильнее прежних по своей технике, и в этом я ничего не вижу плохого. Техника идет вперед – это естественно, но среди них теперь мало таких артисток, какими были: Розита Мори, Анна Павлова, Тамара Карсавина, Вера Трефилова, Ольга Преображенская, Ольга Спесивцева – у них нет той силы в игре, которая была раньше».

4

Чувством вины, запоздалым раскаянием пронизаны строки мемуаров, касающиеся великого князя Сергея Михайловича.

Каким был горячо любивший ее человек? Какое место занимал в ее жизни? Как был вознагражден за поразительную преданность?

«Мой четвертый брат Сергей Михайлович (он был на три года моложе меня), – читаем в «Воспоминаниях великого князя» А.М. Романова, – радовал сердце отца тем, что вошел в артиллерию и в тонкости изучил артиллерийскую науку. – В качестве генерал-инспектора артиллерии он сделал все, что было в его силах, для того, чтобы в предвидении неизбежной войны с Германией воздействовать на тяжелое на подъем русское правительство в вопросе перевооружения нашей артиллерии. Его советов никто не слушал, но впоследствии на него указывали в оппозиционных кругах Государственной Думы как на «человека, ответственного за нашу неподготовленность». Эта привычка бросать нож в спину

мало удивляла Сергея Михайловича. В качестве воспитанника полковника Гельмерсена, бывшего адъютанта моего отца, брат Сергей избрал своим жизненным девизом слова «тем хуже» («tant pis»), которые были излюбленной поговоркой этого желчного потомка балтийских баронов. Когда Гельмерсену что-нибудь не нравилось, он пожимал плечами и говорил «тем хуже» с видом человека, которому все, в сущности говоря, было безразлично. Воспитатель и воспитанник продолжительное время поддерживали эту позу, и понадобилось довольно много времени, чтобы отучить моего брата на все обижаться – манера, которая дала ему прозвище «Monsieur Tant Pis». Как и я, он был близким другом императора Николая Второго в течение более сорока лет, и следовало только пожалеть, что ему не удалось передать долю критического отношения полковника Гельмерсена своему высокому другу из Царского Села. Сергей Михайлович никогда не женился, хотя его верная подруга, известная русская балерина, сумела окружить его атмосферой семейной жизни».

Не раз, надо полагать, возвращалась Кшесинская мыслью к человеку, любившему ее с таким самоотречением и страстью. Готовому ради нее на все.

Их двадцатидвухлетняя связь, супружество по существу, была для него цепью нескончаемых душевных испытаний. Хранить верность единственному мужчине она не умела. Отдавалась бездумно очередным увлечениям, множила со страстью коллекционерки число обожателей.

Исправить ее он не мог, расстаться с ней ему недоставало сил.

Был момент: терпению его пришел конец, он объявил, что женится. Она устроила ему бурную сцену, потребовала порвать немедленно любые отношения с намеченной избранницей. Добилась своего – зачем, спрашивается, с какой целью?

Он был ее собственностью – как выстроенный на его деньги дворец-модерн на Каменноостровском, купленная в Стрельне приморская дача. Волевой человек, генерал, командовавший в войну русской артиллерией, не анахорет вовсе, напротив – достаточно еще молодой, привлекательный мужчина, нравившийся дамам, забывал в ее присутствии о достоинстве, делался мягким как воск, шел на моральные компромиссы. Как надо было прихлопнуть его каблучком, какую возыметь над ним власть, чтобы удержать возле себя после очередной измены – язык не поворачивается произнесть! – с родным его племянником? Заставить простить неверность, делить ее с наивным мальчишкой? Дать рожденному от соперника малютке свое отчество, называть сыном, трогательно о нем заботиться?

Вряд ли ей не приходило в голову, что в мученической его смерти повинна косвенным образом и она, оттолкнувшая его в роковую минуту, не настояв на отъезде вместе с ней и Вовой в эвакуацию из мятежного Петрограда. Живя в относительной безопасности на Юге, несколько успокоившись после пережитого, она предприняла запоздалую попытку ему помочь, выручить из беды.

«Меня угнетала мысль, что Великий Князь Сергей Михайлович остался в Петербурге, подвергая себя совершенно напрасно опасности, – читаем в «Воспоминаниях». – Я стала ему писать и уговаривать его приехать также в Кисловодск. Но он все откладывал приезд, желая сперва освободить мой дом, о чем он усиленно хлопотал, а кроме того, он хотел переправить за границу оставшиеся от матери драгоценности и положить их там на мое имя. Но это ему не удалось, так как английский посол, к которому он обратился, отказался это сделать. Кроме того, Великий Князь хотел спасти мебель из моего дома и перевезти ее на склад к Мельцеру, что, кажется, ему удалось, хотя наверное не знаю. Во всяком случае, это оказалось бесполезным. Когда П.Н. Владимиров, оправившись после своего падения, уезжал в октябре 1917 года обратно на службу в Петербург, он обещал мне помогать Великому Князю Сергею Михайловичу насколько сможет и свое обещание выполнил. Владимиров предполагал потом вернуться в Кисловодск, но написал мне, что он сейчас не может приехать, так как не хочет оставить Великого Князя Сергея Михайловича одного и хлопочет об его переезде в Финляндию. Из этого ничего не вышло, так как бумаги были выправлены только для Сергея Михайловича, а для его человека нет, а без него он, больной, не мог ехать. Но кроме того, Великий Князь боялся покинуть Россию, как и многие члены Императорской фамилии, чтобы этим не повредить положению Государя. Когда он закончил все мои дела и хотел выехать в Кисловодск, оказалось уже слишком поздно, большевики захватили власть в свои руки, и бегущие с фронта солдаты просто выбрасывали пассажиров из вагонов, чтобы самим доехать скорее домой. Путешествовать по России тогда было невозможно…»

Год спустя его не стало.

«Великая княгиня Елизавета Федоровна, великий князь Сергей Михайлович, а также князья Иоанн, Константин и Игорь Константиновичи и с ними князь Владимир Павлович Палей, сын великого князя Павла Александровича от его брака с княгиней Ольгой Валерьяновной Палей, – пишет в книге воспоминаний «В мраморном дворце» в.к. Гавриил Константинович, – были ранней весной 1918 года сосланы в Вятку, а затем в Екатеринбург. Летом

1918 г. короткое время содержались в г. Алапаевске Верхотурского уезда Пермской губернии. В ночь на 18 июля их всех повезли из Алапаевска по дороге в Синячиху. Вблизи этой дороги были старые шахты. В одну из них их сбросили живыми, кроме великого князя Сергея Михайловича, который был убит пулей в голову, а его тело сброшено также в шахту. Затем шахта была заброшена гранатами».

Чувство к ней он пронес в буквальном смысле слова – до могилы. Когда выполнявшая поручение Верховного правителя Сибири адмирала Колчака следственная комиссия обнаружила в шахте под Алапаевском изуродованные тела членов царской фамилии и их приближенных, на шее великого князя Сергея Михайловича нашли золотой медальон с ее фотографией и выгравированной надписью – счастливыми датами их близости – «21 августа – Маля – 25 сентября».

«Такой души ты ль знала цену?» – приходят на ум лермонтовские строки.

Ответа мы не узнаем никогда.

5

Она предавала, ее предавали.

В первый год эмиграции на виллу в Кап д'Ай, где она в то время жила, принесли под Рождество почтовую открытку из Ниццы, подписанную: «Н.П. Карабчевский». Тут же, не читая, она порвала ее на мелкие кусочки, выбросила в урну. В лицемерных поздравлениях она не нуждалась!

Знаменитый российский адвокат и судебный оратор, выигравший в свое время не уступавшее по резонансу делу Дрейфуса «дело Бейлиса», был хорошим ее знакомым. Встречались в обществе, мило общались. Жена его Ольга Константиновна была пылкой ее поклонницей, хранила в альбоме, по собственному признанию, целую коллекцию ее фотографий. Карабчевский однажды уговорил ее принять участие в домашнем спектакле по собственной пьесе-фантазии с пением и танцами. Затея была прихотью баловавшегося музыкальным сочинительством дилетанта, милой чепухой: по ходу действия она «оживляла» танцевальными движениями и пантомимой голоса прятавшихся за ширмой певиц. Но публике, судя по всему, понравилось. Вызывали на поклоны, бросали цветы. Ворвавшийся после представления в уборную Карабчевский целовал руки, кричал с шутливым пафосом: «Матильда Феликсовна, умоляю: убейте кого-нибудь! Дайте мне возможность выступить вашим защитником! Честью клянусь: суд признает вас невиновной!»

Так повернулась жизнь, что ей действительно понадобилась вскоре его помощь. Вынужденная скрываться после февральских событий у друзей, она прослышала: особняк ее на Каменноостровском, занятый большевиками, методично обворовывается. Тащат посуду, столовое серебро, одежду, мебель. Что-то надо было срочно предпринять, остановить грабеж. Знакомые подсказали: Николай Платонович свой человек в Таврическом дворце, дружен с министром юстиции Временного правительства Керенским, вхож в его кабинет…

«Вот, подумала я, как раз подходящий случай выступить в мою защиту, хотя я никого и не убивала, но все же нахожусь в очень трудном положении, – вспоминает она на страницах книги. – Я позвонила Карабчевскому по телефону в полной уверенности, что он мне поможет и замолвит за меня слово у Керенского, чтобы меня оградить от неприятностей. Но результат получился совершенно неожиданный. Николай Платонович ответил мне, что я Кшесинская и что за Кшесинскую в такое время хлопотать неудобно, и потом продолжал в том же духе. Я не стала дальше его слушать, резко повесила трубку и подумала, что пословица верно говорит, что друзья познаются в беде». (Как помним, плюнув в конце концов на лукавых лжепокровителей, она затеяла собственными силами судебный процесс против большевиков и блистательно его выиграла.)

В мыслях не держала, что после случившегося между ней и Карабчевским возможны какие-либо отношения. И ошиблась.

«Осенью 1923 года, 21 октября, – продолжает она рассказ, – ко мне на виллу «Алам» приехал с визитом Н.П. Карабчевский с женою. Когда мне доложили об их приезде, я была крайне удивлена. Если бы он приехал один, может быть, я его и не приняла бы, но мне неловко было отказать его жене в приеме. Тяжело было видеть, как этот старик, гордость и слава русской адвокатуры, вошел ко мне и чуть не бросился на колени передо мною, умоляя о прощении, что отказался прийти ко мне на помощь после переворота. Он мне стал даже жалок, как жалки были и многие другие после переворота: позднее раскаяние, подумала я… Чтобы загладить свою вину передо мною, он просил меня дать ему возможность написать мои воспоминания, так как он знал меня хорошо. Но я отказалась от этого предложения».

6

Вообразите мужа, невозмутимо обсуждающего с любимой женой свеженаписанные страницы рукописи, в которых та предается воспоминаниям о днях бурно проведенной молодости.

Называет имена поклонников, признается в испытанных к ним когда-то чувствах, вспоминает обстоятельства, детали.

Испытанию такого рода она подвергла в процессе совместной работы великого князя Андрея Владимировича, с которым прожила в мире и согласии более полувека.

Вряд ли не подумал хоть раз этот вовсе не бесчувственный, несмотря на возраст и болезни, человек, глядя на сидящую рядом за рабочим столом старую подругу: «Какая же ты, однако, была, радость моя, невероятная кокотка!»

Среди последних представителей рода Романовых было немало незаурядных личностей. Знаменитый историк, автор многочисленных научных монографий Николай Михайлович, расстрелянный большевиками в Петропавловской крепости. Выдающийся военачальник, Верховный главнокомандующий в Первую мировую войну Николай Николаевич-младший, ответивший в свое время Григорию Распутину на вопрос, не может ли тот приехать в Ставку: «Приезжай, повешу». Поэт, президент Российской академии наук Константин Константинович, печатавшийся под псевдонимом «К.Р.».

Великого князя Андрея Владимировича вряд ли можно причислить к их числу – особыми талантами спутник жизни Кшесинской не блистал. Тяготел к тихим кабинетным профессиям. Окончив Михайловское артиллерийское училище, пожелал продолжить учебу в Александровской военно-юридической академии, был зачислен по ее окончании в военно-судебное ведомство. Трудился в упомянутой Академии над переводами иностранных военно-уголовных уставов. Командовал недолгое время батареями конной лейб-гвардии, имел звание флигель-адъютанта, полковничий чин, состоял в Свите Его Величества государя Николая Второго. Часто болел, ездил по курортам, лечился.

По-своему характеризуют личность великого князя принадлежащие его перу дневниковые записи времен Первой мировой войны, недавно обнаруженные в архивах. Находясь в Ставке командующего Северо-Западным фронтом генерала Н.В. Рузского в должности штабного порученца, он оказался свидетелем чудовищной безалаберщины и неразберихи, царивших в командовании фронта и тыла: отсутствия четкого стратегического плана компании, противоречивых, безграмотных приказов, деградации начальственного состава армии, воровства, предательства, беспомощности высшей власти, неспособной остановить надвигавшуюся катастрофу, лившей воду на мельницу врага.

В записках его прослушивается явственно оппозиционная

нота.

«Теперь снова монотонная жизнь в Седлеце, – читаем в дневнике. – Делать нечего. Гуляешь, читаешь, пишешь, спишь, ешь, вот и все… Сколько напрасных жертв, а главное, моральных страданий для тех войск, которые должны были отступить назад, бросив кровью взятые места! Кто возместит эту нравственную муку? А без этой нравственной веры победы не бывает… Нынешний приезд Государя в Ставку совершенно атрофировал штаб Верховного главнокомандования. В первый приезд Государь осыпал штаб милостями. Ну, вот и к этому приезду они приготовились, и действительно, их снова покрыли милостями. Но милость милостью, а дело делом. Но вот со дня приезда Государя в Ставку 22 октября все застыло. Никаких указаний больше не дают и сыплют телеграмму за телеграммой о наградах, а о войне как будто и забыли. Все это очень грустно, ибо в результате – лишние жертвы… Когда Государь был у нас в Седлеце, 26 октября в 8 вечера, то из разговоров за столом и затем частной беседы Рузского с государем было видно, что он вовсе не в курсе дела. Многое его удивляло, многое интересовало. Рузский представил ему карту с боевым расписанием. Когда Рузский уходил, государь вернул ему карту, на что Рузский сказал: «Ваше Величество, не угодно ли сохранить эту карту?» Государь спросил: «А можно ли?» Это мелочь, конечно, но характерно то, что он три дня был в Ставке, и там ему общего плана войны не указали (да был ли он, вот еще вопрос?)».

По складу характера Андрей Владимирович не был бойцом, качествами характера дражайшей половины не обладал ни в малейшей степени. По свидетельству хорошо знавших его людей был человеком добрым, порядочным, отзывчивым. Менее всего думал о карьере, уклонялся от житейских сложностей, плыл безвольно по течению. Будучи после гибели царской семьи в порядке престолонаследия третьим в списке мужчин императорской династии на соискание российской короны (вслед за братьями Кириллом и Борисом), предпочел не вмешиваться в споры-раздоры, разгоревшиеся после обнародования в 1924 году Манифеста, провозгласившего старшего брата императором Всероссийским в изгнании. Составил вместе с женой верноподданническое заявление для печати, в котором признал права последнего, благословил Кирилла на великий подвиг во имя будущего великой России.

Единодушия по этому вопросу среди восемнадцати здравствовавших на тот период времени членов семьи Романовых мужского пола не было, скорее – наоборот.

«Ваше Императорское Высочество! – писала в октябре 1924

года великому князю Николаю Николаевичу-младшему вдовствующая императрица Мария Федоровна, бывшая на тот срок по законам Российской империи неоспоримой блюстительницей престола. – Болезненно сжалось мое сердце, когда я прочла Манифест великого князя Кирилла Владимировича, объявившего себя императором Всероссийским. Боюсь, что этот манифест создаст раскол и ухудшит положение и без того истерзанной России. Если Господу Богу, по Его неисповедимым путям, угодно было призвать к Себе моих возлюбленных Сыновей и Внука, то Я полагаю, что Государь Император будет указан нашими Основными Законами, в союзе с Церковью Православной, совместно с Русским народом».

Юрист по образованию, знавший великолепно законы, в том числе и законы престолонаследия, Андрей Владимирович не мог не сознавать шаткости притязаний старшего брата на императорскую корону, неоспоримых прав, которые имели на нее другие члены царствующего Дома, в частности сестра покойного монарха великая княгиня Ксения Александровна, а также сын последней от брака с великим князем Александром Михайловичем – Андрей Александрович. Смалодушничал ли тогда спутник жизни Кшесинской, проявил ли апатию – сказать сложно, но благонамеренный его жест был по достоинству оценен: «младшенький» получил в скором времени должность при Дворе – пост председателя Совещания по вопросам об устройстве императорской России при новоиспеченном монархе. Супруге его княгине Марии Федоровне Красинской (до принятия православия – Матильде Феликсовне Кшесинской) императорским указом 1935 года был присвоен титул светлейшей великой княгини Красинской-Романовской. Сын их Владимир согласно новому, специально разработанному Положению о статусе потомков морганатических союзов, испросивших доизволения на брак у главы Династии, стал великим светлейшим князем, Их Императорским Высочеством…

Роли бывших любовников по отношению друг к другу изменились на старости лет. Когда-то она была у него на содержании, стремилась любыми путями удержать возле себя, заставить жениться. Теперь он, не имевший за душой ничего, кроме великокняжеского титула и букета хронических недугов, вынужден был мириться с ее главенством в семье, материально от нее зависел. Ученицы балетной студии взирали равнодушно на появлявшегося в репетиционном зале аккуратного старичка с веником и лейкой в руке: великий князь убирал во время получасового перерыва помещение. Покончив с уборкой, принимался поливать цветы в вазонах.

– Андрюша, поторопись, пожалуйста! – окликала его из своего кресла у окна Кшесинская, – ты мне мешаешь!

В мае 1950 года ей пришло приглашение из Лондона. Пятнадцать существовавших на тот период времени английских балетных студий, объединившись в Федерацию классического танца, постановили избрать ее почетным президентом и просили прибыть для участия в организационном собрании и сопутствующих мероприятиях.

Лондонскую рабочую неделю по прибытию на английские острова она провела, что называется, на рысях. Встречалась с прессой, участвовала в разработке планов Федерации на ближайшие годы, инспектировала учебные центры, в частности – балетную школу «Сэдлерс-Уэллс», руководимую Арнольдом Хаскеллом, давала показательные уроки, принимала экзамены, подписывала удостоверения выпускникам студий, смотрела новые балетные постановки, завтракала, обедала, ужинала в обществе друзей и учеников.

Сопровождавший ее супруг особого интереса у окружающих не вызывал. Молчал по большей части, кланялся машинально во время церемоний, когда называли его имя, глотал незаметно пилюли. Выхода «Воспоминаний» в свет и, как следствие, оскорбительных толков в свой адрес он не дождался – умер в возрасте семидесяти семи с половиной лет, установив своеобразный рекорд по части продолжительности жизни мужского поколения Романовых, о чем она не преминула с известным чувством гордости заметить в послесловии «Воспоминаний».

Отпевали спутника ее жизни в Александро-Невском соборе Парижа – в присутствии членов Двора, высших чинов духовенства, большом стечении народа. Перевести его останки в семейную усыпальницу в Контрексевиле, где были похоронены его мать и младший брат, ей не удалось. Место последнего упокоения председатель Общества взаимопомощи офицеров лейб-гвардии конной артиллерии, председатель Русского историко-генеалогического общества, генерал-майор Свиты Его Величества великий князь Андрей Владимирович Романов нашел на Русском кладбище в Сен-Женевьев де Буа под Парижем. В соседстве с соотечественниками из мира литературы и искусства, военными, шоферами, слесарями, швеями, посудомойками. Здесь, под чужим галльским небом, среди православных каменных крестов, он терпеливо ее дожидался…

Глава пятая

1

– Доброе утро, госпожа княгиня! Ранний моцион, как обычно? – Тучная, в пестром переднике соседка развешивает белье на покосившемся балкончике. – Как ваша собачка? Водили к ветеринару?

– Здравствуйте, мадам Арну, спасибо. Видите, она уже самостоятельно ходит.

– Хромает, бедняжка.

– Старенькая. Как хозяйка…

– Ну, про вас этого не скажешь… – Мадам Арну перевешивается тяжелой грудью через решетку. – Как вам нравится эта ненормальная семейка напротив? Видели представление у них во дворе? Нет? Слава богу! Вообразите: резали в честь какого-то своего мусульманского праздника барана! В палисаднике, на виду у всей улицы! Меня и сейчас еще трясет, как вспомню. – Соседка встряхивает мокрую простынь. – Во что превратили Париж, скажите? Шагу нельзя ступить: всюду эти грязные арабы, алжирцы. Не сидится им в своей Африке – едут, едут, плодятся как кролики. – Она глядит озабоченно наверх: – Дождь собирается. Зря, наверное, я затеяла стирку.

Мими настойчиво тянет ее за поводок. Вместе они обходят запущенный, в зарослях дикого боярышника дворовый садик. Собачонка нервно обнюхивает кусты, ищет местечко поудобней, чтобы присесть.

Тесно застроенный квартал на пересечении Моливер и Мари-Анж мало-помалу оживает. С треском распахивается ставня на втором этаже, сонная старуха в чепце вываливает на подоконник полосатую перину – для проветривания. Показался усатый уборщик с метлой, мрачно озирает захламленный тротуар. Пробежали, торопясь на работу девушки из соседнего универсального магазина; прогрохотала по мостовой нагруженная доверху тележка зеленщика; промчался, чадя синим дымом, автомобиль. За мутной пеленой облаков не видно солнца, сеется лениво над черепичными крышами серенький парижский рассвет.

– Все, довольно, Мими! Домой!

Тяжело дышащая болонка с высунутым влажным язычком выразительно поднимает на нее глаза.

– Опять на руки? Ну, нет, извини!

Поднявшись по каменным ступеням на крыльцо, отворив

дверь, она зажигает лампочку в прихожей. Подхватывает под теплое брюшко любимицу, идет в ванную, моет терпеливо пережидающей ненавистную процедуру Мими грязные лапы. Посидев некоторое время за трюмо, приведя себя в порядок, идет в кабинет на втором этаже, садится к секретеру, достает писчую бумагу, ручку, конверт. До завтрака, пока не пришла кухарка, можно сочинить на свежую голову письмо…

«Милая Татуля, спасибо за теплую весточку, – пишет Тамаре Карсавиной в Лондон. – Я, слава Богу, на ногах, тружусь, а это, как ты понимаешь, для меня сейчас самое главное. Помнишь слова романса: «В движеньи мельник жизнь ведет, в движеньи»? Так и я. Пока двигаюсь – живу… Что происходит в нынешнем году с погодой, скажи? Не вылазим буквально из дождей, печи в июне топим, опасаемся нести на хранение в холодильник меховые вещи: того и гляди снег повалит… Не терпится сообщить тебе новость: на прошлой неделе была на выступлении московского балета. Ты наверняка читала о его гастролях в Париже. Хотя со смертью Андрея я никуда почти не выезжаю, на этот раз решила сделать исключение, приобрела билет и поехала в Оперу. Жаль, что тебя не было рядом. Веришь, я плакала от счастья, глядя на сцену. Я увидела прежний балет, тот, которому мы посвятили с тобой жизнь. Сохранилось главное – суть, душа классики, романтический ее дух. Техника, разумеется, ушла вперед, иначе и быть не могло. Виртуозность, к счастью, не стала у русских танцоров самоцелью, как часто приходится наблюдать в Европе и в Америке, она служит самовыраженью артиста, созиданью на сцене Красоты. Прием москвичам публика устроила самый сердечный, артистов долго не отпускали со сцены, овации звучали не переставая. У меня было желание подняться за кулисы и расцеловать восхитительную Галину Уланову, но я вовремя спохватилась, понимая, во что может обойтись подобный пассаж советской артистке. Отыскав присутствовавшего в зале А. Хаскелла, я вручила ему цветы и попросила найти Уланову и выразить от меня благодарность и восхищение прекрасным ее искусством, что он и сделал».

Россия и родной балет не покидали ее мыслей. После гастролей во Франции русских артистов с ответным визитом в Москву отправилась представительная труппа Парижской Оперы. Глядя по телевизору репортаж из Большого театра, она не могла усидеть на месте. Вскакивала с кресла, аплодировала, кричала «браво!» при виде танцевавшей на главной балетной сцене мира ученицы, прима-балерины Гранд-Опера Иветт Шовире, – «крылатой Иветт», как называл ее Серж Лифарь (устраненный к тому времени от руководства Оперой из-за лояльного отношения

к немцам в период оккупации).

В альбоме одной из ее учениц Ангелины Васильевны Барышевой сохранилось написанное ее рукой двустишие:

Ничто не даст забыть Россию дорогую,
Где я по-прежнему в мечтах своих танцую.

Сын принес однажды с книжной выставки популярный в СССР журнал «Огонек» с фотоочерком о Ленинградском хореографическом училище. Волнуясь, разглядывала она снимки, рассказывавшие о буднях любимой «альма матер». Те же коридоры, классы, репетиционные залы, учебный театрик Те же как будто лица учеников – девочек и мальчиков. Знакомый, незабываемый мир! Какую бурю чувств вызвал он в ее душе, сколько родил воспоминаний!

С цветной вкладки журнала ей улыбалась энергичная старушка со смутно угадываемыми чертами лица. Аккуратные седенькие буколькн на лбу, орден в петлице крапчатого жакета. Как явствовало из подписи под фотографией – народная артистка РСФСР, профессор-хореограф Агриппина Яковлевна Ваганова. Автор капитального труда «Основы классического танца», создательница прогрессивной системы преподавания балета, широко применяемой в учебной практике страны.

Она качала в изумлении головой. Груша Ваганова – профессор? Воспитатель подрастающего поколения? Учебники пишет? Невозможно поверить! Не было, кажется, в театре второй такой сорвиголовы, как она. То отмочит во время репетиции что-нибудь такое, что все вокруг умирают со смеха. То режиссеру надерзит. То умудрится, исполняя на сцене вариацию, сделать знак сидящим в зале поклонникам. («Кордебалет ведет себя развязно, вплоть до мимических переговоров с публикой, – писал балетный критик «Петербургской газеты» Николай Безобразов. – Отличается по этой части особенно госпожа В-нова».) Штрафовали ее бессчетное число раз, задерживали продвижение по службе – все попусту. Звание балерины Ваганова получила за месяц до выхода на пенсию, в тридцать шесть лет. Для прощального бенефиса попросила у нее разрешения станцевать Нерилью в «Талисмане» – роль, принадлежавшую ей по праву примадонны. Бенефициантке она отказала – не помнила уже, по какой причине, скорее всего из простого нерасположения…

Она чуть было не принялась сочинять под впечатлением минуты письмо в Ленинград обиженной когда-то товарке по сцене. Вовремя спохватилась: чего это я, право? Смешно же, глупо – через столько лет! Бог милосердный простит, коли виновата.

Оставшиеся в России бывшие соратники по искусству не выходили у нее из головы. Работал в Ленинграде Александр Викторович Ширяев. Милый, очаровательный Саша! Фантазер, непоседа, бесконечно влюбленный в балет. Носился когда-то с идеей зафиксировать на пленке сценический танец – со всеми его нюансами: техническими, художественными, психологическими. Купил за границей – за бешеные деньги! – кинокамеру, начал снимать во время репетиций одного за другим артистов Мариинки, чтобы сохранить для потомков живые их лица, особенности движений, хореографический язык. Начальство категорически запретило ему самоправные эксперименты – он перенес съемки к себе на квартиру, склеивал по ночам куски пленки, воссоздавал в сжатом пространстве коротких киносюжетов меняющиеся от постановки к постановке нюансы сиюминутной хореографии.

Не уехал, остался в Москве, развернулся вовсю Александр Горский. Брат Лидочки Лопуховой Федор сделался художественным руководителем балетной труппы Ленинграда. Обновляет на свой лад классику, поставил (по слухам, провалившуюся) бессюжетную «танцсимфонию» на музыку Бетховена – без декораций и костюмов. У желчного, болезненно честолюбивого Акима Волынского – частная балетная школа. Преподают в училище Вазем с Тихомировым. Катюша Гельцер – ведущая балерина, звезда Большого театра, любима публикой и властями. Надя Бакеркина – вот уж неожиданность! – уважаемая Надежда Алексеевна, заведующая балетным отделом Ленинградского театрального музея.

Может, и ей не следовало уезжать?

Стукнула себя выразительно по лбу: как подобная чушь может прийти в голову? Кшесинская, танцующая перед Сталиным! С ума сойти!

По окончании войны они с сестрой пытались узнать что-либо о судьбе старшего брата Иосифа-Михаила (Юзи), с которым была утеряна связь. Посылали в различные советские инстанции запросы – откликов не было никаких. Юлии в результате беспримерных усилий удалось, наконец, получить разрешение на кратковременный приезд в СССР – «по семейным обстоятельствам». В Ленинград ее не пустили – разрушенный, полувымерший город-призрак для иностранных посещений был закрыт. Единственное, что ей удалось выяснить за недельное пребывание в Москве: заслуженный артист республики Иосиф Кшесинский с женой находились во время 900-дневной ленинградской блокады в городе и оба скончались, по-видимому, зимой 1941/1942 года. Место их захоронения в настоящее время

не установлено…

После смерти Сталина, на заре так называемой «оттепели» у нее завязалась переписка с тогдашним директором Дома-музея Чайковского в Клину В.К. Журавлевым.

«Пошел тридцать первый год, что я имею школу танцев, и подчас удивляюсь, что она пользуется неослабевающим успехом, – сообщала она в одном из писем. – Ведь во время войны дома не отапливались, я схватила артрит и теперь уже много лет хожу с трудом и не могу как следует показывать движения. А все-таки учениц много и результаты получаются хорошие. У нас в эмиграции имеются дома для престарелых, созданные русскими общественными организациями и французскими властями. Я бы легко, конечно, могла найти в одном из них приют и покой. Но от жизни отрываться не хочу, не хочу и «записываться в старухи, доживающие свой век». Несмотря на немочь в ногах, я человек здоровый и бодрый духом, хочу жить и не сидеть сложа руки. Работать я должна, чтобы жить. Ведь средств к существованию у меня, помимо заработка, нет никаких, т. к. за границей у меня не было никакого состояния. Служить же родному искусству, передавать молодежи мое вдохновение – большая для меня радость и утешение».

Обмен посланиями с Журавлевым продолжался два с половиной года – с марта 1959 по ноябрь 1961-го. Она сообщала о работе над «Воспоминаниями», о своих питомицах, о том, что выписалась, слава Богу, из больничной клиники, где ей успешно удалили глазную катаракту. Благодарила за присланные книги о народных танцах, просила помочь в поисках оставшихся в России родственниках. Сообщала о желании своего друга, английского историка балета А. Хаскелла приехать в Клин. Отвечая на вопрос, довелось ли ей увидеть недавнюю постановку «Лебединого озера» в Grand Opera, писала, что, к сожалению, нет, однако она живо помнит премьеру балета в Мариинском театре («Вторая картина Лебединого озера (лебеди), по ее словам, была шедевром Л.И. Иванова»).

В одном из писем Журавлев посетовал, что музей не располагает материалами, касающимися ее артистической деятельности, конкретно – участия в балетах на музыку Петра Ильича Чайковского, просил прислать фотографии, поделиться воспоминаниями. Откликнувшись на просьбу, она отправила в Клин дипломатической почтой костюм для Русского танца и туфельки, в которых танцевала последний раз в «Лебедином озере», а также экземпляр вышедших к тому времени «Воспоминаний» на французском языке (вышла одновременно и английская версия в переводе А. Хаскелла). Туфельки и костюм

музей получил, книги в посылке не оказалось. После очередного обмена посланиями она выслала Журавлеву машинописный оригинал воспоминаний на русском языке, также не дошедший до адресата. Тщетно пытался Журавлев отыскать его следы – мемуары балерины-эмигрантки после неизбежного цензурирования в идеологических инстанциях надолго были упрятаны в «спецхране» Государственной публичной библиотеки имени Ленина, где пролежали два десятка лет, пока не были извлечены на свет во времена либеральных российских реформ и напечатаны 50-тысячным тиражом в московском издательстве «Артист. Режиссер. Театр». Книги на родном языке она так и не увидела.

В 1962 году ей исполнилось девяносто. Когда утром первого сентября – со вкусом одетая, нарумяненная, с убранным под сетку перманентом, – она вошла, опираясь на трость, в танцевальный класс, ее встретил марш из вердиевской «Аиды» в исполнении аккомпаниаторши. Над головами выстроившихся у стенки учениц взвился рукописный плакатик акварелью: «Madam, nouf vouf aimons! Nouf vouf felimitonf avec votre annivercaire!» («Мадам, мы Вас очень любим! С днем рождения!») Староста подготовительной группы, шаловливая и непоседливая Каролина Шарье, поднесла, склонившись в реверансе, букет дивных роз, девочки дружно зааплодировали.

Она была растрогана.

– Идемте, дети, в гостиную, – произнесла. – Посидим, поговорим. Успеем еще напрыгаться.

Смотрела на болтавших, аппетитно жующих бисквиты питомиц, радовавшихся случаю немного полентяйничать. Заметила с улыбкой:

– Какие вы все у меня хорошенькие!

– А вы, мадам, девочкой тоже были хорошенькая? – осведомилась с набитым ртом Каролина.

– По-моему, я была миленькая.

– А в мальчиков влюблялись?

Взрыв веселого смеха за столом.

– Влюблялась, разумеется. – Глаза у нее молодо блестели. – Тайком, с предосторожностями. Открыто выражать свои чувства считалось в наше время неприличным. В балетном училище, где я занималась, отчислили из шестого класса очень одаренного воспитанника, забыла его имя. За одно только, что на уроке он передал девочке, которая ему нравилась, любовную записку.

– Как глу-у-по! – послышался чей-то голос.

– Может, и глупо… – Она перебирала в задумчивости кисть скатертной бахромы. – Но это было тогда в порядке вещей. Так

нас воспитывали – и дома и в школе. Недаром говорят: у каждого времени свои песни. Своя мораль… Я часто думаю, – продолжила, – о современной молодежи. Она мне импонирует. Независимостью, умением постоять за себя. В вашем возрасте мы были другими. Сентиментальнее, чувствительнее. Писали друг дружке пламенные письма, изливали душу на страницах дневников. Старшая моя сестра Юлия, взрослая тогда уже барышня, без пяти минут выпускница училища, упала у меня на глазах без чувств, увидев в палисаднике замерзшую птичку. Воображаете?.. Инфантильность – конечно же не лучший помощник в делах, тут не о чем спорить. Когда идешь в магазин за покупками, полезно знать, что и почем: без этого нынче не проживешь. И все-таки… – Она на короткое время умолкла, задумавшись. – Будучи зрительницей, я ни за что не поверю танцующей Джульетте, которая держит в уме стоимость модных сапожек, увиденных накануне в витрине универсама. Понимаете, о чем я? Как ни старайся, ни заламывай руки, ни крути фуэте, приземленность натуры обязательно выплывет наружу. Как запудренная бородавка. Зритель немедленно это почувствует! Без возвышенной души, дети, невозможно истинное вдохновение. Трудно высоко взлететь. Великая Павлова была непрактична – до изумления. Вацлав Нижинский, пока сам не стал руководить труппой, понятия не имел, какой гонорар положен артисту за выступление. Оба были идеалистами, высоко держали голову, глядели за горизонт. В жизни им это часто мешало, они спотыкались о любое случайное препятствие. Зато на сцене были как боги…

Она тяжело поднялась, опираясь на палку.

– Ну вот и поговорили. А теперь – к стеночке, милые барышни! Незаменимое место для будущих великих балерин…

2

Мы могли встретиться, поговорить. Я мог слетать в Париж, она приехать в СССР. Увы, при жизни Кшесинской подобные вещи были невозможны – ни для нее, ни для меня.

В год, когда она отмечала в Париже свое девяностолетие, будущий ее биограф напечатал в ташкентском журнале «Звезда Востока» первую повесть, получил ошеломляющий гонорар, равный трехмесячной зарплате собкора досаафовской газеты «Советский патриот», взял по этому поводу в редакции отпуск и полетел к родственникам в Ленинград – просаживать нагрянувшее богатство. Жил в бывшем «Англетере», гулял по Невскому, бродил по эрмитажным залам, смотрел в

Ленинградском театре оперы и балета имени С.М. Кирова балет Б. Асафьева «Бахчисарайский фонтан». Плавал туристским катером по заливу мимо развалин ее стрельнинской дачи, видел на противоположном берегу Финского залива, в Зеленогорске (бывших Терийоках) другую ее дачу, принадлежащую ныне консульству США. Ходил по следам Кшесинской, не подозревая, что когда-то и я заинтересуюсь ее личностью, буду писать о ней книгу.

Что-то менялось тогда в жизни моей страны; задувал неслышно ветерок грядущих перемен. Стало возможным ставить неудобные вопросы, допускалась с оговорками мысль, что кое-что в свое время делали не так, как надо, в чем-то, возможно, ошибались. Дискутировался под свежим углом зрения вопрос о духовном наследии русского народа, подчищались страницы истории, повествующие о вчерашних злейших врагах революции: царских генералах и министрах, буржуазных политиках, ученых, философах, писателях, служителях церкви. Советские люди узнавали о П. Столыпине, А. Керенском, А. Кони, А. Колчаке, А. Деникине, И. Бунине, А. Белом, М. Цветаевой, С. Рахманинове, В. Комиссаржевской, С. Дягилеве, С. Морозове.

Имени Кшесинской среди них не было – словно бы она вообще не существовала на свете. Не поддающееся здравой логике табу на ее личность продолжало действовать еще долгое время – вплоть до начала девяностых годов прошлого столетия, пока замечательный историк и критик балета Вера Михайловна Красовская – выпускница того же училища на улице Росси, что и она, питомица танцевавшей с ней на одной сцене Агриппины Яковлевны Вагановой, – не посвятила ей специальную главу в фундаментальном труде «Русский балетный театр начала XX века» (познакомиться с которым настоятельно советую читающим эти строки).

Как прожила она последние годы? Кто был с ней рядом, поддерживал, согревал?

Сын прежде всего – тоже почти старик, нуждавшийся в ней не меньше, чем она в нем. Доживавшая свой век в дальней комнате особняка, не показывавшаяся никогда при гостях, душевно больная сестра Юлия. Супруги Грамматиковы, Георгий Александрович и Елизавета Павловна, продолжавшие прислуживать в доме. Серж Лифарь, прощенный, наконец, властями за коллаборационистское прошлое, возглавивший балетную труппу Монте-Карло. Неизменно преданный Хаскелл. Ученицы – Татьяна Рябушинская, Иветт Шовире, Диана Менухина, Нина Прихненко (последняя, закончив профессиональные выступления на театральных подмостках, часто подменяла

хворавшую учительницу на уроках в балетной студии).

Навещала старую покровительницу, гостила у нее подолгу бывшая камеристка Нина (Антонина) Нестеровская, жившая в Болье с мужем, великим князем Гавриилом Константиновичем. Им было о чем вспомнить, посмеяться, взгрустнуть. За телевизором, картами, разговорами коротали вечера, спускались в садик – посидеть перед сном на скамейке, подышать ночной прохладой.

– Вообрази, мон шер, – рассказывала она с жаром подруге, – какого рода встречаются нынче балетные артистки! Приходит ко мне недавно одна… ведущая танцовщица Оперы, заметь. Просит поставить ей что-нибудь из «Эсмеральды». Да-да, именно так и выражается: симпатичный какой-либо фрагмент из балета «Эсмеральда». У меня язык к небу прилип: совершенно не могу понять, о чем речь, чего от меня хотят? На мою просьбу объяснить, что конкретно гостья имеет в виду, какой именно балетный эпизод ее интересует, слышу ответ… держись, пожалуйста, за спинку кресла… Что это ей абсолютно безразлично. Как я решу, так и будет… Слыхала ты что-нибудь подобное, скажи? Я – нет! Профессиональная балерина понятия не имела, что невозможно просто так вырвать из балетной пьесы кусок… сцену сумасшествия героини, допустим, – без полной утраты смысла представляемого. Что существуют такие понятия, как сюжет, фабула… логика поведения персонажа… динамика развития его чувств… Что вариация напрямую от этого зависит… В общем, чтобы не входить с ней в дальнейшие объяснения и споры, которые, я была уверена, все равно ни к чему бы не привели, я ответила, что в данное время очень занята и не могу с ней заняться. Сообщу, как только освобожусь…

– Не беспокоила больше?

– Слава Богу, нет.

Говорили о моде, новых кинофильмах, постановках Джорджа Баланчина в Америке и Европе («Эффектно, Нинель, не спорю, но смысла постичь я не в состоянии. Балет без либретто, сценографии, костюмов? Все равно что симфония без мелодии и ритма».) Вспоминали безвозвратно улетевшие годы юности, имена друзей, несчастную Оленьку Спесивцеву, лучшую из балетных Жизелей, помещенную, по слухам, в психиатрическую клинику. Сетовали на судьбу, разбросавшую их в разные стороны. Не с кем слова вымолвить в тяжелую минуту, излить наболевшее.

С Ниной ей было покойно, легко. Старая приятельница была по-житейски практична, деловита, несуетна. Безунывная, веселая, всегда всем довольная добивалась своего без видимых усилий, словно бы играючи.

В незапамятные времена, в счастливую, безоблачную пору жизни она устроила грандиозный прием в Стрельне по случаю дня своего рождения, назвала толпу гостей. Приказала развесить на территории сада красочные афиши, в которых извещалось, что на праздничном вечере выступят артисты Императорских театров: Павлова, Кшесинская, Преображенская, Гельцер, будет подан ужин у Фелисьена, по окончанию которого зажгут великолепный фейерверк, что на станцию Стрельня прибудет специальный экстренный поезд для гостей, которым можно будет вернуться обратно в город. В конце афиши жирным шрифтом было напечатано: благотворительную продажу шампанского на вечере любезно согласилась взять на себя артистка балета Н. Бакеркина.

Правдой в афише были только фейерверк и поезд, остальное – розыгрыш. Именинный вечер она задумала как театральный «капустник», где роль знаменитых балерин решено было пародировать. Кшесинскую и Преображенскую изображал старый друг дома барон Готш, Павлову в «Жизели» Миша Александров, Катю Гельцер из «Дон Кихота» Нина Нестеровская, в ту пору – кордебалетная танцовщица. Сама она изображала Бакеркину, торгующую за столом шампанским. Нацепила для сходства куда только можно всевозможные брошки, одна из которых, как любила это делать Бакеркина, красовалась у нее на лбу.

Во время затянувшегося до утра праздника двадцатилетняя обворожительная хохотушка Ниночка (Тоня – как звали ее подруги) вырвала, что называется, у судьбы спутника жизни. Закружила голову, влюбила в себя застенчивого великана, великого князя Гавриила Константиновича, сына президента Российской академии наук Константина Константиновича, печатавшего стихи под псевдонимом «К.Р.». То была любовь с первого взгляда, не затихавшая, несмотря на преграды, многие десятилетия.

В 1918 году в Петрограде обоих арестовали. Сидя в камере, Нина нашла лазейку к председателю ЧК Моисею Урицкому, получила у него бумагу на перевод тяжелобольного Гавриила в тюремную больницу, осталась при нем сиделкой. Не успокоилась на этом. С помощью врача, лечившего когда-то Максима Горького, добилась разрешения перевести больного на домашний режим. Поселилась вместе с ним на Кронверкском проспекте – в квартире Горького и тогдашней его жены М.Ф. Андреевой, занимавшей пост комиссара театров и зрелищ Петрограда.

– Что бы о Горьком ни говорили, – вспоминала пережитое Антонина, – человек он был достойный. Сердечный, совестливый. Встретил нас приветливо, предоставил большую комнату в четыре окна, сплошь заставленную мебелью. Я выходила из дому редко,

Гаврюша ни разу не вышел. Обедали мы за общим столом с Горьким и другими приглашенными. Бывали у них часто заведомые спекулянты, большевистские знаменитости. Я видела Луначарского, Стасову. Захаживал, представь себе, на огонек Шаляпин. Ни дать ни взять – Ноев ковчег…

Андреева выбила в конце концов у властей распоряжение на выезд обоих за границу. Нестеровская перевезла еле живого князя через финляндскую границу на саночках. Гавриил Константинович, которого отпустили умирать, довольно скоро выздоровел, получил часть отцовского наследства, приобрел на Лазурном Берегу виллу. Тоня, ставшая во Франции великой княгиней Романовской-Стрельнинской, после переезда супругов в Париж открыла по примеру многих титулованных русских дам модный дом «Бери» на рю Виталь. В коммерции не преуспела, перебралась с мужем в Болье, где великий князь Гавриил Константинович подрабатывал организацией на дому для желающих партий в бридж.

Историк моды А. Васильев приводит в книге «Красота в изгнании» интервью, взятое им у соседки Антонины Нестеровской по дому в Болье Н.А. Оффенштадт.

«В их квартире, – рассказывала та, – весь коридор был увешан семейными фотографиями. Гавриил Константинович как-то сказал: «А мне и здесь тоже начало нравиться». Жили они дружно и часто устраивали чаепития. В пожилом возрасте Антонина Рафаиловна напоминала больше русскую простолюдинку чем княгиню. Но как только она начинала говорить, сразу чувствовалась близость к великокняжеским кругам с их изысканными оборотами речи. Она была настоящая светская дама. Видимо, жизнь среди Романовых сделала ее такой. А как только она закрывала рот, то опять начинала походить на русскую бабу с косой вокруг головы. Она всегда приносила моим детям шоколадные конфеты, за это мы прозвали ее «шоколадная княгиня».

В день их встречи Нина захватила с собой купленную накануне книгу мемуаров Тамары Карсавиной «Театральная улица». Читали по очереди друг дружке наиболее интересные места, живо комментировали, вспоминали товарок по сцене. Молодых когда-то, экзальтированных, темпераментных, выбегавших вместе с ними на поклоны. Изменчивых, манерных, лживых, с чувствительной нервной кожей, накладными ресницами и нарисованными глазами. Падких на комплименты, преувеличенно реагировавших на хорошее и плохое, перемывавших друг другу косточки за кулисами, называвших одна другую за глаза кокотками и стервами. Балетных кумирш,

чьих-то возлюбленных. Старых старух теперь, как и они, доживавших – кто где – свой век.

– Хочешь, споем? – Сухонькая, с заблестевшими глаза Нина, подсела к фортепиано, открыла крышку, тронула осторожно клавишу, взяла первый аккорд. – Помнишь?

– Растворил я окно, стало грустно невмочь, – вывела нежным своим, не потерявшим детской наивной простоты и ясности голосом. – Опустился пред ним на колени…

– Ну что же ты? – обернулась. – Давай!

– И в лицо мне пахнула весенняя ночь.

Благовонным дыханьем сирени, – слаженно запели обе.

А вдали где-то чудно так пел соловей,
Я внимал ему с грустью глубокой
И с тоскою о родине вспомнил своей,
Об отчизне я вспомнил далекой,
Где родной соловей песнь родную поет
И, не зная земных огорчений,
Заливается целую ночь напролет
Над душистою веткой сирени.

Как созвучен был в тот вечер их настроению любимый Тонин романс, написанный Чайковским на слова ее свекра, великого князя Константина Константиновича! Какую вызвал бурю чувств! Как освежил душу!

Долго еще после ухода Нины звучал в голове обворожительный мотив. Уносил в туманную даль памяти, радовал, печалил…

Близкие люди советовали ей переехать в дом престарелых. Есть, уверяли, вполне приличные. В Йере неподалеку от Ниццы, в Кап д'Антиб, в Нормандии, на бывшей даче давнего ее приятеля герцога Евгения Максимилиановича Лейхтенбергского. Все сравнительно недорогие, с круглосуточным уходом.

Она махала в ответ руками:

– Ну их, к богу, эти богадельни! Дома помру. Недолго осталось.

На тот свет, впрочем, не торопилась. Не оставляла работу в балетной студии – уроки вела, сидя в кресле-качалке, по полтора часа в день. Живо интересовалась новостями – выписывала газеты, смотрела телевизор, играла «по маленькой» в картишки с заглядывавшими на огонек гостями. Не признавала, как прежде, диету: ужинала в десятом часу, ела с аппетитом непрожаренный бифштекс с картофелем, позволяла себе перед закуской рюмочку водки. Была образцовой прихожанкой православного собора на

рю Дарю: регулярно посещала службы, делала скромные пожертвования. Раз в два месяца ездила с сыном в Сен-Женевьев де Буа – положить цветочки на могилу Андрея. Не ожесточилась, не озлобилась на окружающий мир, как часто случается со стариками – посмеивалась над собственными немощами, называла себя: «заслуженный французский инвалид».

В 1969 году ее навестили, предварительно созвонившись, выступавшие в Париже звездные супруги, солисты Большого театра Екатерина Максимова и Владимир Васильев. Приехали инкогнито, с оглядкой, движимые молодым любопытством, рискуя неприятностями со стороны театральных властей за «контакт» с неисключенной из проскрипционных списков махровой монархисткой.

«Нас встретила в гостиной, – вспоминает Е. Максимова, – абсолютно седая маленькая высохшая женщина с молодыми, полными жизни глазами. Мы сказали, что имя ее, несмотря ни на что, помнят в России.

– Думаю, что и не забудут никогда, – ответила она, помолчав».

Судьба подарила ей на закате дней дружбу с удивительной женщиной. «Королевой ночного Парижа», как называла ее российская эмиграция, певицей шансона Людмилой Лопато. Несмотря на разницу лет, обе почувствовали с первой же встречи родственную душу, прониклись взаимной симпатией. В прославленной исполнительнице русского и цыганского романса, у ног которой побывал не один десяток мужчин, старая балерина увидела себя в незабываемую пору жизни. Молодой, обаятельной, окруженной толпой поклонников.

Люсина жизнь просилась на страницы авантюрного романа. Родилась накануне Первой мировой войны в семье богатого табачного фабриканта-караима в Харбине. Училась пению в русской консерватории в Париже у Медеи Фигнер, брала уроки у замечательных мастеров камерного пения – Александра Вертинского, Надежды Плевицкой, Нюры Массальской, Насти Поляковой, Изы Кремер. Вышла замуж за сына кинопромышленника из Нью-Йорка Никиту Рафаловича, уехала в Америку. За океаном пела в ресторане «Русская чайная комната», выпустила несколько пластинок. Вернувшись во Францию, обвенчалась с датчанином, графом Джоном Филипсеном, открыла собственный ресторан, выступала в русском кабаре «Динарзад», снималась в кино и на телевидении, играла в Театре Елисейских полей роль Маши в «Живом трупе» Л. Толстого.

Знавшая накоротке по заокеанскому периоду жизни многих владельцев и режиссеров кинокомпаний Голливуда, загорелась

мыслью – подбить приятельницу на переговоры о перенесении на экран ее любовного романа с Николаем Вторым.

– Посредничество, милый друг, с вашего согласия беру на себя, – объявила деловито.

Они в тот раз не на шутку повздорили. Предложений подобного рода поступало к ней великое множество. От американских, французских, немецких киностудий. Специально прилетал с этой целью в Париж после войны знаменитый английский режиссер Александр Корда, чью ленту «Леди Гамильтон» она смотрела несколько раз. Обаял, льстил.

– Поверьте, мадам, – уговаривал за вечерним столом в присутствии сына, – менее всего я настроен снимать бульварную вещь. Этого я попросту не умею делать. Обещаю сохранить во всем, что касается характера ваших отношений с покойным монархом, величайшее чувство такта. Если пожелаете, готов пригласить графа Красинского (поклон в сторону молчаливо внимавшего Вовы) консультантом картины…

Сын склонял ее к согласию. Приводил в качестве аргумента удачную сделку, совершенную в свое время князем Феликсом Юсуповым с компанией «Метро Голдвин Майер», отвалившей ему изрядный куш за кинокартину об убийстве Распутина.

– Отчего, в самом деле, не заработать достойным путем? – недоумевал узнавший о предложении англичанина Серж Лифарь.

– Странные какие вы люди, господа! – возмущалась она. – Как у вас все просто! Отчего, объясните, никто не предлагает снять фильм о балерине Кшесинской? Об артистке, которая вроде бы значила чего-то в искусстве? С Петипа работала, Фокиным. С Павловой танцевала, Карсавиной, Нижинскому открыла дорогу. У всех на уме одно: сделать из наших отношений с Ники клубничку. Не бывать этому никогда!

Как ни убеждали ее друзья и близкие, какие ни приводили доводы, мнения своего она не изменила: соблазнительный с коммерческой точки зрения сюжет «Матильда Кшесинская и Николай Романов» в руки кинопромышленников так и не попал.

3

Чем дальше удалялся в прошлое девичий ее роман с Николаем, тем идеальней рисовался ей его образ. Никакой дотошный историк не сумел бы отыскать в личности последнего из русских царей столько привлекательных черт, чем это сделала врачующая ее память. Задолго до нынешних реабилитантов причислила она первого своего мужчину к лику святых новомучеников. Хранила бережно среди домашних реликвий

форменную его гусарскую фуражку. Отмечала ежегодно шестого мая день его рождения, заказывала торжественный обед, зажигала свечи перед висевшим в спальне его портретом в серебряной раме с дарственной надписью на обороте.

Никто никогда, ни в бытность ее в России, ни в эмиграции, не слышал от нее худого слова в адрес императрицы Александры Федоровны. Женщины, нанесшей ей когда-то душевную рану, разлучившей с возлюбленным. Следователь по особо важным делам Николай Алексеевич Соколов, бравший у нее и мужа показания в Париже в связи с расследованием обстоятельств гибели царской семьи, отмечал, с какой деликатностью и тактом говорила великая княгиня Красинская о покойной монархине, в частности – о деяниях последней в годы, предшествовавшие катастрофе. Красинская, по его словам, была убеждена: приписываемые Александре Федоровне истеричность и религиозный фанатизм были следствием отчаяния от невозможности помочь больному ребенку, что, потеряв веру во врачей, она последнюю свою надежду возложила на милосердного Бога. Назвала поведение императрицы в Тобольске накануне расстрела супружеским и материнским подвигом. «Если в чем-то и была грешна, – записал Соколов ее слова, – все искупила перед страшным своим концом».

На протяжении многих лет Кшесинская с мужем собирали документы и свидетельства, связанные с обстоятельствами расстрела в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге монарших узников. Читали обнародованные письма Николая Второго и императрицы друг другу, тайные послания Александры Федоровны из неволи близким людям, в частности – переписку ее из Тобольска с сердечной подругой, бывшей фрейлиной Двора Анной Вырубовой.

(«Прошлое кончено, – писала в одном из писем Вырубовой Александра Федоровна. – Благодарю Бога за все, что было, что получила, – и буду жить воспоминаниями, которые никто у меня не отнимет… чувствую себя матерью страны и страдаю как за своего ребенка и люблю мою Родину, несмотря на все ужасы теперь… Ты же знаешь, что нельзя вырвать любовь из моего сердца, и Россию тоже…» «Голодно, – сообщала в другом. – На завтрак черный хлеб и чай, на обед – пустой суп и котлета. Температура в доме достигает 7 градусов…» «Sunbeam» уже неделю болен, в постели. Когда тебе писала, был здоров. От кашля, если что-нибудь тяжелое поднял, внутри кровоизлияние, страшно страдал…» «Знаю, что Вас беспокоит здоровье Солнышка. Рассасывается быстро и хорошо. От того ночью сегодня были опять сильные боли. Вчера был первый день, что

смеялся, болтал, даже в карты играл, и даже днем на два часа заснул. Страшно похудел, и бледен, с громадными глазами. Очень грустно…» «Снег шел опять, но яркое солнце. Ножке медленно лучше, меньше страданий, ночь была лучше наконец. Ждем сегодня обыска…» «Два дня, что снег падает, но быстро тает – грязь и мокрота. Я уже полнедели не выхожу – сижу с ним и слишком устала, чтобы вниз спускаться…» «Я вяжу носки для маленького. Он требует еще пару, так как все его в дырках… Я сейчас делаю все. Папины штаны порвались и нуждаются в штопке, и нижнее белье девочек в лохмотьях… Я стала совсем седой».)

Собственные суждения княгини Красинской и ее супруга, основанные на изученном материале, не всегда совпадали, а в ряде случаев шли вразрез с выводами (считавшимися неопровержимыми) следователя Соколова, проведшего тщательное обследование мест убийств царской семьи и семерых великих князей, опросившего на месте множество свидетелей.

Один из принципиальных моментов несовпадающих версий, породивший не прекращающуюся по сей день дискуссию – взгляд на чудесное воскрешение из мертвых младшей дочери царя Анастасии (точнее – истории с несколькими претендентками, предъявлявшими в разное время права на это имя).

Самая знаменитая среди них и самая, безусловно, таинственная – появившаяся в 1921 году в Берлине и тут же отвергнутая семьей Романовых (несмотря на убедительные свидетельства в ее пользу) – Анна Андерсон.

С разрешения вдовствующей императрицы Марии Федоровны великий князь Андрей Владимирович с женой проследили шаг за шагом обстоятельства невероятного ее побега из большевистских застенков, изучили переданные ею записи и документы. После встречи с Андерсон в Париже в 1928 году, многочасовой напряженной беседы с безупречно себя державшей собеседницей оба признали в ней свою племянницу.

История претендентки на царское родство обрела в результате новое звучание, судебные власти Германии нашли притязания Андерсон юридически правомочными. В 1933 году в Берлине должны были начаться предвещавшие мировую сенсацию судебные слушания по установлению личности одиозной истицы.

Рассмотрение громкого дела, увы, так и не началось: Европу охватили события совсем иного рода. К власти в Германии пришли фашисты. Вспыхнула мировая война. Самый длинный в истории минувшего столетия судебный процесс переносился множество раз из-за бесконечных проволочек и состоялся в западногерманской столице Бонне лишь спустя тридцать с

лишним лет – в 1967 году.

Девяностопятилетняя к тому времени Кшесинская рвалась появиться в суде, чтобы в присутствии мало теперь походившей на прежнюю Анны Андерсон заявить под присягой, что та доподлинно – ее племянница Анастасия Романова, в чем она и покойный супруг никогда не сомневались. Сын был категорически против: не хотел осложнений с Двором, по-прежнему считавшим Андерсон самозваной авантюристкой.

Дома царила нервозная обстановка, домашние ходили на цыпочках. Масла в огонь подлила нагрянувшая на тихую, респектабельную виллу Молитор киногруппа французского режиссера Жильбера Протэ, снимавшего документальную ленту о процессе Анастасии. Настойчивый Протэ после бурных препирательств с родственниками и домочадцами пробился в спальню бывшей возлюбленной русского царя. Сотрудники тянули через комнаты электрический кабель, устанавливали съемочную аппаратуру, регулировали освещение.

Цитируем далее выдержку из книги: Peter Kurth. Anastasia. The Lief ot Anna Anderson. L., 1984:

«– Княгиня, – спросил Кшесинскую Протэ, – в 1928 году в Париже вы встретились с женщиной, в то время называемой «Неизвестной из Берлина».

– Да, я ее видела.

– И что вы подумали?

– Что это Анастасия Николаевна…

– Нет! – закричал по-русски сын. – Нет! Замолчи! Ты должна говорить только то, что написано!

Написано было следующее: «Я никогда не была представлена великой княжне Анастасии Николаевне и видела ее только издали. Я могла сравнивать только приблизительно. Мое впечатление нельзя считать неоспоримым».

– Мы не утомили вас, мадам? – спросил Кшесинскую Жильбер Протэ, когда съемка кончилась. Диктофон он оставил включенным.

– Вовсе нет, все были так любезны…

– Вы были великолепны, мадам. Я знаю, что вы принимаете это дело близко к сердцу. Анастасия, мисс Андерсон… – пробормотал Протэ.

– Я и сейчас уверена, – произнесла Матильда Феликсовна, – что это она. Когда она взглянула на меня, ее глаза… это глаза Императора. Я действительно так думаю, это не пустые слова. Тот же самый взгляд. Взгляд Императора. Тот, кто видел его глаза, никогда их не забудет.

– А вы хорошо знали эти глаза? – осторожно спросил Протэ.

– Очень хорошо, – ответила бывшая возлюбленная императора – очень хорошо. Это она, я совершенно уверенна. Это – она».

4

Улетает неслышно время – за телевизором, письмами, ожиданием телефонного звонка, разговорами вполголоса с сидящим напротив сыном, зачитывающим ей вслух какой-то особенно впечатляющий отрывок из Мориака.

– А? Что ты сказал? Повтори, пожалуйста!

Знакомая до мелочей обстановка гостиной. Камин в форме готического храма. Софа с залоснившимися обюссонами, английские стулья с неудобными спинками. Тяжелые портьеры на окнах. Все на прежних местах, не менялось много лет…

– Скажи, мой друг, какой нынче в моде стиль мебели?

– «Баухауз», матушка.

– Да-да, припоминаю. Там, где, кажется, используют металлические трубы вместо дерева?

– Что-то в этом роде…

Мода, мода. Сегодня одно, завтра другое. Попробуй угнаться…

– Ваше лекарство, мадам!

Энергичная, деловая Мари в накрахмаленном передничке. Пичкает каждый час какой-нибудь гадостью.

– Хотите, приподнимем немного подушку? Привстаньте, пожалуйста… Еще чуточку… Так удобно?

– Спасибо, Мари!

После микстур и таблеток ее тянет в сон. Голова тяжелеет, клонится набок. Какое-то время она слышит словно бы на расстоянии невнятный голос сына. Окружающие предметы теряют очертания, плывут в пространстве. Покойный Андрей чистит зачем-то на кухне, точно денщик, заляпанные сапоги, трет остервенело по голенищами и носкам щеткой…

– Мама, вы меня слышите? Вам нехорошо? – теребит ее за плечи Вова.

– Успокойся, пожалуйста, со мной все в порядке… Читай, я внимательно слушаю.

Старый каштан в палисаднике скребет ветками о подоконник – чирк-чирк. Старый Париж за окнами. Стучат монотонно в полированном футляре, отсчитывают мгновения старые часы. Однообразное движение по кругу: врачи, лекарства, процедуры. Самое яркое событие последних дней – появление в доме чиновника окружной мэрии, явившегося уточнить дату ее

рождения. Затребовал паспорт (допотопный, «нансеновский», так и не обмененный на новый за полвека эмиграции), внимательно перелистывал. Ткнул выразительно пальцем в цифру «1872», произнес с пафосом: «Запах истории, мадам! И какой истории!» В Париже, объяснил цель своего визита, традиция с времен императора Бонапарта: чествовать официально граждан, достигших столетнего возраста. Через год, когда мадам отметит свой замечательный юбилей, муниципальные власти намерены провести (разумеется, с ее любезного согласия) торжественную церемонию у нее дома – в присутствии депутатов парламента, прессы, телевидения. Ей вручат приветственный адрес, диплом почетного жителя города, памятный знак… Есть у мадам какие-либо пожелания? На что мадам жалуется?

– На скуку, месье.

Гость натянуто улыбается, косит взглядом на выход.

– Удивительно, – замечает она, когда он целует ей на прощание руку, – насколько вы похожи на одного моего партнера по петербургскому балету. Лицо, фигура – абсолютная копия…

Она стала бояться в последнее время телефонных звонков – дребезжащий звук из висящей на стене черной коробки приводит ее в оцепенение. Снимешь трубку – непременно узнаешь какую-нибудь неприятную новость. Несколько недель назад услышала звонок, решила не подходить, ушла в соседнюю комнату. Телефон надрывался как бешеный – она не выдержала, взяла трубку. Звонила Нина Прихненко, сообщила с печалью в голосе: скончался Иван Ильич Мозжухин, с которым ее связывало столько лет трогательной дружбы. Всплакнула, уйдя в спальню. Разглядывала, сидя на кровати, фотографии Ивана в альбоме с теплыми надписями, вспоминала редкостной красоты и таланта артиста, уговаривавшего ее в России сниматься в кино, предлагавшего интересные роли, в частности – Бетти Тверскую в экранизации «Анны Карениной». Не щадил себя нисколько человек. Жил на широкую ногу, пил, гулял, водился с сомнительными личностями.

«Иван буквально сжигал свою жизнь, точно предчувствуя ее кратковременность, – писал о нем Александр Вертинский. – Вино, женщины и друзья – это главное, что его интересовало. Потом книги. Он никого не любил. Был очень широк, щедр и даже расточителен. Он как бы не замечал денег. Целые банды приятелей и посторонних людей пили и кутили за его счет. Деньги уходили, но приходили новые. Жил он большей частью в отелях, и когда у него собирались приятели и из магазинов присылали закуски и вина, ножа и вилки, например, у него никогда не было. Он был настоящей и неисправимой богемой, и

никакие мои советы и уговоры на него не действовали.

…Умирал Иван в Нейи, в Париже. У него началась скоротечная чахотка, он лежал в бесплатной больнице – без сил, без средств. Ни одного из его бесчисленных друзей и поклонников не было возле него. Пришли только цыгане, бродячие русские цыгане, певшие на Монпарнасе».

30 августа 1971 года за завтраком, в день тезоименитства боготворимого императора Александра Третьего, ей приходит в голову замечательная идея: прокатиться на пароходике по реке. Она хорошо провела ночь, прекрасно себя чувствует.

– Праздник же, господа! День Святого Александра! Доплывем до центра и обратно, воздухом подышим. Я уже забыла, как Сена выглядит.

Лечащий врач ее отговаривает: прогулки такого рода в ее положении крайне опасны. Сырой ветер, качка. Легкие в два счета можно простудить.

– Балерины, доктор, никаким качкам не подвержены, – находится она. – Спустимся в салон, оденемся потеплее. Часик какой-нибудь, не больше, а?

Утро на дворе – Божий дар. Солнечно, ясно, воздух кристальный после пролившегося перед рассветом короткого стремительного ливня. Пахнет умытой листвой, птицы отчаянно галдят в палисадниках.

Пристань у моста Мирабо, куда они прибыли на такси, запружена народом. Многокрасочное смешение одежд, разноязыкая речь. Щелкают без конца затворы фотоаппаратов, кричат в мегафоны устроители экскурсий. Летний Париж наводнен туристами, по большей части – иностранцами из Европы, Америки, Азии. Окруженная со всех сторон толпой пассажиров, слегка ошарашенная, плывет она в инвалидном кресле по трапу на руках волонтеров из Армии Спасения, специально вызванных для ее сопровождения. Вертит по сторонам головой, любуется обтекающей изумрудный массив Булонского леса рекой в ослепительных солнечных бликах, пустынными, в зарослях кудрявого кустарника, берегами, грядой белоснежных облаков на горизонте.

Люди откровенно, с любопытством ее разглядывают. Пестрая эта толпа в живописных каких-то лохмотьях: шелковых цветных сари, мини-юбках, шортах, сандалиях на босу ногу, пробковых колониальных шлемах, ковбойских шляпах, беззаботно о чем-то болтающая, жующая, хохочущая, кажется ей то ли участницей экзотического карнавала, то ли проводимой на берегу киномассовкой.

– Мама, как вы себя чувствуете?

– Спасибо, мой друг, замечательно!

В переполненном трюме речного трамвайчика – влажная духота, выхлопная гарь из машинного отделения, запах дешевых духов. Стучит монотонно под полом работающая турбина. Плеск воды за бортом, свежий ветер из иллюминатора. Взмывают стремительно в воздух, атакуя брошенный кем-то кусок бисквита, крикливые чайки.

«Сена втекает в Париж». Как замечательно сказано! Не вспомнить только, кем именно?

Идет параллельным курсом, проносится мимо двухэтажный нарядный трамвайчик. На палубах, в окошках – люди. Машут приветственно в их сторону, что-то неслышно кричат. Буксир тянет вверх по течению караван груженых шаланд. Ныряют по-утиному в волнах шустрые ялики. Пассажиры на скамейках салона шумно делятся впечатлениями, закусывают, обнимаются, целуются.

Проплыли под мостом Гренелль. Остались позади Елисейские Поля, мелькнул по правую руку Валь-де-Грас. Реку теснят с обеих сторон придвинувшиеся к набережной кварталы многоэтажных домов, скверы, сады, дворцы. Сена втекает в центр Парижа. Мост Альма… Мост Инвалидов… Украшенный позолоченными колоннами мост Александра Третьего. Сам именинник, говорят, закладывал первый камень в его фундамент…

– Вам не холодно, мадам? Наденете жакетку?

– Спасибо, не стоит.

Мост де ля Конкорд… Мост Руайяль… Мост Карусель… Потянулись слева ажурные башни и стены Луврского дворца.

Из капитанской рубки наверху звучат призывно удары колокола: пароходик втягивается медленно под каменные пролеты Нового моста, самого старого в Париже. Остров Ситэ – остановка. Теснясь на трапе, шумно переговариваясь, сходят на пристань туристы, направляющиеся к Тюильри, Нотр-Дам, Мадлен, в музеи Лувра, на Центральный рынок. На смену им поднимаются новые. Разговоры, шутки, смех. В салоне нечем дышать, она вспотела под шерстяным пледом, пробует расстегнуть застежку броши у горла…

– Нет-нет, мама, этого не следует делать!

Сигнал пароходного колокола – они отплывают. За стеклом иллюминатора медленно кружат, словно на карусельном кругу, пропадают из вида Сен-Поль-Сен-Луи, Сен-Шапель. Ее слегка подташнивает.

«Ваше лекарство, мадам», – голос Мари.

Господи, опять это пойло! Горечь омерзительная!

– Еще немного воды?

Она качает отрицательно головой, откидывается на спинку скамьи.

Пространство у нее перед глазами двоится, плывет. Кружит, ускоряя движение, выцветший, в мутно-серой дымке, небосвод, падают в бездну коробки зданий, набережная с фонарями и деревьями. Чья-то безжалостная рука все туже сжимает сердце…

«Кажется, ее укачало!»

«Мама, прилягте, прошу!»

«Может, попросить капитана причалить?»

«Придвиньте ее поближе к окну! Ноги повыше!»

Она плывет по знакомой реке…

Охтинский мост… Тучков… Троицкий… Гранитные набережные, соборы, дворцы, желтые фасады казенных зданий, вычурные особняки за чугунными оградами с белыми колоннами портиков… Купол Исаакия… Шпиль Петропавловской крепости… Александровская колонна…

Шприц, пожалуйста!.. Камфора!.. Грелки на ноги!

На Дворцовой набережной – не протолкнуться. Летят в обоих направлениях кареты, коляски, пролетки, тарантасы. Ясно: День святого Александра, никто не работает. С Васильевского острова движется в сторону Колокольной церкви крестный ход: иконы, кресты, хоругви, царские портреты. Странно: по календарю конец лета, а на людях – кафтаны, тулупы, длиннополые шубы-«сибирки», фризовые шинели, меховые салопы, шерстяные толстые платки. Щиплет щеки пряный морозец. Над городом, над Невой, над безбрежным миром кружит серебристая солнечная метель.

– Матильда Феликсовна, ау!

Федор Иванович свесился с парапета, машет энергично в ее сторону. Одет в тяжелые пышные облачения полководца Олоферна из «Юдифи», засыпан с ног до головы искрящимся снегом.

– Как же это вы так, матушка моя? – кричит с укоризной. – Забыли про мой бенефис!.. «Мно-огоо в том го-ороо-дее жен! – запевает неожиданно с чувством. – Зоо-о-лотоом ве-есь о-оон моо-о-ще-он. Бе-ей и-и тоо-опчи-ии и-их ко-оне-ом – в гоо-роо-оде-е-е буу-у-дее-ешь ца-а-ре-ом!» Торопитесь! – кричит. – Полчаса еще до начала! Успеете!

– Да, да! – ответствует она, проплывая мимо. – Только забегу на минуту домой переодеться!

– … Мама, вам лучше? – слышится откуда-то издалека голос сына. – Скажите что-нибудь!

– Где мы?

– Она, кажется, пришла в себя! Говорит!

– Дома, мусенька. Вы у себя дома, в спальне!

– Да, вижу…

– Господа, попрошу всех удалиться! У нас консилиум…

Дома, наконец! Так хорошо, так покойно. Поленья потрескивают в камине, вспыхивают малиновыми светлячками на лике Божьей Матери в углу. Андрюша в соседней комнате разговаривает с кем-то по телефону. Джиби – живой, господи! – не околел у нее на руках в окаянную зиму семнадцатого года, не засыпан солдатскими лопатами в мерзлый грунт у стрельнинской ограды, – свернулся напротив в кресле, смешно посапывает во сне. За окнами, на Каменноостровском проспекте, зажглись фонари. Пора одеваться, ехать в театр.

К подъезду подают автомобиль. В легкой шелковой шубке на плечах она ныряет в пахнущий кожей полутемный салон машины – прямехонько на колени к Сереже. Он жарко ее обнимает, колется усами. Безумный, нетерпеливый, как всегда. Автомобиль несется по безлюдному маслянисто-черному шоссе между скалистых утесов.

Знакомый пейзаж Лазурного Берега, запах хвои. Втекает в окна теплый как патока воздух. Сосновые рощицы под луной, ночное уснувшее море внизу. Отливают серебряной и пурпурной чешуей полукруглые заливчики, галечниковые отмели петляют как змейки вдоль кромки прибоя. Авто, не замедляя хода, крутит петля за петлей…

Залитый ослепительными огнями Канн. Бульвар Карно с цепочкой бегущих по бокам желтых фонарей, нарядная толпа на площади Фредерик Мистраль. Снова – темная лента шоссе, один поворот, другой, третий. Засыпающие городки, поселки на склонах холмов. Пронеслась, пропала в заднем окошке ночная Ницца. Впереди – Монте-Карло. До начала спектакля еще много времени, можно заскочить ненадолго в казино, попытать счастье в игре.

Они бегут, взявшись за руки, через сад казино, выходящий к морю, поднимаются наверх по мраморным ступеням. Знакомый вестибюль, анфилада комнат, напряженно застывшие за столами фигуры людей. Она успевает занять единственное незанятое кресло у рулетки, меняет торопливо у крупье несколько тысячефранковых банкнот на фишки.

– Маля, дорогая, – умоляет за спиной Сергей, – только не на число «семнадцать»! Слышишь? Нас убьют обоих, бросят живыми в шахту!

– Ах, оставь, пожалуйста! – взрывается она. – Я не маленькая, чтобы меня учить!

Она – в крайнем возбуждении, сидит на кончике кресла, до

боли сжимая ладони. Перед глазами – расчерченное квадратами игровое поле стола, вереница цифр, «чет-нечет», «красное-черное». С ходу, не раздумывая, сдвигает она горку фишек в просвет между начертаниями «семнадцать» и «восемнадцать». Ждет в волнении, глядя на скачущий между делениями шарик…

– Зеро, господа! – слышится бесстрастный голос крупье. – Выигрыш в пользу казино!

– Что ты наделала, Маля! – кричит в отчаянии Сергей. – Как ты не понимаешь: это же – конец! Конец!

«Самое главное для нее сейчас покой, господа. Покой – и еще раз покой».

Она проживет еще три месяца и семь дней, до раннего утра 6 декабря 1971 года, когда мрачный невыспавшийся перевозчик Харон перевезет ее в своем ялике на противоположный берег не похожей ни на Сену, ни на Неву потаенной реки Стикс. Никто из дежуривших в ее спальне в последнюю ночь – ни задремавший в кресле предельно уставший сын, ни отлучившаяся зачем-то ненадолго из комнаты сиделка – не услышит последнего ее вздоха.

> Он ночью приплывет на черных парусах,
> Серебряный корабль с пурпурною каймою,
> Но люди не поймут, что он приплыл за мною,
> И скажут: «Вот, луна играет на волнах».
> Как черный серафим три парные крыла,
> Он вскинет паруса над звездной тишиною,
> Но люди не поймут, что он уплыл со мною,
> И скажут: «Вот, она сегодня умерла» [3].

notes

Примечания

1

Если отломить одну (ветвь), сразу появляется другая (лат.).

2

Бедняга! (фр.)

3

Стихотворение Надежды Тэффи.